



НИКОЛАЙ ГЕЙНЦЕ

АРАКЧЕЕВ

II



Николай Гейнце «Аракчеев. II» //Комсомольская правда, Директ-Медиа,  
Москва, 2015  
ISBN: 978-5-87107-738-2  
FB2: Starkosta, 24 May 2019, version 1.0  
UUID: 2BB63567-1DDA-4520-B9E4-FA1BC829992A  
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Николай Эдуардович Гейнце

## **Аракчеев II**

В издание вошли четвертая — шестая части исторического романа Николая Гейнце «Аракчеев», посвященной жизни и деятельности видного государственного деятеля эпох Павла I и Александра I.

# Содержание

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ Тени прошлого . . . . .	0007
I Неожиданный улов . . . . .	0007
II Управляющий . . . . .	0015
III В опале . . . . .	0027
IV В Москве . . . . .	0037
V На пути в Грузино . . . . .	0047
VI Предсказания сбылись . . . . .	0057
VII Старый знакомый . . . . .	0066
VIII Убийство . . . . .	0076
IX Страшная работа . . . . .	0085
X Вильна . . . . .	0092
XI Детство и юность Шуйского . . . . .	0102
XII Batard! . . . . .	0113
XIII На груди родной матери . . . . .	0123
XIV Безумная выходка . . . . .	0135
XV У мнимого отца . . . . .	0145
XVI В монастыре . . . . .	0153
XVII Неисправимый . . . . .	0162
XVIII Московский Дон Жуан . . . . .	0170
XIX Дуэль . . . . .	0180
XX Вынужденное согласие . . . . .	0190
XXI На берегах Невы . . . . .	0200
XXII В Варшаве . . . . .	0208
ЧАСТЬ ПЯТАЯ Грузинский отшельник . . . . .	0216
I Отречение . . . . .	0216

II Сыновний долг . . . . .	0224
III Долг верноподданного . . . . .	0233
IV Император . . . . .	0243
V Заговор . . . . .	0253
VI Царь и подданный . . . . .	0263
VII Среди безумцев . . . . .	0275
VIII Смерть изменникам! . . . . .	0285
IX В государственном совете . . . . .	0293
X Новый Каин . . . . .	0304
XI По заповеди . . . . .	0315
XII Сестра милосердия . . . . .	0327
XIII Пред судом самого себя . . . . .	0338
XIV Муж и жена . . . . .	0350
XV После свидания . . . . .	0362
XVI Патриархальный уголок . . . . .	0372
XVII По наследству . . . . .	0382
XVIII Манифест 1823 года . . . . .	0392
XIX Присяга в Москве . . . . .	0402
XX В доме Хвостовой . . . . .	0411
XXI Татьяна Борисовна . . . . .	0423
XXII Взрыв страсти . . . . .	0435
XXIII Отрезвление . . . . .	0448
ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Кровавые дни . . . . .	0463
I На почтовой станции . . . . .	0463
II Безумная . . . . .	0475
III Она жива! . . . . .	0487
IV Полковница Хвостова . . . . .	0498
V Роковая встреча . . . . .	0509

VI Наедине с прошлым . . . . .	0521
VII Подруга детства . . . . .	0533
VIII На груди матери . . . . .	0545
IX Вдовец . . . . .	0555
X В военных поселениях . . . . .	0565
XI И смех, и грех . . . . .	0575
XII Из-за бабы . . . . .	0585
XIII Рига-гроб . . . . .	0596
XIV Смелым бог владеет . . . . .	0608
XV Второй и третий день злодейств . . . . .	0620
XVI Приезд графа Орлова . . . . .	0631
XVII Пред лицом царя . . . . .	0642
XVIII После бури . . . . .	0653
XIX На кладбище . . . . .	0665
XX Под властью прошлого . . . . .	0676
XXI У лесной избушки . . . . .	0688
XXII Третий удар . . . . .	0700
XXIII Последний визит . . . . .	0712
XXIV Смерть графа Аракчеева . . . . .	0718

**Николай Эдуардович Гейнце**  
**АРАКЧЕЕВ II**

# ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

## Тени прошлого

### I

## Неожиданный улов

**Б**ыл пятый час в начале раннего августовского утра 1832 года.

Село Грузино и барский дом вместе с его сиятельным владельцем покоилось ещё мирным сном — тем «сном на заре», который по общему, испокон веков сложившемуся убеждению, является самым сладким.

Кругом все было тихо и пустынно, и лишь на берегу быстроводного Волхова, невдалеке от перевоза, господствовало оживление — человек восемь грузинских крестьян под наблюдением подстаросты отбивали «рыбную барщину», как называлась производившаяся два раза в неделю, рыбная ловля для нужд графского двора.

По заведенному обычаю, невод закидывали три раза и мелкую рыбу брали на деревню и лишь крупную отправляли на барский

двор.

Волхов в описываемое нами время отличался обилием всевозможной рыбы и уловы всегда были многочисленны. Мелко и крепко сплетенные сети не давали возможности спастись от рыболова даже мелкой рыбешке, хотя самую мелочь, по приказу графа Алексея Андреевича, бросали обратно в реку.

Невод был уже закинут третий раз, и рыбаки осторожно подводили его к берегу.

— Ишь рыбы-то привалило, братцы, руки обломило — не вытянешь, — заметил один из рыбаков, молодой парень атлетического сложения, с ярко-красными волосами, выбившимися из-под картуза со сломанным козырьком, надетого на затылок, и такого же цвета всклокоченною бородою — на селе его звали Кузьма Огневой.

— Что-то, и впрямь, тяжеленько, уж не сома ли Бог послал пудового? — слышалось в ответ на замечание Кузьмы.

— Сома! — передразнил третий рыбак, ещё совсем молодой, безбородый парень. — Да разве они здесь водятся?

— Старики бают, в старину водились круп-



нющие, а теперь уже давненько улова на них в этих местах нет... В море, бают, ушли, — степенно отвечал Кузьма, напрягая вместе с товарищами все силы подвести невод к самому берегу. На береговой отмели стало тащить ещё тяжелее. Рыбаки слезли с лодок и направились к берегу по колено в воде.

— Уж и поналезло же рыбины-то, до пропасти, николи так не упаривались, — снова после некоторого молчания заговорил один рыбак.

— Э-э-э-э... разом!.. — послышалась команда Кузьмы, и невод, подхваченный дружным усилием, плюхнулся на береговой откос.

— Гляньте, братцы, утопленница!.. — вскрикнули почти в один голос рыбаки, наклонившись над неводом, и с испугом отшатнулись в разные стороны.

Картина на самом деле была полна холодящего душу ужаса.

Солнце появилось на краю горизонта, и его яркие, как бы смеющиеся лучи осветили береговой откос, на котором лежал невод, и заиграло в разноцветной чешуе множество трепещущей в нем рыбы, среди которой поко-

илась какая-то, на первый взгляд, бесформенная темная масса, вся опутанная водяными порослями, и лишь вглядевшись внимательно, можно было определить, что это была мертвая женщина, не из простых, судя по одежде и по превратившейся в какой-то комок шляпе, бывшей на голове покойной.

На ней было надето темное шерстяное платье и мантилья, обшитая кружевами. Стягивавшая горло утопленницы толстая веревка, к концам которой были привязаны два тяжелых булыжника, красноречиво говорили, что она была удушена при жизни чьей-то злодейской рукой, а затем уже брошена в Волхов.

Это же подтверждало характерно искаженное лицо несчастной, с высунутым до половины языком и с широко раскрытыми, полными предсмертного ужаса глазами.

Светло-золотистые волосы оттеняли сине-багровое, опухшее, ещё молодое и когда-то красивое лицо утопленницы, в одну из щек которого впился крупный рак. Крестьяне несколько времени, как бы пораженные, созерцали эту картину.

Первый опомнился подстароста.

— Надо беспрерывно разбудить Петра Федоровича, потому такая оказия, что и не приведи Господи, он уж как порешит, назад ли в воду её кинуть — грех бы, кажись, большой, или графу доложить, да за полицией пошлет; ты, Кузьма, да ты, Василий, стерегите находку, а я побегу... Рыбу-то в ведра из этого улова не кладите, потому несуразно у покойницы из-под боку, да на еду... — отдал он наскоро распоряжение и быстрыми шагами пошел по направлению к селу. Остальные рыбаки тоже побежали за ним.

У невода, притащившего такой неожиданный улов, остались лишь Кузьма да Василий, тот молодой парень, который усомнился в существовании в Волхове сомов.

Он наклонился над трупом и внимательно любопытным взглядом осматривал утопленницу.

Кузьма сосредоточенно молчал, глядя куда-то в сторону.

— Ишь, как впилась нечисть-то... — как бы про себя заговорил Василий и взял впившегося в щеку покойной рака за хвост.

— Не трожь... — поспешно остановил его Кузьма, — до начальства упокойницу тревожить нельзя, потому можно через то в ответ попасть... Сторожить тебя поставили, а не рукам волю давать...

— Я только нечисть-то эту снять с неё хотел, потому все же христианская душа... — ответил Василий, быстро отдернув руку и отирая её об рубаху.

— Говорю, не трожь... — повторил угрюмо Кузьма и снова смолк.

Весть о вытащенной графским неводом утопленнице с быстротою молнии облетела все Грузино, и скоро на берегу Волхова собралась громадная толпа крестьян и крестьянок.

Толкам и пересудам не было конца.

Бабы лезли, вперед и даже начинали причитывать над покойницей, но обруганные мужиками, столпились в сторонку и загалдели, по бабьему обыкновению, все разом.

— Цыц, сороки долгогривые! — осадили их и тут мужики. Бабы стали перешептываться.

— Гляньте-ка, родимые, башмаки-то какие, немецкой работы, — не унималась лишь одна бойкая бабенка, лезшая вперед и указывав-

шая рукой на башмаки покойной. — А на руках сетка, — продолжала она, заметив на руке покойницы вязаную метенку[1]...

— Староста идет, староста! — пронеслось в толпе. Все, даже и бойкая бабенка, смолкли.

К толпе важною, мерною поступью подходил рослый мужик лет пятидесяти с длинной русой с проседью бородой, одетый в кафтан тонкого синего сукна и в таком же картузе.

— Чего привалили, упокойников не видали? Марш на село, по избам; неровен час сам граф припожалует...

Слово «граф» произвело на толпу действие электрической искры — она сперва расступилась, а затем, один по одному, гуськом, крестьянки потянулись в село.

На берегу остались сторожившие невод Кузьма и Василий, да староста с подоспевшим вслед за последним подстаростой.

— Петр Федорович сейчас сами будут... — доложил он, запыхавшись от быстрой ходьбы.

— Оказия, — разводил, между тем, руками староста, разглядывая труп, — и ведь надо же было ей в невод попасть... Да и не впору, по-

тому граф за последние дни и так туча тучей ходит, а тут эдакая напасть, прости Господи, нанесла её нелегкая... царство ей небесное, тоже могилку свою, чай, ищет, сердешная.

Староста истово перекрестился.

Его примеру последовали подстароста, Кузьма и Василий.

— Графу-то Петр Федорович доложил? — спросил староста.

— Его сиятельство ещё почивать изволят, а Петр Федорович сказали: «Приду сам, посмотрю и подумаю...» — отвечал подстароста.

— Такое дело тоже скрыть невозможно!.. — сквозь зубы, как бы про себя проворчал староста.

— Не можем знать... Да вот, Петр Федорович и сами идут... — указал подстароста рукой на приближавшегося мужчину, одетого в летнюю фризтовую шинель и белую фуражку.

Определить его лета по полному, совершенно бритому, плутоватому лицу было довольно затруднительно — не то ему было лет сорок, не то пятьдесят, а может, и более.

Это и был графский управляющий Петр Федорович Семидалов.

## II

### Управляющий

**П**етр Федорович не мог назваться новым управляющим села Грузина, так как занимал первое место в грузинской вотчинной конторе в течение уже нескольких лет, а именно, с памятного читателям 1825 года — года смерти императора Александра Павловича и совершенного незадолго перед кончиной венценосного друга графа Аракчеева убийства знаменитой домоправительницы последнего, Настасьи Федоровны Минкиной. Не мог он считаться даже и полным управляющим Грузинской вотчины, так как сам граф Алексей Андреевич, удалившись в начале царствования императора Николая Павловича от кормила государственного корабля России, поселился почти безвыездно в Грузии и начал лично управлять вотчинными делами, отодвинув, таким образом, Петра Федоровича на степень главного делопроизводителя вотчинной конторы. Последний сохранил лишь звание управляющего, а уважение крестьян

приобрел в силу своей близости к графу и доверия к нему со стороны последнего, которое Петр Федорович добыл благодаря своей хитрости, сметливости и дальновидности.

Семидалов был в Грузии человек пришлый, каких, впрочем, было достаточное количество во дворце графа Аракчеева.

Родом он был из поповичей, что можно заключить и из его фамилии, но этим сведения о нем у любопытных графских дворовых и оканчивались, так как Петр не любил распространяться о своем прошлом.

Появился он в Грузии ещё совсем юношей, лет около тридцати тому назад, и мог считаться, таким образом, грузинским старожилом.

Нельзя сказать, чтобы красивый, но свежий, румяный и здоровый, он не избег участия грузинских дворовых молодых парней и несколько раз побывал во флигеле сластолюбивой графской домоправительницы — Минкиной.

Близость с этой огневой женщиной не отуманила рассудок не по летам положительно и расчетливого парня. Он, казалось, забы-



вал о проведенных минутах близости с этой властной женщиной и тотчас же после страстных объятий и жгучих поцелуев являлся почтительным, раболепным слугою, памятуя расстояние между ним, как одним из бесчисленных лакеев графа, и ею — фавориткою самого его сиятельства. Это особенно нравилось в нем Настасье Федоровне, и связь их даже продолжалась относительно довольно долгое время, но грузинская Мессалина, как знает читатель, не считала постоянство в привязанностях в числе своих добродетелей.

Петр Федорович вовремя заметил её охлаждение и стал сам удаляться от неё, не доставив ей ни одной секунды раздумья, как ей отделаться от надоедавшего любовника; напротив, он дал ей понять, что на всю жизнь останется её верным и преданным рабом, не притязающим даже на намек об их прежних отношениях.

— Надоедать я стал вам, ненаглядная моя красавица, вижу я это и не ропщу, ни на вас не ропщу, ни на судьбу свою, много счастья дали вы мне, приблизив к себе, но вы дали, вы и взять можете — ваша воля. Оставьте мне

только, Настасья Федоровна, возможность послужить вам до конца дней моих, может, пригожусь я вам не раз — распорядитесь мной, как верным рабом вашим, да и этим я едва ли отплачу вам за то счастье, которое вы дали мне. Сам я мозолить вам глаза с непрошенными услугами не буду, а когда надо будет, только кликните...

Настасья Федоровна внутренне обрадовалась, но не показала ему на этот раз вида.

— Ну, чего ты заныл, не надоел ещё, а надоешь — сама прогоню, слов же твоих никогда не забуду, раскаешься, коли на ветер говорил их, не обдумав...

Она обвила его своею обнаженной рукою.

— Не на ветер, кралечка моя, а одна только всю жизнь думка у меня будет — услужить тебе.

Минкина зажала ему рот страстным поцелуем.

Дальновидность Семидалова, однако, его не обманула, и вскоре она действительно прогнала его, но путем этой его тактичности он достиг, что в сердце Минкиной потухшая к нему страсть не перешла в ненависть, как это

было относительно других её фаворитов; он не был ни сослан в Сибирь, ни сдан в солдаты, а напротив, стал постепенно повышаться в иерархии графской дворни.

Петру Федоровичу не пришлось долго ждать, чтобы убедиться, что он этим путем избег действительно серьезной опасности — прошедшие перед его глазами за несколько лет грузинские драмы, включая сюда трагическую смерть управляющего Егора Егоровича, драмы, в которых ему не раз приходилось быть не только молчаливым свидетелем, но и активным участником, по призыву Настасьи Федоровны, памятовавшей его слова в одно из последних, их свиданий во флигеле.

Наконец, ему дано было одно поручение в Петербурге, которое он исполнил, но которое на всю остальную жизнь отравило его душевный покой — он не мог видеть равнодушную Минкину, давшую ему такое, по его мнению, гнусное поручение, и измыслил способ удалиться из Грузина, тем более, что как бы стал предчувствовать скорый конец власти в Грузии и его, теперь ненавистной ему повелительницы.

Исполнив петербургское поручение, он через несколько времени предстал перед Настасьей Федоровной.

— Что тебе, Петр? — спросила она, полулежа на диване в своей гостиной.

— К вашей милости с нижайшею просьбою...

— В чем дело?

— Соблаговолите устроить мне у его сиятельства перевод в петербургский дом...

— Это зачем тебе?

— Да молодцы-то мои, что со мной в известном деле были, боюсь без меня распояшутся, набедокурят, что так первое-то время все за ними мой глазок смотреть надобен, неровен час...

— А-а-а...

— А здесь мне, кроме того, невтерпеж оставаться, боюсь, как бы себя самого врагам с головой не выдать...

— В чем это? — приподнялась Минкина с дивана.

— В моей к вашей милости преданности... — потупил скромно глаза Семидалов.

— Вот как! — улыбнулась довольною улыб-

кою Настасья Федоровна. — Ты постоянен...

— В Петербурге я вам тоже пригожусь, не без дела, чай, сидеть буду... — продолжал Петр Федорович, пропустив мимо ушей её замечание.

— Хорошо, я подумаю!.. — встала Минкина и вышла в другую комнату, давая этим знать, что аудиенция окончена.

Прошел томительный для Семидалова месяц.

Настасья Федоровна, впрочем, надумала и путем мелких жалоб графу на Петра Федорова, достигла того, что он был отправлен в петербургский дом, что считалось среди грузинской дворни наказанием. Для Семидалова же этот день был праздником; выехав из Грузина, он первый раз с того момента, как впервые вошел во флигель Минкиной, вздохнул полной грудью.

Как бы тяжелое бремя скатилось с его плеч, хотя угрызения совести за последнее исполненное им поручение грузинской домоправительницы не уменьшились в его душе.

Напрасно представлял он себе, что среди других его поступков этот последний был

капель в море, но перед его духовным взглядом неотступно стояло молодое испуганное лицо, обрамленное, как бы сиянием, золотистыми волосами, и умоляющим взглядом испуганных, прекрасных глаз проникало в его душу. Разбойник был влюблен в свою жертву.

По прибытии в петербургский дом графа Аракчеева, Петр Федоров скоро сумел снискать себе расположение и даже любовь известного уже читателю дворецкого Степана Васильева. Старик почувствовал к нему даже некоторое почтение за грамотность и начитанность в священных книгах. Они сдружились и зажили, что называется, душа в душу. Степан Васильев в долгие вечера рассказывал Петру о былом времени; любознательный Петр слушал, не перебивая и не отвлекаясь ничем от нити рассказа. Особенно они сошлись в общей ненависти к Минкиной, от которой Петр, к своему удовольствию, не получал из Грузина никаких поручений. Она как бы забыла о его существовании.

Известие об её убийстве достигло до петербургского дома в то время, когда Степан Васильев лежал на смертном одре, а Петр нахо-

дился при нем бессменной сиделкой.

Когда последний сообщил больному полученное из Грузина известие со всеми подробностями и заключил свое сообщение словами: «собаке — собачья и смерть», то Степан Васильев укоризненно посмотрел на него.

— А разве ты забыл, что сказано в Писании: «прощайте врагов ваших». Царство ей небесное!

Больной истово перекрестился.

— Вот что, — начал он снова слабым голосом, — я чувствую, что не только мои дни, но и часы уже сочтены, — здесь больной снял с шеи зашитый холщевый мешочек на шнурке, — восемьсот рублей, скопленных во всю мою жизнь, пятьсот возьми себе на разживу, на пятьдесят рублей похоронишь и крест поставишь, другие пятьдесят раздашь нищим, а двести рублей внесешь в Невскую лавру — сто отдашь на поминовение о здравии рабы Божией Натальи, а сто на вечное поминовение за упокой души рабы Божией Настасьи... Не забудешь?

— Не забуду, успокой себя, и что за мысли, ещё меня переживешь, поправишься... — за-

говорил растроганный Петр Федоров, не принимая мешочка, — и куда мне деньги, за что жалуешь...

— Бери, бери, не смущай, я знаю, что смерть недалеко, и уж приготовился не даром — вчера исповедывался и причащался, сподобился, близких у меня никого нет, а ты мне полюбился, только исполни, что я сказал: двести в лавру — сто о здравии рабы Натальи, а сто за упокой души рабы Наста...

Больной не договорил и впал в забытие. Предчувствие его сбылось — он умер через сутки, не приходя в сознание.

Петр Федоров свято исполнил волю покойного.

Вскоре после смерти и похорон Степана Васильева, на которых присутствовал сам граф, отдавая последний долг своему товарищу детских игр и столько лет гонимому им слуге, Семидалов был сделан на место покойного дворецким петербургского дома. В Грузии же, после убийства Настасьи Минкиной, граф Алексей Андреевич разогнал всех своих дворовых людей и ограничился присланными по его просьбе полковником Федором Кар-



ловичем фон Фрикен четырьмя надежными денщиками, которые и составляли личную прислугу графа.

Прошло несколько месяцев, и Петр Федоров, в один из приездов графа в Петербург, решился беспокоить его сиятельство обстоятельным докладом о поступках покойной Настасьи и его участии в некоторых из них, причем, конечно, выставил себя жертвою самовластия зазнавшейся холопки.

Подробности этого продолжавшегося несколько часов разговора между графом и его новым дворецким остались для всех тайною, но последствием был перевод Семидалова в управляющие села Грузина.

Это было в 1826 году, когда и граф перестал пользоваться петербургским домом, находившимся и до сего дня на Литейном проспекте и никогда не бывшим полною собственностью Алексея Андреевича, а принадлежавшим 2-й артиллерийской бригаде.

Таков был управляющий Петр Федорович, степенным шагом приближавшийся к тому месту берега Волхова, где в неводе, среди бившейся на солнце рыбы, лежала неизвестная

утопленница.

Староста и подстароста, Кузьма и Василий, почтительно при его приближении сняли шапки.

— Неожиданный Господь нам гостинец послал... — заговорил староста, указав рукой на лежавшую женщину.

Семидалов наклонился, но вдруг его точно что отбросило в сторону. Его глаза встретились с глазами покойницы.

— Она!.. Она!.. Но неужели!.. Сколько лет!.. — бессвязно бормотал Петр Федорович и вдруг зашатался.

Он упал бы на траву, если бы староста с подстаростой не успели поддержать его, с недоумением переглядываясь между собою.

Семидалов вскоре, впрочем, сумел побороть охватившее его волнение и произнес почти спокойным, слегка лишь дрожащим голосом.

— Надо доложить графу! Сейчас иду разбудить его сиятельство.

Бросив как бы невольно последний взгляд на мертвую, он, шатаясь, как пьяный, побрел по направлению к графскому дому.

— Чего это ему причудилось? Али знакомая? — шепнул подстароста старосте.

### III

## В опале

Пережитые волнения после убийства Настасьи Минкиной и обнаружения её измены, а затем разразившийся над Россией, вообще, а над графом Алексеем Андреевич Аракчеевым, в частности, удар в форме долежавшего из Таганрога известия о смерти его благодетеля и друга императора Александра Павловича окончательно расшатали и без того некрепкое здоровье графа.

При дворе с особенным участием стали заботиться о расстроенном его здоровье и настойчиво советовали ему ехать за границу.

Алексей Андреевич отговаривался и, между прочим, заявил однажды, что у него нет на это денег. Тогда, в уважение его стесненных обстоятельств, ему было выдано высочайшее пособие в размере 50 000 рублей. Сконфуженный такой неожиданностью Аракчеев пожертвовал эти деньги на екатерининский ин-

ститут, а чтобы выйти из затруднительного положения, предложил через министра двора купить за 50 000 фарфоровый сервиз, подаренный ему императором Наполеоном I, мотивируя свое предложение тем, что сервиз с императорским гербом неприлично иметь в частных руках.

Предложение Аракчеева было принято, сервиз куплен, и граф Аракчеев уехал за границу.

Большинство исторических источников, враждебно относящихся к деятельности графа Аракчеева во время царствования императора Александра Павловича, видят в этой заботе о здоровье графа и советах ему ехать за границу лишь предлог деликатно удалить его от управления государственными делами, так как император Николай Павлович признал-де его деятельность вредною для России.

Нет сомнения, что при дворе была в то время большая антиаракчеевская партия, которая видела в нем человека своей прямою, бескорыстием и беззаветной преданностью престолу опасного для преследуемых ею личных целей.

Во главе этой партии даже стоял крестник графа Петр Андреевич Клейнмихель, обязанный Аракчееву всей своей карьерой. Что же касается до императора Николая Павловича, то он, как и брат его, Константин Павлович, высоко ценил заслуги и способности Алексея Андреевича, бывшего правой рукой их венценосного брата во все время его царствования.

Приведем для доказательства нами сказанного одно из писем к графу государя Николая Павловича, помеченное 6 апреля 1826 года и писанное из Царского Села.

*«Сейчас только получил письмо ваше, Алексей Андреевич, о появившемся бродяге и о счастливом заключении его. Я приказал его закованного доставить сюда, где мы до него доберемся, если он в связи с нашими злодеями, что весьма вероятно.*

*Я поручаю вам объявить по корпусу мою совершенную благодарность: полковнику Фрикену за его исполнительность, равно и дежурному офицеру, а равно объявить сему, что я приказал выдать ему не в зачет годовое жалованье. Покуда будут верные слуги, как*

*те, кои под вами, и верный и достойный начальник, нечего нам бояться; а впрочем — по пословице: „На Бога надейся, а сам не плошай“.*

*Прошу обратить внимание на московский отряд, чтобы не сделали какие-нибудь молокососы каких-нибудь дурачеств, впрочем, я уверен, после сегодняшнего подтверждения будут они исправны и осторожны. Я здесь остаюсь до субботы; квартира прежняя ваша готова и тепла; и прошу пожаловать так, чтобы после обеда можно было заняться.*

*Николай».*

Для всякого непредубежденного исследователя это письмо ясно показывает, что лично император Николай Павлович хорошо понимал, что лишь благодаря железной руке графа Аракчеева, укрепившего дисциплину в войсках, последние были спасены от общей деморализации, частью внесенной в них теми отуманенными ложными французскими идеями головами, известными в истории под именем «декабристов».

Быстрое усмирение бунта 14 декабря и не

менее быстрое раскрытие преступной деятельности тайного общества «Союза друзей», покрывшего сетью своих, хотя и мелких, разветвлений почти всю Россию, государство обязано не только личным качествам Николая I, как монарха, но и как прошлым, так и современным заслугам графа Аракчеева по управлению им русскими войсками.

Таков был, как мы видим из приведенного письма, взгляд на заслуги Аракчеева и самого государя Николая Павловича.

Граф Алексей Андреевич сам дал в руки своих врагов козырные карты.

Во время его заграничной поездки иностранные дворы принимали Алексея Андреевича более, чем равнодушно.

Избалованное поклонением честолюбие не вынесло, и граф, желая напомнить о своем прежнем величии, напечатал в Берлине на французском языке письма к нему императора Александра I.

Это обстоятельство было доложено государю Николаю Павловичу и привело его в негодование. Он приказал скупить все издание и уничтожить.

По приезде Аракчеева в Россию, государь потребовал от него объяснения его поступка.

Вопрос государя застал графа врасплох.

— Письма издавал не я, ваше величество, у меня их украли и издали без моего ведома... — отвечал он.

— А... я тебе верю... — значительно смягчился государь.

Дело графских врагов было почти проиграно, но Клейнмихель послал в Берлин верного человека, которому удалось добыть корректурные гранки с пометками рукою самого графа.

Эти уличающие документы были представлены государю и возбудили страшное негодование императора и окончательно подорвали кредит Аракчеева.

Граф удалился в Грузино.

Ему было оставлено лишь звание генерал-фельдцейхмейстера всей артиллерии, которое он и сохранил до самой смерти.

Вскоре после его удаления государь Николай Павлович отправил к нему Петра Андреевича Клейнмихеля с требованием возвратить все бумаги, писанные рукою покойного



императора Александра I.

У графа в кабинете сидел в то время грузинский священник. Алексей Андреевич заставил того долго ждать своего крестника, наконец приказал пригласить его в кабинет.

Тот вошел.

— Не хочешь ли, братец, ромашки? — озадачил его вопросом граф, намекая на то, что во время заискивания им у него Петр Андреевич не раз во время болезни Алексея Андреевича пивал с ним за компанию ромашку.

— Я не шутки шутить приехал к вашему сиятельству, а по поручению моего государя... — произнес красный, как рак, но немного оправившийся Клейнмихель...

Он изложил поручение.

— Скажи его величеству, что я тебе бумаг не доверил, а передам их его высочеству великому князю Константину Павловичу. Ступай.

Петру Андреевичу ничего не оставалось, как уехать.

При почти затворнической жизни в Грузии граф посвятил всю свою деятельность управлению своею обширною вотчиною, со-

стоящею из 15 деревень, вникал в малейшие подробности жизни: как и кому ходить в церковь, в какие колокола звонить, как ходить с крестным ходом и при других церковных церемониях.

Крестьяне не были недовольны, но в Петербурге доставленные кем-то правила возбудили град насмешек. Причины для юмористического отношения к правилам, надо сознаться, существовали; так, например, на одном окошке № 4 полагалась занавеска, задерживаемая на то время, когда дети женского пола будут одеваться.

Обо всех мелочах в жизни каждого крестьянина Аракчеев знал подробно; в каждой деревне было лицо, которое обязано было являться каждое утро лично к самому графу и подробно рапортовать о случившемся в течение суток.

О домашней жизни графа мы будем говорить в своем месте.

Прибежавший с берега Волхова в графский дом Петр Федоров застал графа уже вставшим; он был одет в серый военного покроя сюртук на беличьем меху и ходил взад и впе-

ред по своему обширному кабинету, пристально взглядывая по временам на висевший на стене большой во весь рост портрет государя Александра Павловича работы Дау. Это было его обыкновенное утреннее занятие.

Граф думал.

Скрип двери вывел его из ежедневных дум о минувшем.

— Кто там? — раздражительно произнес Алексей Андреевич, не любивший, чтобы его беспокоили тотчас после того, как он встал с постели.

В дверях появился бледный Семидалов. Его растерянный вид не ускользнул от зоркости графа.

— Что случилось?

Семидалов начал подробный доклад.

— Что же в этом особенного? Мало ли на свете негодяев, способных и не на такое преступление. Дать сейчас же знать сотскому и исправнику.

Алексей Андреевич присел к столу, на котором стоял его утренний кофе.

Петр Федоров наклонился к графу и что-то прошептал. Последний вскочил.

— Ты врешь, не может быть! — воскликнул он.

— Как бы я смел соврать вашему сиятельству.

— Но как же это... столько лет... как можно узнать?

— Видимо, не особенно давно, ваше сиятельство, черты сохранились, глаза.

Семидалов вздрогнул.

— Идем, я хочу убедиться сам... — торопливо взяв со стола фуражку, сказал граф.

Петр Федоров почтительно отворил дверь кабинета и, пропустив графа, последовал за ним.

Алексей Андреевич шел быстро, и они скоро достигли того места берега, где лежал невод с так поразившей и графа, и Семидалова утопленницей.

Аракчеев долго всматривался в покойницу.

— Ты прав — это она! — сказал он Петру Федорову и с поникшей головою отправился к себе в дом.

— Дать тотчас же знать сотскому и исправнику, и как приедут, пусть явятся ко мне! —

отдал он приказание сопровождавшему его Семидалову и удалился в кабинет.

## IV В Москве

Дом вдовы действительного тайного советника Ольги Николаевны Хвостовой находился в Москве на Сивцевом Вражке — в местности между Арбатом и Пречистенкой.

Это был деревянный на каменном фундаменте, окрашенный в традиционную серую краску, старинный барский дом. Он стоял в глубине двора с круглым палисадником по середине, так что дорога к подъезду, обтянутому и зиму и лето полосатым тиком, шла вокруг этого палисадника.

Дом как бы разделялся подъездом на две половины; шесть высоких окон по фасаду каждой половины на ночь плотно затворялись ставнями, окрашенными в зеленую краску и с вырезанными в верхней их части сердцами.

По бокам деревянного решетчатого забора, окрашенного тоже в серую краску, с такими

же репчатými воротами посредине, находились два флигеля, в три окна каждый, выходящий на улицы. В правом флигеле помещалась кухня, а в левом людская — оба флигеля были соединены с главным домом крытыми галереями. За домом был тенистый сад, а за обоими флигелями тянулись обширные на-дворные постройки.

Таковы были владения вдовы действительного тайного советника Ольги Николаевны Хвостовой.

Сама хозяйка — высокая, худая старуха, лет около шестидесяти, с белыми, как лунь, волосами, причудливые букли которых спускались на виски из-под никогда не покидавшего голову Ольги Николаевны черного кружевного чепца с желтыми муаровыми лентами, одетая всегда в темного цвета платье из легкой или тяжелой материи, смотря по сезону — производила впечатление добродушной и сердечной московской аристократки, тип, сохранившийся в сановных старушках Белокаменной и до сего дня.

Властность в каждом взгляде и движении, наряду с отсутствием напускной чопорности

и жеманства — служили в Хвостовой признаками истой родовитости, да и на самом деле она была последним отпрыском знатного, но обедневшего рода князей Брянских. Все окружающие её любили и все боялись её сдержанного гнева, никогда даже не выражавшегося крикливою нотой.

В молодости Ольга Николаевна была выдающеюся красавицей, о чем красноречиво говорили тонкие черты её старческого лица, и украшением двора императрицы Екатерины II, при котором она была фрейлиной и в водовороте блеска и роскоши которого погибло громадное состояние её родителей.

Оба они в один год сошли в могилу, почти следом за своей монархиней, когда их единственной дочери шел двадцать шестой год, не оставив ей никакого состояния, кроме знатности и красоты. Последняя в тот романтический век была сама по себе хорошим капиталом, не в том смысле, как понимается это выражение теперь, а действительным состоянием, обеспечивающим девушку на всю жизнь и делающим её счастливой и довольной.

Это оправдалось на судьбе Ольги Никола-

евны, вскоре вышедшей замуж за гвардейского полковника Валериана Павловича Хвостова, человека с блестящей будущностью и громадным состоянием.

Москвич по рождению, он через два-три года после свадьбы перешел из военной в статскую службу и получил назначение на один из видных административных постов первопрестольной столицы.

С тех пор семейство Хвостовых, состоявшее из мужа и жены, сына Петра, родившегося в Петербурге, и дочери Марии — москвички по рождению, не покидало Москвы, где Валериан Павлович, лет за семь до того времени, с которого начинается наш рассказ, умер сенатором.

Оставшееся после него состояние выразилось в крупной сумме девятисот тысяч, кроме описанного нами дома на Сивцевом Вражке, купленного им на имя жены, и родовых имений в Рязанской губернии. По оставленному им завещанию, капитал делился на три части: триста тысяч получила жена, триста тысяч сын по достижении сорокалетнего возраста, и триста тысяч дочь по выходе замуж с со-



гласия матери; имения отходили также к сыну, но он тоже делался их полноправным собственником лишь по достижении им сорокалетнего возраста.

До достижения сыном назначенного возраста и до выхода дочери замуж, процентами с капитала пользовалась жена завещателя Ольга Николаевна, выдавая своим детям суммы из дохода по её усмотрению.

*В случае же смерти моей жены ранее достижения сыном моим Петром сорокалетнего возраста и ранее выхода замуж моей дочери Марии*

— оговаривался завещатель —

*все права матери по отношению пользования доходами переходят к сыну.*

Завещание это в свое время в судейских кружках Москвы наделало много шума по своей оригинальности.

Смерть мужа не поразила Ольгу Николаевну своею неожиданностью — он уже с год, как был прикован к постели, и месяца три его смерти ожидали со дня на день — и не внесла какое-либо изменение в домашний режим,

так как не только во время тяжелой болезни Валериана Павловича, но и ранее, с первого дня их брака, Ольга Николаевна была в доме единственной полновластной хозяйкой, слову которой безусловно повиновались все домашние, начиная с самого хозяина дома и кончая последним «казачком» их многочисленной дворни.

Искренно оплакивая кончину горячо любимого ею супруга, Ольга Николаевна не давала горю овладеть ею совершенно, памятуя, что на ней лежат обязанности по отношению к сыну, которому шел двадцать второй год и он был поручиком артиллерии и стоял с бригадой в одной из южных губерний, и к дочери — шестнадцатилетней красавице Мери, как звала её мать.

Петр Валерианович находился в Москве, в долгосрочном отпуску, по причине со дня на день, как мы уже сказали, ожидаемой кончины его отца. Через шесть недель после его смерти, ему надо было возвратиться к месту своего служения, а потому первая забота Ольги Николаевны была выхлопотать для него перевод в полки, расположенные ближе к

Москве.

Её ненаглядный Петя, статный, красивый, с темно-каштановыми волосами, с правильными чертами лица и глубоким и умным взглядом темно-карих глаз, живой портрет её покойного мужа, был её кумиром, хотя властная женщина не давала никогда этого чувствовать своему первенцу-любимцу.

Она свои ласки расточала умеренно, и щедро лишь полезную, по её мнению, строгость.

Перевести сына в гвардию, чего бы она легко могла достигнуть, она не хотела, помня завет покойного мужа, ни за что не желавшего, чтобы его сын был в этой не военной, а придворной службе, как называл Валериан Павлович, и сам бывший гвардеец, службу в гвардии.

— Одни пиры да балы — вот вся и служба, — говаривал он. — Нет, пусть послужит как следует, потрет солдатскую лямку — человеком будет...

Валериан Павлович, наперекор мнению всей Москвы, был ярким сторонником графа Аракчеева.

Надо заметить, что сановная Москва не любила последнего как выскочку, не входя в обсуждение его государственных заслуг. Когда в Москве узнали, что граф Аракчеев отклонил намерение государя Александра Павловича сделать его мать, Елизавету Андреевну Аракчееву, статс-дамой, и пожаловать ей орден святой Екатерины, то даже эта скромность стоявшего на вершине власти человека была истолкована досужими москвичами как следствие необычайного, будто, самомнения Аракчеева. Говорили, что Алексей Андреевич сказал своим приближенным, что для его матери не может быть больше чести, как быть матерью Аракчеева.

К старушке Елизавете Андреевне, жившей, впрочем, и без того очень уединенно и скромно в Москве, сановитая её часть относилась с холодною, сдержанною любезностью, и эти отношения не изменились даже после посещения её государем Александром Павловичем 18-го августа 1816 года.

Дом Валериана Павловича Хвостова был один из немногих московских домов, где Елизавета Андреевна Аракчеева бывала запросто

и всегда была радушно принимаема, как хозяином, так и хозяйкой.

Ольга Николаевна даже очень любила её, и Аракчеева платила ей искренней взаимностью.

К ней-то и обратилась Хвостова, прося написать сыну о переводе её первенца на службу под непосредственное начальство всемогущего графа, надеясь при дружбе с матерью открыть, таким образом, своему Пете блестящую карьеру.

Елизавета Андреевна, неохотно ходатайствовавшая за кого бы то ни было у всесильного сына, на этот раз сделала исключение и тотчас же при Ольге Николаевне написала письмо к Алексею Андреевичу.

Ответ не заставил себя долго ждать и пришел в форме уведомления через московского коменданта о переводе поручика артиллерии Петра Хвостова в распоряжение графа Аракчеева.

Приказ этот поразил, как громом, Петра Валериановича, которому мать, готовя сюрприз, ни слова не сказала о своем ходатайстве.

— Я погиб!.. — схватился за голову молодой офицер.

— Да разве можно служить вблизи этого изверга, — начал Петр Валерианович и около часа рассказывал матери все те нелепые басни, которые ходили про жестокого временщика, как в то время многие называли графа Аракчеева.

Ольга Николаевна испугалась.

— Как же быть-то? — растерянно спросила она.

— Как быть? — отчаянно воскликнул он. — Никак... Надо ехать... С ним шутить неявкою или же подачей в отставку тотчас после назначения нельзя. И зачем я ему понадобился... Кто это добрый человек так порадел за меня...

Ольга Николаевна закусил губу и опустила глаза. Она не решилась сказать сыну, что этим он обязан ей.

Сын в волнении не заметил смущения матери.

Начались сборы и Петр Валерианович, простившись с сестрою и матерью, поскакал в Грузино.

— Бог даст все хорошо обойдется, граф его полюбит, и по службе как шар по мыльной доске покатится, я же буду ещё любезнее с Елизаветой Андреевной и через неё повлияю на графа, — утешала себя Хвостова после отъезда сына.

Судьба, к несчастью, готовила иное.

## V

### На пути в Грузино

**В** первой половине 1820-х годов кипели, как известно читателям, работы по созданию военных поселений. Исполнителями их были большею частью артиллерийские офицеры, так как граф Аракчеев недолго любил инженеров, и эти последние были только составителями смет и проектов. Впрочем, сам Алексей Андреевич зорко следил за производившимися работами, поощряя усердных и карая нерадивых. Офицеров, желавших служить в поселениях, почти не встречалось, и они были переводимы туда большею частью по распоряжению начальства, то есть по указанию графа, или по рекомендации тех начальни-

ков, которым он более доверял, вот почему письмо Елизаветы Андреевны имело, несмотря на то, что её сын не любил, когда она кому-нибудь протезировала, такой быстрый и успешный результат.

Проезжая по почтовой дороге от Москвы до Новгорода, Петр Валерианович вечером остановился на одной из почтовых станций, чтобы погреться чаем.

Покончив эту операцию, он стал собираться в дальнейший путь, как вдруг зазвенел почтовый колокольчик, и храп остановившихся под окнами лошадей дал знать о прибытии на станцию нового проезжего, а вслед затем вошел в комнату пожилой господин в помятой артиллерийской фуражке, закутанный в поношенную енотовую шубу.

Вновь прибывший проезжий, пытливо осмотрев Хвостова, приветливо поклонился ему — и Петр Валерианович почтительно ответил на поклон старика.

— А, артиллерист, мое почтение, куда едете? — спросил проезжий.

— В военные поселения...

— А, к Аракчееву, ну и хорошо... — заклю-



чил проезжий, усаживаясь на кожаный диван.

— К сожалению, ничего не предвижу в этом хорошего, — с горечью возразил Хвостов.

— Почему же так, или служба так тяжела?

— Не служба, а жизнь. Кто не знает графа, этого жестокого и жесткого человека, у которого нет сердца, который не оценивает трудов своих подчиненных, не уважает даже человеческих их прав, — с горячностью произнес Петр Валерианович, почти до слова повторяя все то, что он несколько дней тому назад говорил своей матери.

— Вот как! А я так знаю, что Аракчеев только лентяев и вертопрахов не любит, пьяниц и мотов преследует, а хорошему слуге и у него хорошо, — протяжно проговорил проезжий, пристально глядя на Хвостова.

— Хорошо слуге, который льстит ему, слуге, который... — начал было снова последний.

— Смеленько, смеленько, молодой человек, смеленько осуждать человека, которого знаете только по слухам, — несколько сурово перебил его проезжий.

— Не я один осуждаю его, — поспешил оправдаться Петр Валерианович, торопливо собираясь выйти из комнаты.

— Мое почтение, желаю счастливого пути, доброй службы и советую не слушаться дураков — может быть, увидимся! — проговорил незнакомец на прощальный поклон Хвостова.

В воротах, при выходе его на улицу, прошмыгнул кто-то мимо него в военной шинели и в фуражке солдатского покроя и взошел на крыльцо станционного дома.

«Это слуга проезжего!» — подумал Петр Валерианович и роковая догадка промелькнула в его уме. Последние слова проезжего несколько его озадачили.

«А что, если это Аракчеев? — подумалось ему. — Вот попался!»

Но почтовая тройка тронулась, зазвенел колокольчик, и Хвостов помчался тою ухарскою прытью ямской езды, какою славилась Русь до искрещения её сетью железных дорог, и на другой день вечером путник был уже у цели своего путешествия.

Явившись к новому своему начальству, он

узнал, что все прибывающие на службу в поселения должны были непременно представляться самому графу, а так как граф накануне выехал в южные поселения, то Хвостову и предстояло исполнить этот долг по возвращении его сиятельства.

Известие, что граф Аракчеев уехал накануне, неприятно отозвалось в ушах Петра Валериановича, и теперь он был вполне убежден, что в дорожном незнакомце встретил своего страшного начальника.

Со дня своего приезда в течение трех недель Хвостов был без дела, но, однако, никому не промолвил о своей встрече, не упомянув о ней и в письме к матери, ожидая разрешения своей догадки и придумывая средства выйти из затруднительного положения, если бы эта догадка оправдалась.

Но вот, наконец, раз вечером он получил форменную записку, содержащую в себе приказание:

*«Ваше благородие имеет честь завтра, в 10 часов утра, представиться его сиятельству».*

Тревожно проведена была Петром Валериановичем наступившая ночь.

На другой день, за час до назначенного времени для представления графу, он уже был в знаменитом Грузине — резиденции Алексея Андреевича.

Войдя в залу, назначенную для представления, Хвостов застал уже там двух-трех офицеров. Вскоре, впрочем, молча, тихо, как бы под давлением страха или благоговения, стали входить новые лица, и в какие-нибудь полчаса вся зала наполнилась военными чинами разных родов войск, начиная с генерала до прапорщика.

Несмотря на количество ожидавших, в зале царила глубокая тишина, нарушаемая лишь изредка порывистым шепотом старших чинов. У одной из запертых дверей стоял навывтяжку офицер в парадной форме — это был дежурный.

Эта дверь, на которую часто обращались взоры присутствовавших, вела во внутренние покои графа.

Но вот дверь отворилась — все встрепенулись, и из неё вышел какой-то генерал с бума-

гой в руке.

— Клейнмихель! — шепнул Хвостову его сосед.

Петр Андреевич был начальником штаба военных поселений.

Он, раскланявшись с присутствовавшими генералами, развернул бумагу, оказавшуюся списком представляющихся графу, и стал по ней приводить длинный строй их в порядок вокруг залы.

Окончив эту проверку, Клейнмихель удалился снова в заветную дверь, и тишина в зале стала ещё томительней.

Не прошло, однако, и пяти минут, как дверь снова отворилась и из неё вышел старый генерал, сопровождаемый Клейнмихелем.

Сердце бедного Петра Валериановича дрогнуло и сильно забилося: это был он — проезжий, встреченный им на станции, это был сам Аракчеев, которому он высказал о нем же самом столько дерзких мнений.

Граф Аракчеев, войдя в залу, остановился, суровым взглядом обвел всех присутствующих, как будто отыскивая кого-то своим взо-

ром, и Хвостову показалось, что этот обзор окончился на нем.

Началось и самое представление.

Генерал Клейнмихель по списку называл представляющихся.

Граф одних обходил молча, другим выражал свое одобрение, а некоторым делал строгие выговоры.

Дошла, наконец, очередь и до Хвостова.

Начальник штаба громко прочел:

— Поручик Петр Хвостов, переведенный из...

Граф Аракчеев не дал докончить генералу его доклада.

— Мое почтение! — сказал он полунасмешливо Петру Валериановичу.

Тот отдал ему почтительный поклон.

— Мое почтение! — повторил Алексея Андреевич с особенным ударением.

Хвостов повторил тот же поклон.

— Мы с ним старые знакомые, — сказал граф, обернувшись к Клейнмихелю. — Не так ли? — обращаясь снова к Петру Валериановичу и пристально глядя на него, спросил Алексей Андреевич.

— В первый раз имею счастье представляться вашему сиятельству! — смело ответил Хвостов.

— Как в первый раз! А помнишь станцию на московской дороге? Помнишь, как ты честил меня?

— Я говорил с проезжим, ваше сиятельство.

— О, да ты, я вижу, молодец на слове, каков-то на деле? Повторяю тебе, что Аракчеев дураков и лентяев не терпит! Пусть он будет, по-твоему, такой-сякой, а посмотрим ты какой?

— Петр Андреевич! — обратился граф к Клейнмихелю. — Поручить поручику Хвостову постройку номера...

При этом Аракчеев назвал номер предполагавшейся постройки какого-то нового здания близ самого Грузина.

Во все время этой сцены в зале царила мертвая тишина.

Отдав это приказание относительно Петра Валериановича и затем пасмурно окинув с места все остальное собрание представлявшихся, граф Алексей Андреевич удалился. Все

стали расходиться.

По выходе из дома, несколько лиц обратилось к Хвостову с расспросами о знакомстве его с графом, и на свои объяснения он выслушал предупреждение:

— Будьте осторожны! Вам предстоит тяжелое испытание. Работы по устройству военных поселений открывались раннею весною, граф торопился с их окончанием.

Через две-три недели должен был начаться египетский труд.

За это время Петр Валерианович Хвостов получил для соображения все письменные и словесные наставления и усердно принялся за их всестороннее изучение. Так как порученная ему постройка находилась, как мы уже знаем, близехонько от Грузина, то он догадывался о цели такого распоряжения и приготовился к борьбе со всякою случайностью, приготовился быть всегда начеку и настороже под зорким глазом самого графа Аракчеева.



## VI

### Предсказания сбылись

Наконец настала и самая пора работ, и молодой офицер со всею горячностью предался порученному делу.

Отрешившись от всех знакомств, товарищеских связей, бросив все посторонние занятия, он только и помышлял о том, как выйти ему из того тяжелого положения, в какое он поставил себя своею опрометчивостью: одна надежда жила в его сердце, что его труды и усердие укротят, наконец, затаенный гнев на него всеильного графа.

Прошло несколько дней от начала его занятий, как вдруг граф Аракчеев пожаловал для осмотра работ.

Осмотрев их и не сказав ни слова, он удалился.

Не прошло после того и двух дней — новое посещение графа, потом скоро не замедлило и третье, и все три в разные часы дня.

Хвостов понял, что надобно не дремать и вооружился терпением.

Чтобы быть поближе к работам, он расположился бивуаком в одном из рабочих сараев и ночь только отдавал себе.

С раннею утреннюю зарею он уже был на работах и с вечернею возвращался в свой сарай на ночлег, а граф неустанно посещал и посещал его, но всегда заставал строителя на месте работ.

В одно из таких посещений, Алексей Андреевич внимательно осмотрел всю постройку и вдруг заметил Петру Валериановичу, что в оштукатуренной печке один из углов крив.

Хвостов отвечал, что прям.

— А я говорю, крив! — раздражительно повторил граф.

Подали отвесную доску — угол оказался верен.

— Виноват — извини! — и затем, сказав по адресу Петра Валериановича несколько лестных слов, Алексей Андреевич уехал.

Петр Валерианович уже не раз после этого слышал от графа Аракчеева слова одобрения: «Хорошо, молодец», — и было за что. Работа под наблюдением Хвостова, действительно, кипела, и он далеко опередил своих товари-

щей по той же профессии.

В середине лета постройка была совершенно окончена, и через неделю Петр Валерианович был приглашен запискою представиться графу.

— Ну, поздравляю тебя — ты штабс-капитан, — обратился Алексей Андреевич к представлявшемуся ему Хвостову. — Повторяю тебе, что Аракчеев лентяев и дураков не жалует, но усердие и труды оценивает.

Сказав это, граф тут же передал приказание генералу Клейнмихелю о поручении Хвостову новой работы.

Как ни обрадовался Петр Валерианович чину штабс-капитана, который в описываемое нами время весьма туго доставался в артиллерии, но едва ли не более был опечален новым поручением. Он не боялся труда, но его сильно возмущал надоедливый надзор за ним графа.

Но и новая работа была окончена и так же благополучно, как и предшествовавшая, с тем же благоволением строгого начальника, и результатом её была новая награда, полученная Хвостовым.

Таким образом, два с половиною года тянулись тяжкие для него испытания, и за это время он успел получить чин капитана и даже орден.

Граф, видимо, стал благоволить к нему и даже отличал его своим доверием, но, к несчастью, не таков был характер Петра Валериановича, чтобы быть счастливым вниманием к нему начальства. Одержав, как ему казалось, нравственную победу над графом, он возомнил о своем уме и способностях и даже решился вступить в борьбу с всемогущим графом Аракчеевым на почве излюбленной последним заветной идеи будущей несомненной и неисчислимой пользы организуемых им военных поселений, долженствовавших покрыть своею сетью всю Россию, на страх, на самом деле, встрепенувшейся при известии о преобразовании в этом смысле русского военного быта, Европе.

В это-то время, когда граф Алексей Андреевич, увлекаемый мечтою создать что-то необыкновенное из устройства военных поселений, так ревниво преследовал малейшее порицание задуманного им, по его мнению,

великого дела, он, в лице Хвостова, встретил непрошенного дерзкого противника своей заветной мысли.

Последний находил, что устройство военных поселений — обращение мирных поселян с их потомством в пахотных воинов — не только не может принести ни малейшей пользы, но готовит в будущем непоправимое зло и грустные последствия.

От мнения Петр Валерианович перешел к делу: в обширной записке он изложил свой взгляд по этому предмету, критически отнесся к этому нововведению, пророча ему в будущем полную несостоятельность и, в конце концов, совершенную его отмену.

Эту несчастную записку он имел смелость представить через начальство своему грозному принципалу.

История умалчивает, с каким чувством читал граф Алексей Андреевич эту записку, но только вскоре она вернулась по начальству же к её автору с лаконичною, энергичною пометкою самого графа:

*«Дурак! Дурак! Дурак!»*

По слухам, и посредствующему начальству передача этой записки обошлась нелегко.

Петр Валерианович, однако, не утомился. Оскорбленное ли самолюбие, уверенность ли в непогрешимости своего мнения, изложенного в записке, а, быть может, упрямая настойчивость, подстрекнули Хвостова, и он успел, вероятно, при помощи врагов всесильного графа, а их было у него немало, довести свою записку до сведения императора Александра Павловича.

Государь прочитал записку, и она была им препровождена к графу Аракчееву с изображенной на ней, как говорили, такой, приблизительно, резолюцией государя:

*«Прочитал с удовольствием, нашел много дельного и основательного, препровождаю на внимание графа Алексея Андреевича».*

Можно себе представить то раздражение графа, в какое он был приведен дерзкою настойчивостью Хвостова.

Муравей осмелился восстать на слона и беспощадно был им раздавлен.

Капитан Петр Валерианович Хвостов исчез

в одну ночь.

Ходили разного рода слухи, догадки — но капитан исчез и на квартире его не оказалось даже его денщика.

Рассказывали, что в роковую ночь кто-то видел троечную повозку, отъезжавшую от квартиры Хвостова с ямщиком и двумя пассажирами.

Поговорили, посудили втихомолку об этом событии и забыли, занятые новыми интересами дня, а капитан все-таки пропал, пропал бесследно.

Это исчезновение живого человека было, на самом деле, до того полно и бесследно, что Ольга Николаевна Хвостова, ничего, кстати сказать, не зная о делах сына и радовавшаяся лишь его успехам по службе, так как Петр Валерианович хотя писал ей, исполняя её желание, не менее раза в неделю, но письма его были коротки, уведомляли лишь о том, что он жив и здоров или же о каком-нибудь важном случае его жизни, как то: получение чина, ордена — встревоженная его продолжительным и ничем необъяснимым молчанием, сама поехала в Новгород и там узнала лишь,

что сына её куда-то увезли, но куда — этого не мог ей никто сказать, так как никто этого, и на самом деле, не знал.

— Кроме графа... — шепотом добавил городничий, смягченный и сделавшийся разговорчивым, ощутив в своей руке внушительную пачку ассигнаций, перешедшей в эту руку из руки неутешной матери.

Он рассказал ей подробно всю историю её сына, но от этого ей было не легче, так как ответить на щемящий её душу вопрос: «Где этот сын, жив ли, здоров ли?» — он не мог, да, по его словам, и никто ответить на этот вопрос не был в состоянии, даже губернатор.

Ольга Николаевна знала последнее по опыту, так как была у начальника губернии, но не узнала от него ничего.

— Никто ничего не знает, кроме графа! — снова понизив до шепота голос при произнесении последних слов, сказал городничий.

Хвостова бросилась в Грузино.

Там прожила она около недели, но никаким образом не могла добиться приема и с разбитым сердцем поехала в Петербург.

Но и тут ожидало её полное разочарова-



ние — никто ничего не знал и не мог ей сказать об участии капитана Петра Валериановича Хвостова.

Последняя надежда, ещё теплившаяся слабою искрою в сердце Ольги Николаевны, исчезла. Она впала в какую-то апатию. Без слез просиживала она по целым часам на одном месте, уставив свой взгляд в какую-то ей одной видимую точку.

В эти две-три недели она страшно осунулась, похудела, поседела и даже как-то сторбилась.

Ей приходило на мысль, что если бы сын её умер, то это не так бы сломило её — все мы ходим под Богом, все мы должны Умереть рано или поздно, но потерять его живым, не знать, где он находится, что делает, или вернее, что с ним делают — было более чем ужасно.

В таком страшном состоянии Хвостова возвратилась в Москву до того, как мы уже сказали, изменившаяся, что домашние и знакомые прямо не узнали её.

На другой же день она поехала к Елизавете Федоровне Аракчеевой, но узнала от хозяина

дома, где она жила, что старушка переехала на постоянное жительство в Тихвин; Ольга Николаевна послала ей длинное письмо, но оно осталось без ответа, доставив Хвостовой около месяца маленькой надежды.

Время, однако, этот исцелитель всякой скорби, затянуло сердечную рану матери и притупило жгучую боль.

Провидение как бы укрепляло силы несчастной Хвостовой, так как вскоре её ожидало другое, не менее ужасное и тяжелое семейное горе.

## VII

### Старый знакомый

Читатель, вероятно, не забыл, следя за судьбой героев нашего правдивого повествования, что Сергей Дмитриевич Талицкий — этот кузен и злой гений Екатерины Петровны Бахметьевой, так трагически исчезнувшей со сцены нашего романа, считался после войны 1812 года, по официальной справке, пропавшим без вести.

Но официальная справка всегда остается

только официальной справкою, а жизнь — жизнью.

Быть может, читатель, знакомый с нравственным обликом этого «героя», узнав об его исчезновении, с довольным видом воскликнул: «Худая трава из поля вон», — но мы, увы, должны напомнить ему другую, но уже немецкую пословицу: «Unkraut fergeht nicht», — то есть, худая трава не изводится, которая всецело и оправдалась на Талицком.

Он был жив, здоров и даже относительно счастлив, но он не был только Сергеем Дмитриевичем Талицким. Волк надел другую шкуру.

Метаморфоза эта произошла при следующих трагических обстоятельствах.

Во время медленных движений нашей армии до Бородинского сражения и после него Сергей Дмитриевич успел сойтись на короткую, дружескую ногу с капитаном своей роты Евгением Николаевичем Зыбиным.

Последний был одних лет с Талицким, и даже в лице их было некоторое сходство, и не будь Талицкий светлым шатеном, а Зыбин совершенным брюнетом, сходство это было бы

ещё разительнее.

Долгие дни военного бездействия сдружили молодых людей и побудили их к откровенности в продолжительных беседах.

Скажем кстати, что со стороны Талицкого эти дружеские излияния были сплошною ложью, и только добряк и, что называется, «рубаха-парень» — Зыбин говорил искренно.

Из этих рассказов Сергей Дмитриевич узнал, что Евгений Николаевич Зыбин круглый сирота, имеет независимое состояние, заключающееся в двух сотнях душ в Тамбовской губернии.

Из родных у него в живых одна старая тетушка, имеющая в Москве дом на Арбате и маленькое имение в Новгородской губернии, душ в тридцать.

Зовут эту тетушку Ириада Александровна Зыбина, но он, Зыбин, не видал её почти с детства, хотя и переписывается с ней изредка.

На воспоминаниях своего детства, когда он жил до поступления в корпус в доме этой тетушки, Евгений Николаевич останавливался с особенными подробностями и удовольствием.

Сергей Дмитриевич старался не проронить ни слова из рассказа своего друга и товарища.

Ему казалось, что эти сведения пригодятся ему.

Петербургская жизнь травленного зайца, где бесчисленные кредиторы играют роль неутомимых охотников и к которой Сергей Дмитриевич *volens nolens* должен будет возвратиться после кампании, представлялась Талицкому страшным кошмаром, от которого он страстно желал освободиться всеми средствами.

Но освободить его от этого кошмара могла одна смерть.

Умирать же ему не хотелось.

«Смерть! — повторял сам себе Сергей Дмитриевич. — Страшная штука!»

«А если не твоя, а чужая!» — подсказывал ему какой-то насмешливый голос.

Страшный план возник в его уме. Гнусная мысль нашла уже в нем готовую почву.

Время шло.

Наша армия дошла до реки Березины, через которую так бесстыдно бежал Наполеон с ничтожными остатками своей «великой» ар-

мии.

Война окончилась согласно обету государя Александра Павловича — ни один живой враг не остался в пределах русской земли.

Русские войска, во главе со своим венценосным вождем, побывали в Париже и, даровав мир с облегчением вздохнувшей Европе, возвратились на родину.

Офицеры получили продолжительный отпуск при переходе через границу.

Евгений Николаевич упросил совершенно влезшего к нему в душу Талицкого провести время этого отпуска у него в имении.

Услыхав это дружеское предложение, Талицкий невольно вздрогнул — так это соответствовало задуманному им ужасному плану.

Он некоторое время даже молчал, ничего не отвечая на любезное приглашение.

— Разве ты составил себе другой план? — с тревогой в голосе спросил его Зыбин.

— План, какой план? — с испугом уставился на него Сергей Дмитриевич.

— Да что с тобой, чего ты на меня так уставился, конечно, план провести время нашего

отпуска...

— Нет, мне, собственно, на этот счет безразлично, — с облегченным вздохом проговорил Талицкий, — я очень буду рад проехать с тобою к тебе...

— Вот это по-приятельски, благодарю, благодарю, — бросился обнимать друга Евгений Николаевич.

Почтовые тракты ещё не были приведены после войны в должный порядок, но Зыбин приобрел в одном из пограничных местечек у какого-то жида бричку и пару лошадей, и друзья решились отправиться в путь вдвоем.

— Я правлю, как настоящий жокей — мы отлично обойдемся без кучера, — успокаивал своего приятеля Зыбин. — Это что, клячи, — указывал он на купленных им лошадей, — а вот погоди, в имении на каких я буду тебя рысаках катать.

Талицкий только кивал головой в знак полного согласия. Внутренне он переживал состояние человека, подхваченного быстрым потоком, справиться с волнами он не был в силах и с головокружительной быстротой несся по течению.

Сборы приятелей были не долги — Зыбин даже вещи Талицкого положил в свой чемодан, купленный им за границей и оказавшийся очень поместительным.

— Это не чемодан, а целый дом, — смеялся он, укладывая вещи.

Наконец, в одно прекрасное раннее утро они выехали. Путь им лежал на Вильну.

— Там найдем кучера и покатаем уже с большим комфортом, — заметил Евгений Николаевич.

Талицкий при этом замечании только вскользь бросил на него тревожный взгляд.

Зыбин был в каком-то восторженном состоянии духа, он болтал без умолку, рисовал планы будущего, их жизнь в деревне, затем в Петербурге.

Сергей Дмитриевич был, напротив, сосредоточенно угрюм.

— А ты чего нос повесил? — допытывался по временам у него Евгений Николаевич. — Теперь ты не один на свете, у тебя есть друг, друг преданный, и этот друг — я.

Талицкий часто рисовался перед приятелем своим сиротством, одиночеством, неиме-



нием друзей, и тем, что он в мире «один, как перст».

— Тяжело, брат, сойдешься с кем по душе, а потом и видишь, что она норовит тебе гадость сделать, а смерть не берет, одно остается — самому пойти за ней! — заключал он, по обыкновению, свои угрюмые монологи.

— Ужели и теперь, когда мы с тобой вышли невредимы буквально из-под тысячи висевших над нашими головами смертей, я отделавшись легкой царапиной, а ты уже совершенно неприкосновенным, ты все думаешь о смерти? — озабоченно спросил его приятель.

Он не ошибся, Сергей Дмитриевич действительно думал о смерти.

«Не твоя смерть, а чужая!» — шептал ему уже давно преследовавший его насмешливый внутренний голос.

Об этой-то чужой смерти и думал Талицкий, и эта чужая смерть была смерть человека, называвшего себя его искренним другом — смерть Зыбина.

Таков был конечный план этого, до сих пор сравнительно мелкого негодяя, готовящегося стать крупным.

Переход этот оказывался не из легких.

Убить человека, убийство которого было так удобно, человека, ему доверяющего и не подозревающего его гнусных замыслов, сидящего с ним бок о бок, и, конечно, не думающего принимать против него каких-либо мер предосторожности — ведь это же так легко, но на деле оказывалось страшно трудным.

Это доверие, эта близость, эта незащищенность и, в конце концов, именно эта легкость исполнения затрудняли дело, парализовали злую волю — рука, уже державшая заряженный пистолет, сама собою разжималась и бессильно падала.

А между тем, убить было необходимо — это уже давно обдуманно, решено, закончено...

Это венец того плана, зародыш которого сидит в голове, растет, вырос и требует настоящего появления на свет — это так же физиологически неотложно, как неотложно беременной женщине родить в установленный природою срок.

Внутреннее сознание подсказывало все это Сергею Дмитриевичу, и, между тем, силы оставляли его.

Он переживал все муки невозможности разрешиться от тяготевшего в его душе бремени, напрягал все усилия нравственных мышц своей воли, подбодрял себя, укорял, стыдил в своей слабости и минутами был готов завершить обдуманное дело, но это были только минуты.

«В Вильне мы найдем кучера! — припомнил он слова Зыбина. — Значит, появится свидетель, следовательно, надо это сделать до Вильны. Может быть, можно избежать... Нет... надо... необходимо... неотложно».

«Не твоя смерть — чужая!» — свинцом засело в его голове. Они приехали в последнюю деревушку перед Вильной.

## VIII

### Убийство

Дорога к Вильне от той деревушки, в которой имели последний привал наши путешественники, была почти сплошь густым лесом.

Осень 1814 года, во время которой происходили описываемые нами события, была поздняя, но сухая и ясная. Была уже половина октября, а деревья ещё не обнажались от покрасневшей листвы. Днем в воздухе чувствовалась даже теплота, только к ночи температура резко понижалась, а на заре были холодные утренники.

Когда Зыбин с Талицким въехали в деревушку, уже вечерело, небо было покрыто тучами, а потому было совершенно темно.

Зыбин предложил заночевать и дать более продолжительный отдых лошадям, но Сергей Дмитриевич, всю дорогу во всем соглашавшийся со своим спутником, тут вдруг горячо запротестовал:

— Помилуйте, до Вильны осталось ка-

ких-нибудь тридцать верст и вдруг сидеть всю ночь в этом свином котухе[2], без воздуха, среди вони и смрада.

Он сделал даже отчаянный жест, указывая на действительно неприглядную обстановку крестьянской хаты, в которую они зашли отдохнуть.

Евгений Николаевич усмехнулся.

— Ишь... неженка, тюфячка захотел, оно и правда, давно мы с тобой не нежили наши походные кости, так будь по-твоему, часа четыре дадим постоять лошадям, а там и в путь в Вильну.

Талицкий успокоился и снова как-то ещё более затих, погрузившись в свои думы, машинально выпил несколько кружек чаю, две чарки водки и закусил.

Зыбин, привыкший к его настроению, не беспокоил его расспросами. «Само собою пройдет. В Вильне я его развлеку», — думал он глядя на своего задумчивого товарища.

— А я все же всхрапну часок-другой, а тебе тоже советовал бы сделать, — заметил он Сергею Дмитриевичу, устроив себе из шинели ложе на лавке и с наслаждением располага-

ясь на нем. — Вон порожняя лавка.

— Я спать не хочу... — сквозь зубы процедил Талицкий и, положив локти на стол, уронил голову на руки.

Вскоре в хате раздался храп Зыбина с каким-то легким присвистом.

Эти звуки вывели Сергея Дмитриевича из задумчивости.

Он поднял голову, оглядел хату, и взгляд его, остановившись на спящем, как-то злобно сверкнул.

«Ишь, дрыхнет, — пронеслось в его голове, — вот что значит иметь светлое прошлое и светлое будущее... я давно не спал так. Будущее, — повторил он мысленно, — впрочем, он не знает этого будущего, даже очень близкого, и хорошо, что не знает, пусть спит, скоро так заснет, что не проснется».

«А если не смогу, не удастся!» — мелькнуло в его уме.

«Вздор, смогу, должно удастся... так надо...» — решил он тотчас же.

«А если рассказать ему все по душе, — продолжал размышлять Талицкий, глядя на спящего Евгения Николаевича, — попросить по-

дружески помощи, поддержки... Он добрый малый, не откажет, даст денег расплатиться с петербургскими долгами, и тогда можно зажить новою жизнью; служить, выслужиться... не прибегая к преступлению, не проливая крови».

Он стал припоминать свои долги: цифры одна за другой укладывались в его уме — итог вышел внушительный. Такой помощи нельзя было и просить.

«Он откажет, и что тогда? Перенести такое унижение... нет, ни за что... Но если бы даже не отказал, если бы это было в его средствах, — Сергей Дмитриевич был уверен, что Зыбин не откажет ему в чем может, — то быть всю жизнь ему обязанным, считать себя благодетельствованным — это невыносимо. Но если бы даже допустить и это, уплата долгов не очистит его в Петербурге — имя Талицкого слишком скомпрометировано, Талицкий не должен существовать... одна смерть может дать ему спокойствие... смерть».

«Не твоя смерть — чужая!» — снова шепнул ему насмешливый внутренний голос.

Если же он сделается Зыбиным, богатым

человеком, со светлым прошлым... с деньгами в кармане на первый случай... тогда — другое дело!

Он знал, что и теперь у Евгения Николаевича было тысяч шесть рублей.

«Ведь это капитал, в сравнении с этими нищенскими тремястами рублей, лежащими у меня в кармане. А имение, а богатая тетка».

Губы Талицкого искривились злобно-завистливою улыбкою.

«Нет, решено, не надо быть бабой, надо действовать», — потрянул он головой, как бы желая отогнать даже малейшие сомнения в осуществлении составленного им плана.

Все эти размышления взволновали его, он стал нервно ходить по земляному полу хаты.

Где-то пропел петух, перекликнулся другой, третий.

Сергей Дмитриевич взглянул на часы, была полночь.

— Пора!..

Он стал будить Зыбина.

Тот быстро вскочил на ноги и они отправились во двор под навес и стали с помощью крестьянина и его сына — хозяев хаты, запря-



гать лошадей.

Небо очистилось и лишь порой луну застигали облака.

Путешественники щедро заплатили за покой и, напутствуемые всякими благими пожеланиями со стороны довольных хозяев хаты, выехали из ворот, проехали деревню и повернули в длинную, темную лесную просеку.

Сначала их охватил полный мрак, но через несколько минут, когда глаза привыкли, сделалось светлее, да и луна вышла на чистую полосу неба и сквозь густоту деревьев причудливыми узорами освещала дорогу. Перспектива просеки при этом лунном освещении, который лился бесконечно, представляла из себя таинственную и великолепную картину.

— Кабы не послушался я тебя, да проспали бы мы в вонючей хате, не видать бы нам этой прелести, — восторженно воскликнул Зыбин.

Талицкий что-то промычал в ответ. Путники ехали молча.

Вдруг среди этого безмолвия раздался выстрел, протяжный стон, шум от падения тяжелого тела, и снова все смолкло. В бричке сидел один Талицкий.

— Конечно! — почти простонал он, подхватывая вожжи и напрягая все усилия, чтобы остановить подхвативших, испуганных выстрелом и шумом лошадей.

— Тпру... Тпру... — каким-то хриплым голосом останавливал он их.

Лошади наконец остановились.

Увы, ещё не все было кончено, только начинается. Он понял это и несколько времени просидел в бричке, не шевелясь.

«Если он жив, он начнет кричать, погонится за мной», — думал он, жадно вслушиваясь в малейший шорох.

Но кругом все было тихо. Луна зашла за облако — мрак сгустился.

Сергей Дмитриевич все сидел и слушал. Луна вышла из-за облака — сделалось светлее.

Талицкий осторожно слез с брички, отвел лошадей в сторону, привязал вожжами к дереву и тихо пошел назад по лесной дороге. На ней, освещенной луною, вдали чернелась какая-то черная масса.

Он медленно, но твердо приближался к ней и наконец различил лежавшего Зыбина.

Он подошел к нему и нагнулся.

Евгений Николаевич лежал ничком, за левым ухом зияла глубокая рана, череп был разбит, виднелся мозг, шляпа валялась невдалеке.

Талицкий дотронулся до руки лежащего, с которой свалилась рукавица, и ощутил холод трупа.

Он отдернул свою руку, отскочил назад, в каком-то ментально охватившем его паническом страхе: он почувствовал, как под его шляпою один за другим поднимались волосы.

Несколько раз он боязливо оглянулся по сторонам и снова стал медленно приближаться к трупу. Сделав над собой невероятное усилие, он схватил его и повернул навзничь и вдруг встретился с спокойным взглядом мертвых глаз — свет луны падал прямо в лицо покойника.

Сергей Дмитриевич мгновенно повернулся и бросился со всех сил бежать по направлению к оставленным им лошадям.

Близость этих живых существ как-то успокоила его, но от быстрого бега он так устал, что должен был обеими руками схватиться за

бричку, чтобы не упасть — у него подкашивались ноги.

«Вот оно, что значит убить... — мелькали в его голове отрывочные мысли. — Убить легко!.. Вот я и убил... Но зачем убил? Зачем?.. Вот тут-то и начинается самое страшное... Надо, во-первых, достать его бумажник, документы, кошелек, все ценное, все пригодится... Документы... Да за этим я и убил! — вдруг как бы только вспомнил он. — Во-вторых, надо его убрать с дороги. А для этого надо опять идти к нему. К нему. Ни за что!.. Это-то и есть самое страшное».

Он вздохнул с каким-то стоном и опустил голову, плотно прижавшись к холодному железу брички — это освежило его.

«Баба! Трус! Чего я испугался... Ведь он мертвец... ведь он ничто...» — стал он усовещивать самого себя.

Это, видимо, помогло. Гордо выпрямившись во весь рост, он спокойно, ровную походкою снова направился к трупу.

## IX

### Страшная работа

Волнение Сергея Дмитриевича улеглось совершенно, он почувствовал себя вдруг как-то совершенно спокойным, его страх исчез так же мгновенно, как и появился.

Мысли его почему-то особенно стали ясны. Он вынул ещё по дороге к трупу из ножен висевший у него на поясе кинжал и, подойдя к мертвецу, стал спокойно и осторожно разрезать на нем одежду, чтобы не тратить времени на раздевание трупа. Шинель на покойном была только накинута, Талицкий разрезал пальто, сюртук и остальное. Для того, чтобы снять разрезанные лоскутки одежды, ему приходилось осторожно приподнимать труп, поворачивать его и даже иногда ставить прямо на ноги.

Картина этой адской, страшной работы, освещенная кротким светом луны, была ужасна.

Когда эта часть работы была окончена, Сергей Дмитриевич, как бы забыв о лежав-

шем рядом теле, стал шарить в этих лоскутках, ища карманов. Он нашел их, вынул все, что в них было: объемистый бумажник, кошелек, часы с цепочкой, кисет с табаком, трубку и записную книжку.

Переложив все это в свои карманы, Сергей Дмитриевич имел хладнокровие снова осмотреть каждый лоскуток. Пистолет, саблю и кинжал, бывшие на покойном, он отложил в сторону у края дороги. Разрезанную одежду он бережно положил на шинель, закатал в неё и завязал ременной портупеей покойного, взвалил узел на плечи, захватил оружие и понес все это к бричке.

Все это он проделывал с какою-то особенной, точно рассчитанной медленностью.

Подойдя к бричке, он уложил свою добычу на её дно и снова вернулся к трупу.

Хладнокровно взяв его за ногу, он было потащил его в лес, но вдруг свет луны отразился на чем-то блестящем на груди трупа.

Сергей Дмитриевич приостановился и снова наклонился над телом.

Блеснувший предмет оказался золотым тельным крестом, висевшим на такой же тон-

кой цепочке.

Талицкий без особого усилия разорвал последнюю и сунул крест в карман.

Затем он снова взял труп за ногу и быстро скрылся с ним в чаще леса.

В лесу было уже совершенно, темно, Сергей Дмитриевич шел тихо, ощупью, держась прямого направления, чтобы не сбиться с дороги на возвратном пути.

Он углублялся все далее и далее в глубь, таща за собою труп, путаясь в кустарниках, натываясь на деревья и цепляясь за ветви. Ему все казалось, что он все ещё очень близко от дороги.

Вдруг он увидел впереди себя на довольно далеком расстоянии два блеснувшие глаза.

Не помня себя от страха, он выпустил из рук ногу трупа и бросился бежать назад, спотыкаясь, падая, но продолжая свой неистовый бег — страх, казалось, окрылил его ноги.

Позади его слышался протяжный вой, а впереди уже виднелась дорога.

«Волки! — вдруг осенила его мысль и сразу успокоила. — Это мои союзники и помощники... К рассвету от него останутся одни ко-

СТИ...»

Он вышел на дорогу, бледный, как полотно.

Кое-как влез он в бричку, и упав головой в угол сиденья, со свесившимися с краю брички ногами, заснул как убитый.

Когда он проснулся, было уже светло.

Сон был так крепок, что Сергей Дмитриевич несколько минут не мог прийти в себя и сообразить, где он и что с ним. Его взгляд упал на сверток одежды Зыбина, на котором он спал.

Он стал припоминать и, наконец, события минувшей ночи восстали перед ним во всей их страшной рельефности. Холодный пот выступил у него на лбу.

Он несколько мгновений стоял в раздумьи.

Что же делать? Что же делать?

«Ничего, теперь все кончено!» — успокоил он самого себя, бросив все же боязливый взгляд в ту сторону леса.

Ему даже показалось, что в просветлевшей чаще леса мелькнул голый мертвец.

Он вздрогнул, но вскоре снова оправился и



инстинктивно повернул назад и пошел к месту совершенного им преступления.

Там все было, как и ночью: лужа крови, кровавый след, ведущий к лесу, следов других колес, видимо, не было, значит, ещё никто не проезжал по этой дороге.

«А теперь, теперь каждую минуту могут проехать!» — мелькнуло в его голове.

Он тщательно и поспешно начал уничтожать следы крови с помощью найденной им толстой палки с заостренным концом и своих собственных ног.

Вскоре все подозрительное исчезло. Так, по крайней мере, показалось ему.

Вдали послышался какой-то неясный шум — стук колес.

Он расслышал его чутким ухом, напряженным страхом.

Он бросился к лошадям, отвязал их и пустился почти вскачь. Застоявшиеся лошади, видимо, были рады поразмять свои ноги. Но вскоре Сергей Дмитриевич одумался и придержал их.

«Это может хуже возбудить подозрение», — подумал он.

Он пустил лошадей сперва мелкой рысью, а затем почти шагом. Стук колес слышался все ближе и ближе — он не ошибся, по дороге кто-то ехал.

Талицкому вдруг страстно, до боли захотелось увидеть живое, человеческое лицо, взглянуть в живые человеческие глаза. Ему казалось, что это уничтожит взгляд мертвых глаз Зыбина, неотступно носившихся перед его духовным взором.

Кроме того, у него появилась другая мысль — ему захотелось убедиться, что человек, проехавший роковое место, ничего не заметил. Сергея Дмитриевича вдруг стали мучить сомнения, что он не окончательно уничтожил кровавые следы.

Вследствие этого, он пустил лошадей шагом.

Стук колес становился все яснее и яснее. Талицкий уже чувствовал, что кто-то едет сзади него, но не оборачивался, а принял даже рассеянный, небрежный вид.

Ему сильно хотелось оглянуться, но он положительно не мог. Ехавший сзади, видимо, не решался обогнать его.

— Должно быть, мужик! — соображал Сергей Дмитриевич, мучимый нетерпением.

Такое его состояние продолжалось около четверти часа, показавшиеся ему целою вечностью.

Наконец, он не выдержал, свернул лошадей в сторону и остановился, делая вид, что ему надо слезть с брички. Мимо него проехал в таратайке, запряженной парой лошадей, какой-то крестьянин, почтительно снявший шапку перед офицером. Талицкий храбро глянул ему в лицо, в глаза и не прочел ничего подозрительного.

— Далеко ли до Вильны? — по-польски спросил он крестьянина.

— Да верст шестнадцать будет! — отвечал тот, почтительно сняв шляпу.

Услышанный звук человеческого голоса совершенно успокоил Сергея Дмитриевича, и он слез с брички, стал осматривать колеса, упряжь лошадей, будто поправляя то одно, то другое с деланно равнодушным видом.

Крестьянин поехал далее своею дорогою крупною рысью. Сергей Дмитриевич наблюдал за ним до тех пор, пока он не скрылся за

поворотом. Крестьянин даже ни разу не оглянулся. Это окончательно успокоило Талицко-го.

Переждав ещё некоторое время, пока стук колес проехавшей таратайки заглох в отдалении, Сергей Дмитриевич снова забрался в бричку и поехал шажком.

Через два часа он въехал в город подполковником Евгением Николаевичем Зыбиным, как мы и будем называть его отныне.

## Х

### Вильна

Город Вильна за время Отечественной войны 1812 года приобрел себе весьма любопытное историческое значение.

13 июня 1812 года соединенные силы Западной Европы, с французами во главе, перешли Неман, то есть тогдашнюю границу России, и началась война.

Государь Александр Павлович жил в это время уже более месяца в Вильне со всем двором и с графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым, делая смотры и маневры.

В тот самый день, в который войска Наполеона переправились через Неман и, отгеснив казаков, заняли русскую территорию, император Александр Павлович был на бале, дававшемся ему его флигель-адъютантами по подписке, для которого богатый помещик Виленской губернии, граф Бенингсен, любезно предоставил свой загородный дом в Закрете.

Во время разгара этого веселого, блестящего праздника, при начале мазурки, один из флигель-адъютантов с озабоченным видом подошел к государю и, наклонившись, шепотом передал ему известие о вторжении неприятеля в пределы России.

Государь удивленно вскинул свои чудные глаза на говорившего, оставил одну из польских дам, с которой до этого времени разговаривал, взял флигель-адъютанта под руку и отошел с ним в отдаленный угол залы, на ходу движением руки подозвав к себе графа Аракчеева.

До слуха присутствовавших, освободивших место залы, где стояли эти трое людей — и то только до ближайших долетели следующие слова государя:

— Без объявления войны вступить в Россию! Я помирюсь только тогда, когда ни одного вооруженного неприятеля не останется на моей земле.

Известие о переходе французами Немана через несколько минут стало известно всем присутствовавшим на бале и принято было с совершенно различными чувствами: русские негодовали, поляки торжествовали, хотя, конечно, явно этого в данное время не выказывали.

Возмущенный наглым поступком того, кого он ещё так недавно называл своим другом, государь остался, однако, до конца бала.

Возвратившись домой в замок Кейстута, государь немедленно послал за статс-секретарем Шишковым и приказал тотчас же написать приказ по войскам и рескрипт фельдмаршалу князю Салтыкову, требуя непременно, чтобы в последнем были помещены слова о том, что он не положит оружия до тех пор, пока хотя один вооруженный француз останется на русской земле.

На другой день было написано государем письмо к Наполеону следующего содержания:

«Государь, брат мой! Вчера дошло до меня, что несмотря на прямодушие, с которым соблюдал я мои обязательства по отношению к вашему императорскому величеству, войска ваши перешли русские границы, и только лишь теперь получил из Петербурга ноту, которою граф Лористон извещает меня по поводу этого вторжения, что ваше величество считает себя в неприязненных отношениях со мною с того времени, как князь Куракин потребовал свои паспорта. Причины, на которых герцог Бассано основывал свой отказ выдать сии паспорта, никогда не могли бы заставить меня предполагать, чтобы поступок моего посла послужил поводом к нападению. И в действительности, он не имел на то от меня повеления, как было объявлено им самим; и как только я узнал о сем, то немедленно выразил мое неудовольствие князю Куракину, повелев ему исполнять по-прежнему порученные ему обязанности. Ежели ваше величество не расположены проливать кровь ваших подданных из-за подобного недоразумения, и ежели вы соглас-

*ны вывести свои войска из русских владений, то я оставляю без внимания все прошедшее, и соглашение между нами будет возможно. В противном случае я буду принужден отражать нападение, которое ничем не было возбуждено с моей стороны. Ваше величество ещё имеет возможность избавить человечество от бедствий новой войны.*

*Александр».*

Письмо это император Александр Павлович отправил для передачи лично императору французов с тем самым флигель-адъютантом, который первый передал ему известие о вторжении неприятеля в пределы русской земли.

По странной исторической случайности, посол русского государя был задержан в неприятельском лагере и через несколько дней уже снова в Вильне, в том самом замке Кейстута и даже в том самом кабинете, откуда отправлял его русский император, получил аудиенцию у императора французов, который и вручил ему письмо с дерзким и заносчивым ответом императору Александру



Павловичу, полное лживых обвинений и непомерных требований.

Это письмо было последним письмом Наполеона к Александру, и война началась.

Последний раз город Вильна появляется на скрижалях русской истории в конце 1812 года, когда собственно война была окончена и неприятель изгнан из пределов России.

23 ноября 1812 года в Вильну приехал Кутузов, этот вождь, избранный царем, освободитель России.

Здесь он, в противность воле государя, оставил большую часть войска.

Государь Александр Павлович со всею свитою — графом Толстым, князем Волконским, графом Аракчеевым и другими, выехав 7 декабря из Петербурга, приехал в Вильну 11 декабря.

Здесь, в том же замке Кейстута, состоялось последнее свидание великого государя и знаменитого полководца.

Государь обнял при встрече старика, пожаловал ему Георгия I степени и сказал ему и собравшимся начальникам отдельных частей и офицерам знаменитые, золотыми буквами

начертанные на скрижалях русской истории слова:

*«Вы спасли не одну Россию; вы спасли Европу».*

Но роль Кутузова была кончена, он сделал свое дело и, не одобряя дальнейшего заграничного похода, решенного государем, должен был сойти с исторической сцены. Он и сошел с неё — он умер.

Таково историческое значение Вильны.

Она уцелела от французского погрома, была по-прежнему богата, полна жизненных удобств и житейских удовольствий.

Мнимый Евгений Николаевич Зыбин, въехав в неё и остановившись в гостинице, решил остаться здесь неопределенное время, находя её самым безопасным местом от неприятных и неожиданных встреч с лицами из его прошлого.

Заняв богатое и роскошное помещение, он, переодевшись, немедленно поехал в парикмахерскую.

— До похода я был черный... а за это время слинял... — небрежно сказал он парикмахе-

ру. — Нельзя ли почернить.

— Можно... — отвечал тот далеко не удивленным тоном, что очень успокоило мнимого Зыбина.

Через какой-нибудь час он сделался совершенным брюнетом.

Взглянув в зеркало, он нашел, что это ему даже идет и остался очень доволен.

Заплатив щедро за труды парикмахеру и купив у него несколько склянок заграничной краски, расспросив о способе её употребления, он возвратился в гостиницу.

Отдав хозяину гостиницы отпускной билет на имя подполковника Евгения Николаевича Зыбина, он велел затопить камин и потребовал кипятку, лимону, сахару и рому.

Слуга исполнил требуемое, дрова весело затрещали в камине, а из наполненного стакана несся по комнате аромат крепкого пунша. Евгений Николаевич запер дверь номера на ключ и принялся за разборку бумаг.

Отложив в отдельную пачку все бумаги на имя поручика Сергея Дмитриевича Талицкого, он внимательно пересмотрел их и бросил в камин.

Медленно стали они загораться, а Зыбин, между тем, аппетитно прихлебывал из стакана пунш, наблюдая, как синеватое пламя постепенно охватывает документы, составляющие юридическую часть человека.

«Вот оно, зрелище своего собственного аутодафе!» — мелькнуло в его голове.

Вдруг перед ним снова мелькнули мертвые глаза.

Он усиленно налег на пунш и с отуманенной головой уснул тревожным сном.

Со следующего дня он ревностно принялся за дела. Прежде всего он послал прошение об отставке по домашним обстоятельствам, а затем сделал несколько визитов и вскоре познакомился со всем виленским обществом.

По рекомендации он нашел себе поверенного, которого, снабдив полномочиями, послал в тамбовское имение Зыбина получить доходы, а кстати поискать, не найдется ли на имение покупателя.

Этому же поверенному он поручил заехать в Москву, узнать жива ли и здорова ли его тетка — Ираида Александровна Зыбина, и если жива, передать ей сердечный поклон от

племянника.

Устроив все это, он предался светской рассеянной жизни, вечера с дамами сменялись холостыми кутежами, он приобрел друзей, любовь общества, и жизнь его, казалось, катилась бы как по маслу... но...

Во всем и всегда бывает это «но».

Для нашего героя оно заключалось в том, что ему приходилось оставаться одному, и что за днем обыкновенно следовала ночь, которая дана для того, чтобы спать, а спать он не мог — мертвые глаза тотчас же появлялись перед ним, как только он ночью оставался один.

Он стал все чаще и сильнее прибегать к благодетельному пуншу. Впрочем, при здоровом организме ему это сходило с рук — он был бодр, здоров, цветущ.

Прошло около года, поверенный выслал деньги из имения и уведомил, что подходящий покупатель наклевывается; о тетушке же Ираиде Александровне известил, что она умерла вскоре после бегства французов из Москвы, в которой она оставалась, и что дом уцелел.

Евгений Николаевич письменно поручил ему принять наследство, так как других наследников не было.

Получен был, наконец, и указ об отставке подполковника Евгения Николаевича Зыбина, который при отставке был награжден чином полковника.

## XI

### Детство и юность Шуйского

**15** августа 1831 года, под вечер, по дороге к селу Грузину, постоянной в то время резиденции находившегося в опале фельд-цейхмейстера всей русской артиллерии, графа Алексея Андреевича Аракчеева, быстро катился тарантас, запряженный тройкою лошадей.

В тарантасе сидел отставной офицер лет тридцати, высокого роста, с русыми волосами, с большими голубыми глазами, мутными и утомленными.

Черты лица его были красивы, но на них лежала печать весело проведенной юности, о чем красноречиво говорили преждевремен-

ные морщины и блеклость кожи.

Это был мнимый сын графа Аракчеева, небезызвестный читателям Михаил Андреевич Шумский.

Он равнодушно поглядывал по сторонам дороги, но по мере приближения его к Грузину, выражение лица его изменялось, какая-то болезненная грусть читалась в его глазах и в деланно насмешливой, иронической улыбке.

Картины прошлого с самого раннего памятного ему детства против его воли теснились в его голове, вызванные окружавшими его знакомыми местами.

Детство — этот счастливый, беспечный возраст пролетело совсем не так приятно для него, как для других детей.

Считавшаяся его матерью Настасья Федоровна Минкина более его мучила, чем берегла.

Это была, как знает читатель, женщина без всякого образования, грубая, жестокая, она старалась направить его воспитание к тому образу жизни, к которому он назначался.

Не имея понятия о жизни аристократии и зная о ней только понаслышке, она старалась

привить ему аристократические манеры и придать ему вид природного аристократа.

Миша был здоровый ребенок — яркий румянец не сходил с его щек. Это сильно огорчало Настасью Федоровну, и она старалась придать интересную бледность его лицу, чтобы он походил на аристократа.

По её мнению, все аристократические дети должны были быть бледными.

Для достижения этой цели, она не позволяла никогда кормить его досыта и даже поила уксусом.

Если бы добрая кормилица, находившаяся потом при нем в качестве няньки, не кормила бы его тайком — неизвестно, чем бы это кончилось.

Ребенок был связан во всех своих движениях. При своей мнимой матери он вел себя, как солдат на ученьи: вытянувшись в струнку, важно расхаживал, как павлин, закинув голову назад. Зато вырвавшись от неё, он вполне вознаграждал себя за все лишения и неудержимо носился по саду и лугам до истощения сил.

Несмотря на то, что Настасья Федоровна



готовила из него изящного аристократа, она без милосердия порола его розгами.

Много горьких сцен этого времени припомнилось Шуйскому.

Кормилица всегда жалела его и заступалась, когда собирались его наказывать: она, со слезами на глазах, просила за него прощения и помилования, становилась перед Минкиной на колени, целовала её руки, называя её всеми нежными, сладкими именами, какие были только в её лексиконе.

Иногда же она принимала угрожающее положение и говорила:

— Сейчас пойду к графу и все расскажу ему, чтобы ты не смела тиранить детище!

Угрозы действовали сильнее, чем ласки: ребенка оставляли в покое, но зато кормилица всегда после таких сцен много плакала и даже стонала.

Это продолжалось до шестилетнего возраста Миши.

После этого времени угрозы не повторялись.

Развивать в ребенке добрые чувства вовсе не заботились. Его учили и молитвам, только

не для того, чтобы молиться Богу, а для того, чтобы он твердо и бойко мог прочесть их, когда графу-отцу вздумается спросить его. С младенчества старались ему привить гордость и презрение к низшим. Если Минкина замечала, что он говорил с мужиками или намеревался поиграть с крестьянским мальчиком, она секла его непременно, но если он бил по лицу ногой девушку, его обувавшую, она смеялась от чистого сердца. Таково было его первоначальное воспитание, мало, впрочем, отличавшееся от воспитания подобных барчуков того времени.

Самыми приближенными лицами к его мнимой матери была его кормилица, а затем нянька Авдотья Лукьяновна Шеина и Агафониха.

Шеина была женщина веселого и беспечного характера и очень красива. Минкина любила её за веселость нрава и забавлялась, заставляя её петь песни и плясать.

Агафониха — старуха со свиным рылом, хитрая, вкрадчивая. Со льстивыми речами, с низкими поклонами, она, как змея, заползала в сердце своей жертвы, выведывала все тай-

ны и сообщала их Настасье Федоровне, которой, таким образом, было известно все, что делается кругом. Вот между какими людьми рос, хотя и не долго, мальчик Миша.

Граф Алексей Андреевич любил его и ласкал, не раз он сиживал у него на коленях, но Миша дичился и боялся его, всеми силами стараясь избегать, особенно после той сцены, памятной, вероятно, читателю, когда граф чуть было не ударил ногой в лицо лежавшую у его ног Настасью Федоровну, которую ребенок считал своею матерью.

Мальчику было как-то неловко в присутствии графа.

К его счастью, последний был очень занят, а потому его свидания с ним были редки и коротки.

С восьми лет Миша Шумский начал жить вместе со своей мнимой матерью более в Петербурге, в доме графа на Литейной.

К нему приставили учителей: француза, немца, англичанина и итальянца.

Француз находился при нем безотлучно — мальчик был более всех расположен к нему. Он в свободное время учил его гимнастике,

что очень нравилось ребенку, рассказывал про Париж, про оперу, про театр, про удовольствие жить в свете; многого он не понимал из его рассказов, но темное понятие осталось в его памяти, и когда ему было восемнадцать лет, они стали ему понятны и много помогли в его шалостях.

Англичанин был строг, холоден и неразговорчив — он много мучил его, оговаривая постоянно, и стараясь охладить в нем живость, которую развивал француз.

Немца он терпеть не мог за немецкий язык, не нравившийся ребенку.

С нетерпением дожидался он часов, когда приходил итальянец. Он учил его музыке и итальянскому языку. Его учили играть на скрипке, на фортепиано и на гитаре. Ребенка это забавляло.

По-русски он учился мало: все науки читались ему, по обычаю того времени, на иностранных языках, а более на французском.

Благодаря таким наставникам, мальчик сделался вполне джентльменом, развязным, ловким, болтливым, надменным и даже немножко безнравственным, а благодаря пе-

тербургскому климату и своим менторам, он сделался интересно бледным, что приводило в восторг Настасью Федоровну.

Граф Алексей Андреевич был как нельзя более доволен его воспитанием. Ребенок знал Париж, не видав его, знаком был с образом жизни французов, англичан и итальянцев. Немцев он не любил в образе своего учителя, а потому мало ими занимался.

Мальчик знал даже, где в Париже можно провести весело время, но вовсе не знал России и с Петербургом знаком был мало. Его познания о России ограничивались начальными уроками географии и грузинской усадьбой, куда он летом ездил на праздники, да и там он более занимался изучением лошадей, собак и мест, удобных для охоты. Губернёр-француз был страстный охотник, во время прогулок он обращал внимание своего воспитанника лишь на места, удобные для охоты, и на разные породы догов.

Бедная кормилица! Сколько слез пролила она за это время! Мальчик не обращал на неё никакого внимания: простая русская баба не стоила того!

Так он воспитывался до того времени, когда его отдали сперва в пансион Греча, а затем в Пажеский корпус.

В корпусе жизнь мальчика пошла правильнее. Избавившись от докучливых менторов, он старался пользоваться свободой, какую мог иметь в корпусе.

Много проделал он проказ, но они всегда сходили ему с рук сравнительно легко — имя Аракчеева было для него могущественным талисманом. Впрочем, он учился хорошо, способности его были бойки, его знанием иностранных языков были все восхищены. На лекциях закона Божьего он читал Вольтера и Руссо, хотя, правда, немного понимал их, но тогда это было современно: кто не приводил цитат из Вольтера, того считали отсталым, невеждой.

Незаметно пролетело время в корпусе — он кончил курс в числе первых и был выпущен в гвардию. Это было счастливое время.

Получив, по тогдашним понятиям, блестящее воспитание, он вступил на широкую дорогу — будущность представлялась ему в самом восхитительном виде. Воображение его

терялось в приятных картинах светской, рассеянной жизни.

Михаил Андреевич Шумский поехал в Грузино к графу Алексею Андреевичу Аракчееву.

Последний встретил его со слезами на глазах и восторженно любовался им — видно было, что его самолюбие было вполне удовлетворено его образованием. Он приказал отвести ему комнаты в главном доме, был с ним ласков и постоянно твердил ему, что он, как честный дворянин, должен быть предан царю до последней капли крови.

Настасья Федоровна была тоже в положительном восторге; не знала куда лучше посадить и чем потчевать. Когда вскоре граф уехал на один день из Грузина, она напоила его шампанским до пьяна.

Кормилица Лукьяновна, как звали её в доме, глядя на него, плакала и с какою-то нежною любовью улыбалась ему сквозь слезы.

Она не сводила с него глаз, порывалась обнять, прижать к своему сердцу, но удерживалась присутствием посторонних.

Наконец, она дождалась счастливой минуты, когда они остались одни.

Она обхватила руками его голову, крепко прижала к своему сердцу, целовала его в губы, в лоб, в глаза и шептала в каком-то иступлении.

— Желанный мой, родной мой!

Он чувствовал, как на его лицо падали её горячие слезы и не старался освободиться от её ласк — ему было приятно в её объятиях.

От этих ласк какое-то, неведомое ему прежде, новое чувство взволновало его грудь. Это были минуты первого и последнего его счастья на земле.

И теперь, при воспоминании, на поблекшее лицо Шуйского скатилась слеза.

Дворня и крестьяне с диким любопытством смотрели на него, но молодой барин не обращал на них внимания, не удостоивал их даже взглядом.

Вскоре он соскучился в деревне и заторопился в Петербург — поскорее вступить в новую самостоятельную жизнь.

Прощаясь с графом и Настасьей Федоровной, он не чувствовал ни тоски, ни сожаления, неизбежных при прощании, весело прыгнул в коляску, но взглянув в сторону,



увидел свою бывшую кормилицу, устремившую на него полные горьких слез взоры.

Тупую болью отозвались в сердце молодого офицера эти слезы — Михаил Андреевич отвернулся и мрачный выехал из Грузина.

## XII

### **Batard!**

**В** Петербурге Шуйской начал жить так, как вообще жили тогда молодые люди, получившие подобное ему воспитание. С ученья или с парада он отправлялся на Невский проспект, встречал товарищей — они гуляли вместе, глаза на хорошеньких, заходили в кондитерскую или трактир, обедали; после обеда отправлялись в театр, пробирались за кулисы и отправлялись ужинать.

На утро он возвращался домой, измученный вином и разгулом.

Со следующего утра начиналась та же вчерашняя история.

Он посещал и аристократические дома столицы, бывал на обедах, вечерах и балах, иногда читал французские романы, правда,

не совсем охотно и только для того, чтобы вычитать из них несколько громких фраз для разговоров.

Жизнь его катилась, как по маслу — на службе он быстро возвышался и был даже произведен во флигель-адъютанты.

В деревню он ездил на праздники, когда там бывал граф Алексей Андреевич, но без особенного удовольствия. Там он не находил себе никакого занятия и от нечего делать скакал верхом на лошади с собаками, гоня бедных зайцев по полям и лугам.

Особенной привязанности к графу и к Минкиной у него не было. Он бы, кажется, не соскучился, если бы не видал их целые годы; лишь к Лукьяновне его влекла какое-то бессознательное чувство, ему часто хотелось повидаваться с нею, посмотреть на неё. Он думал, что эта симпатия была результатом искреннего её к нему расположения.

Он всегда возил ей из Петербурга подарки и часто давал тайком денег.

Так проводил он время, состоя на службе, в полном сознании, что живет, как следует жить образованному человеку. Это сознание

тем более укоренялось в нем, что и все почти его товарищи жили точно так же.

Товарищи любили Шуйского. Во всех шалостях и проделках он был всегда во главе. Бойкий и задорный, избалованный надеждою безнаказанности, он в своих выходках часто доходил до дерзости, но ему все прощали.

Рассказы гувернера-француза очень пригодились ему: руководствуясь ими, он удивлял всех своими выходками.

Без Шумского не обходилось ни одной шумной пирушки, ни одной вздорной затеи.

Офицерам того времени не нравился один генерал, строго соблюдавший форму.

Молодые люди, как известно, большие вольнодумцы в отношении формы: чем строже взыскивают за неё, тем охотнее они делают отклонения, чтобы задать шику.

Генерал этот был грозой нарушителей формы.

— Сделай милость, Шумский, проучи его! — не раз подговаривали его товарищи, указывая на нелюбимого генерала.

Долго Михаил Андреевич искал случая, чтобы посмеяться над ним, но случай этот все

не представлялся.

Раз был назначен парад на Царицыном лугу; войска уже были в сборе; генералы и адъютанты разговаривали, собравшись в кружок, в ожидании государя.

День был жаркий, солнце так и палило. Нелюбимый генерал был тут же. Чтобы заслонить свое лицо от палящих лучей солнца, он повернул свою шляпу не по форме.

Шумский обрадовался случаю, подскакал к нему, и крикнул на весь плац по-французски:

— Ваше превосходительство, не по форме изволите носить шляпу!

Офицеры засмеялись.

— *Tais toi, batard!* Молчи, подкидыш, — даже перевел по-русски, отвечая дерзкому офицеру, сквозь зубы генерал.

На французском языке это слово выражает более, чем «подкидыш».

Кровь застыла в жилах Шумского от этой брошенной ему в лицо позорной клички, и он без чувств упал с лошади.

Его отнесли в карету и повезли домой.

Как только дома он очнулся, слово *batard* — подкидыш, снова раздалось в его

ушах, как будто кто-нибудь стал над его ухом и постоянно твердил это ненавистное название.

Первою его мыслью было броситься к генералу и требовать от него удовлетворения, но ему тотчас представился он с этим едким словом на устах и им овладело чувство робости.

«Да кто же я такой? — спросил он сам себя, хотя и не в первый раз, но теперь с особою горечью. — Я считаю Аракчеева своим отцом, а ношу фамилию Шумского! Моя мать мещанка, а я считаю себя дворянином!.. Кто же я такой? Кто же я такой?»

Он, как сумасшедший, метался по комнате.

Он не велел никого принимать. Ему страшно было встретит человека, так и казалось ему, что при встрече прямо в глаза ему скажут: «Batard — подкидыш», — что на него все будут показывать пальцами.

Batard — подкидыш!

Мучения его были ужасны, глубоко было уязвлено его самолюбие. Он силился припомнить свое детство, — старался припомнить своего отца, кто он такой был? — но ничего не мог вспомнить.

Делать было нечего и Шумский решил обратиться за разъяснением мучившего его рокового вопроса к тем, которых считал своими отцом и матерью, к графу Аракчееву и Настасье Федоровне.

Ему не хотелось ехать к ним, не хотелось их видеть — они сделались ему ненавистны, но как бы то ни было, надо было узнать истину.

Он сказался больным и поехал в Грузино.

Не таким приехал он в него, как прежде. Бывало, только приедет, крикнет во весь двор: «Егеря!», — и бежит к собакам, да целые дни и рыщет по полям за зайцами.

Теперь же, приехав, он заперся в своих комнатах и всеми мерами старался избегать встречи с людьми, боялся, чтобы дворня не узнала его позора, и не указала бы на него пальцем.

Он желал всеми силами души и вместе сам же избегал откровенной беседы с графом Алексеем Андреевичем — ему страшно было узнать истину.

Наконец, преодолев все волнения, он решился заговорить с графом, но говорил кос-

венно, намеками, стараясь заставить его самого высказать все то, что его интересовало.

Граф Аракчеев, казалось, сразу понял намерение молодого человека и был уклончив в ответах.

Шумский не мог ничего от него добиться. Много раз пытался он выведать от него тайну, но безуспешно. Неудача ещё более раздражала его.

Один раз, когда они гуляли в саду, он решился сделать попытку.

— Скажите, Бога ради, чей я сын? — робко спросил он графа. В тоне его голоса слышалась непритворная мольба.

— Отцов да материн! — холодно ответил Алексей Андреевич, отвернулся и быстрыми шагами пошел домой.

Такой ответ уязвил Михаила Андреевича до глубины души. Долго сидел он в саду, не давая себе отчета в волновавших его чувствах, в мешавшихся в голове его мыслях. Он даже не знал, был ли это страшный мучительный сон или бред наяву.

Он просидел бы на скамье целый день и целую ночь, если бы лакей, посланный за

ним, не вывел его из этого мучительного состояния.

— Его сиятельство вас просят к себе! — доложил он. Луч радостной надежды блеснул в его голове.

«Может быть, он тронулся моим горестным положением, может быть, смягчилось его жестокое сердце!» — подумал он.

Он вошел в кабинет Алексея Андреевича. Граф был мрачен и суров. Он сидел за своим столом, разбирая какие-то бумаги.

Исподлобья взглянул он на вошедшего и протяжно, носовым голосом сказал:

— Молодому человеку грешно тратить бесполезно время; я бы советовал вам заняться службой.

Он замолчал, кивнув головою по направлению к двери. Шумский поклонился и вышел.

Сказанные слова имели смысл приказа отправиться немедленно в Петербург. Михаилу Андреевичу не хотелось уехать, не узнав тайны своего рождения. Оставался один человек, могущий открыть ему эту тайну, но он мало верил в чистосердечие своей матери.



Несмотря на это, как утопающий, хватаящийся за соломинку, — он пошел к Настасье Федоровне.

Скрепя сердце, он начал ласкаться к ней и не вдруг приступил с вопросом. Часа два он говорил с ней о разных предметах, старался быть любезным и внимательным, чтобы расположить к откровенности.

— Чей я сын? — наконец спросил он её.

— Мой, родной мой! — отвечала она, стараясь придать своим ласкам всю нежность и горячность родной матери.

Но в ласках её было столько натянутого и поддельного, что они были ему противны. Он едва удержался, чтобы с презрением не оттолкнуть её от себя.

— Кто мой отец? — спросил Шумский.

— Он, — отвечала Минкина. — Разве не говорит тебе этого твое собственное сердце? Разве ты не можешь узнать твоего отца в тех нежных и заботливых попечениях, которыми он тебя окружает.

— Да кто же он? Назовите мне его!

Она посмотрела на него каким-то робким, недоумевающим взглядом.

— Кто же, как не граф! — сказала она, потупив глаза.

— Неправда!

— Вот тебе свидетель Бог! — указала она рукой на образ. — Пусть я умру на этом месте в мучительных страданиях, если это неправда! — с отчаянием в голосе произнесла она.

Ему страшно стало за неё. Она — ему это было более, чем ясно — бессовестно лгала.

Шумский быстро вышел из её спальни, велел подать лошадей и уехал в Петербург, ни с кем не простившись. В страшном, мучительном нравственном состоянии выехал он из Грузина.

Он ехал туда с надеждою узнать отца и мать, думая найти родных его сердцу, думая разделить с ними свое горе, выплакать его на родной груди, найти себе родственное участие и утешение в глазах матери, но, увы, жалко обманулся.

Он даже потерял навсегда надежду узнать своих родных. Он был одинок в целом мире и ещё с таким позорным прозвищем.

«Batard... Подкидыш!» — все время звучало в его ушах.

Он возненавидел графа Аракчеева и Настасью (он мысленно иначе не называл её), а с ними и всех людей. У него не было ни одного человека, близкого его сердцу.

### XIII

## На груди родной матери

Отвратителен показался Михаилу Андреевичу Петербург. Несносно было ходить по многолюдным улицам: это многолюдство напоминало его одиночество и всю пустоту его жизни. Он ни в чем не находил утешения, да где было и искать его?

Он заперся в своей квартире на Морской и выходил только по надобности на службу.

Чего только не придумывал он в то время, чтобы найти себе утешение. Он старался найти его в своем прошлом, но оно было пусто и безотраднo: страшно было заглянуть в него. Кутежи, пиры — вот все, что восставало в его памяти при тщательных усилиях вызвать из неё что-нибудь утешительное.

Сожаление о бесплодно проведенном времени, угрызения совести за растрату юных

сил поселили в нем отвращение к самому себе, и хандра — неизбежное последствие недовольства самим собою — овладела им.

Он искал средства избавиться от неё, желал найти себе занятие, труд, и посвятить ему всего себя, чтобы забыться в нем — и не находил. Он принялся читать, но чтение нагоняло на него ещё большую скуку.

У него, не приученного к серьезному труду, не было жизненной цели.

Одни несбыточные химеры занимали его голову — они рассыпались в прах при первой неудаче. По целым часам просиживал он в своем кабинете, устремив взгляд на один какой-либо предмет, без мысли, без чувства.

Товарищи всеми силами старались развлечь его, но старания их оставались тщетны.

Он дичился их. Ему завидно и больно было видеть их счастливыми.

Кроме того, он подозревал, что они знают его тайну и из одного только страдания не бросают его. Это было для него обидно, оскорбительно. Он сделался едок и желчен — это отделило его от многих.

Наконец, его положение сделалось так

невыносимо-мучительно, что он стал искать самозабвения: верным средством оказалось вино, и он предался пьянству.

Потеряв уважение к самому себе, он хотел заставить других уважать себя силою. Каждая шутка казалась ему насмешкой и оскорблением — он сделался сварлив и вздорен.

Одна ещё цель была в его жизни — отомстить генералу, так грубо его оскорбившему. Он хотел ему отомстить так, чтобы он всю жизнь казнил себя его мезтью.

Убить его ему было мало — нет, он хотел отнять у него доброе имя, спокойствие совести — словом, все радости жизни, чтобы генерал испытал все мучения, какие испытывал он.

И если бы не эта цель, привязывавшая его к жизни, он сделался бы самоубийцей без всякого сожаления о жизни. Ему нечего было терять в ней!

Однажды после развода, когда Михаил Андреевич возвращался домой, по дороге с ним пошел один из его добрых товарищей, Петр Дмитриевич Калачев, и, видимо, старался завязать разговор.

Шумский нехотя отвечал ему, чтобы скорее от него отделаться, но не тут-то было.

Калачев зашел к нему, что сильно не понравилось Михаилу Андреевичу.

Ему хотелось выпить, а при Калачеве было стыдно. Шумский сделался рассеян, умышленно невнимателен к своему гостю, но Петр Дмитриевич, как бы не замечая этого, стал говорить ему о непристойности такого образа жизни, какой он ведет.

Михаил Андреевич отвечал ему неохотно, но тот спокойно продолжал говорить.

Шумский злился и стал отвечать желчно и едко, но Калачев не оскорблялся этим и не прерывал своей речи.

Сколько было в его словах правды, искренности, неподдельного чувства. Он победил Шумского своим великодушием. Михаилу Андреевичу стало стыдно, что он оскорблял человека, который искренне желал ему добра, несмотря на его неблагодарность.

— Благодарю тебя, — сказал он, с жаром пожав руку Петра Дмитриевича, — я вижу, что ты искренне желаешь мне добра, я знаю, что твои слова не пустые фразы. От всей ду-

ши верю в их правду и искренность, но не могу следовать твоим советам.

— Отчего же? — спросил Калачев, с грустью посмотрев на него.

— Оттого, что для меня в жизни все потеряно.

— Ты разочарован?

— Может быть, и так. Но нет, я мог бы ещё найти себе счастье в жизни, если бы не одно несчастное обстоятельство.

— Скажи мне, или, может быть, это тайна?

— Да, это страшная тайна, которой я ещё не могу разгадать; мне тяжело говорить о ней: она связана с такими воспоминаниями, которые могут свести меня с ума. Ты знаешь, как тяжело вспоминать то, что мы стараемся, если не выкинуть совсем из памяти, то, по крайней мере, заглушить чем-нибудь.

— Так старайся и ты чем-нибудь заглушить свое горе.

— Чем, например?

— Сначала хоть рассеянной жизнью: езди в гости, на гулянья, в театр.

— Это для меня невыносимо, все это будет только напоминать мои горькие утраты.

— Так займись серьезным делом. Ты получил прекрасное воспитание; оно не должно быть бесплодно: читай, размышляй, действуй.

— Пробовал, брат, и это, да пользы ни на грош. Видишь ли что: меня учили говорить, а думать не заставляли — так эта работа мне не по силам теперь — скучна.

— В самом деле, положение твое незавидное. Что бы ещё придумать? — говорил в раздумье Калачев.

— А вот что, — сказал Шумский, — выпить было бы прекрасно. Одно вино в состоянии прогнать тоску и мрак.

— Полно шутить! — ответил ему с упреком Петр Дмитриевич. — Высказывать всю пагубу пьянства я не буду, ты сам хорошо это знаешь. Посуди сам, прилично ли это образованному человеку...

— Что же мне делать-то? — прервал его Михаил Андреевич, чтобы удержать его от бесполезных рассуждений.

Калачев задумался.

— Есть ещё одно средство, — сказал он после минутного молчания, — попросись в де-



ревню к графу Алексею Андреевичу. Он устраивает свою усадьбу, ты ему можешь быть во многом полезен, да и сам незаметно развлечешься, это дело будет для тебя ново и интересно. При этом же сельская жизнь имеет очень благоприятное на нас влияние...

Он долго говорил на эту тему, говорил умно, живо, увлекательно, рисовал перед Шумским такие восхитительные картины, что тот невольно поддался его влиянию и решился ехать в Грузино.

Сказано — сделано. Он взял отпуск и уехал из Петербурга.

Но, увы, предсказания товарища не сбылись — пребывание в Грузине лишь усилило ненависть Шумского к графу и Минкиной и усугубило его хандру.

Он снова принялся не за дело, а за вино.

Графу Алексею Андреевичу, конечно, не нравилось его поведение — он преследовал его своими холодными наставлениями. Михаил Андреевич стал избегать его, как вообще всех людей, и сидел более в своей комнате за бутылкой. Вопрос о его происхождении не давал ему покоя. Ему сильно хотелось разре-

шить его, но кто мог это сделать?

Однажды к нему зашла Лукьяновна. Светлая мысль блеснула; в его голове.

«Не знает ли чего она? — подумал он. — Она должна бы, кажется, знать; ведь я вырос на её руках».

— Сослужи мне небольшую службу... — обратился он ласково к ней.

— Изволь, охотно, — отвечала она, — не винца ли принести, справлю сейчас, да так, что никто и не проведаёт...

— Спасибо, не надо теперь. Я хочу просить тебя о другом деле, только с условием, чтобы ты сказала откровенно сущую правду.

— Как перед Богом, ничего не скрою... — отвечала она с такою искренностью, что ей нельзя было не поверить.

— Ты с самого начала, как я родился, поступила ко мне в кормилицы?

— С самого первого дня.

— И все хорошо помнишь?

— Ещё бы не помнить! — тяжело вздохнула она.

— Скажи, пожалуйста, кто мой отец?

Лукьяновна побледнела и даже попяти-

лась назад при этом вопросе.

— Знать-то, я знаю... — сказала она, понижая голос до шепота и пугливо озираясь по сторонам. — К чему это вздумалось тебе спросить?

— Мне бы хотелось знать отца.

— Да какого тебе отца? Родного, что ли? Зачем он тебе так понадобился? Сам ты не маленький, барин уже большой.

— Тебе, видно, не жаль меня? — сказал он с упреком.

— Аль беда какая приключилась? — с испугом спросила Лукьяновна.

— Ты не знаешь, как я несчастлив... — мрачно ответил Михаил Андреевич.

— Желанный ты мой! Да что тебе приключилось такое? — заговорила она сквозь слезы. — И какому быть несчастию? Молод ты, пригож, в чинах, барин, как следует быть барину!..

— Что мне в этом, когда я не знаю, кто я и мои родители?

— Зачем бы они тебе понадобились? Сам, кажется, на степени; зачем бы тебе их.

— Ах, ты не знаешь, что...

Он хотел сказать ей, что его презирают, что его называют «подкидышем», но ему и её стало стыдно.

— Скажи, ради Бога, если ты знаешь, кто мой отец? — с неподдельным отчаянием в голосе спросил он.

— Знать-то, я знаю, как мне не знать?.. Да не было бы мне чего от Настасьи Федоровны. Не узнала бы она, как я скажу тебе об этом всю правду.

— Что же может быть?

— Да она меня за это со свету Божьего сживет, в могилу живую закопает. Раз уж, махонькой ты был, вышло это дело перед графом наружу, досталось ей от него, а теперь она с ним уж сколько лет опять скрывать стали...

— Клянусь Богом, никто не узнает того, что ты мне скажешь! — сказал ей торжественно Шумский.

— Быть так, потешить тебя! Твой-то родной отец, Иван Васильевич — покойный мой сожитель.

— Как так? — вскочил с дивана Михаил Андреевич и быстро подошел к стоявшей пе-

ред ним Лукьяновне.

— Э... коли говорить, так видно надо все говорить, — сказала она, махнув рукою. — Годов это куда уж более двадцати схоронила я моего покойничка Ивана Васильевича и осталась после него тяжелою. Прихожу я к Настасье Федоровне, я-таки частенько к ней хаживала: бывало, песни попоешь и сказочку ей расскажешь, да и выпьешь с ней за компанию, и всегда хорошее вино пьешь, шампанское называют. Весело время проводили, особенно когда графа дома не было. Вот таким манером, раз сижу я у ней, а она и говорит:

— Авдотья, ты, кажется, в тягости?

— Точно так, сударыня, Настасья Федоровна, — отвечала я.

— Счастливая! — сказала она и вздохнула.

— Уж какое мое счастье! Осталась сиротой, куда мне с ребенком-то деваться? — заметила я.

— Отдай мне твоего ребенка, когда родишь, если будет мальчик.

— Да зачем это вам, сударыня?

— Пожалуй, я тебе и скажу, только чур молчок, а то по-своему, разделаюсь, ты меня

знаешь. Графу хочется иметь наследника — вот и будет наследник. Согласна ты, или нет?

— Да как же это, сударыня, я отдам свое детище в утробе?

— Это все равно, но только, чтобы ты не смела и виду подать, что он твой, я его выдам за своего родного, — говорит мне она.

Страшно мне стало от таких слов.

— Как же это, сударыня, отказаться от своего детища — это смертный грех, — сказала я.

— Полно тебе, глупая. Нашла — грех устроить счастье своего детища! Граф тоже будет считать его своим родным, сделает своим наследником — он будет барином.

— Обольстила она меня, окаянная, своими льстивыми речами — я и согласилась. Пришло время, родила я тебя, желанный мой...

Далее Лукьяновна рассказала Шуйскому все, что уже известно нашим читателям.

Горько зарыдал он в ответ ей и, упав на её грудь, горько плакал, вместе с нею.

— Матушка, матушка! Что ты сделала? Ты погубила меня...

Только это он и мог сказать ей. Она ничего ему не отвечала.

## XIV

### Безумная выходка

Открытие тайны не обрадовало Шумского, оно скорее ещё более огорчило его.

«Прав был генерал, назвавший меня подкидышем!» — подумал он.

Впрочем, это его не примирило с ним, не потушило в его сердце жажды мести.

Он хотел мстить оскорбившему его генералу, хотел мстить графу Аракчееву и Настасье, насильно вырвавшим его из собственной его среды и бросившим в среду, совершенно ему чуждую. И все это только для своих корыстных и прихотливых видов.

Наконец, хотел мстить людям, законно пользовавшимся своими правами, а не так, как он, по-воровски.

Сначала он порывался было сейчас идти к графу, снова напомнить ему об обмане Настасьи, представить ему свое несчастное и неестественное положение в обществе и всю гнусность его поступка — украсть человека из родной семьи и воровски дать ему право

незаконно пользоваться не принадлежащими ему именем, состоянием и честью. Но Михаила Андреевича удерживала клятва, данная родной матери, и страх мести со стороны Настасьи его матери за открытие тайны.

Он отложил объяснение с графом до более удобного времени и уехал в Петербург.

Здесь он неудержимо предался кутежу и буйству. Граф Аракчеев терпеть не мог пьянства — оно было самым лучшим средством мучить его.

Был вечер 12 сентября 1825 года. Михаил Андреевич Шумский находился в самом веселом расположении духа, сидел и покачивался на диване в своем кабинете, когда его камердинер Иван доложил ему, что из Грузина от графа Аракчеева прибыл нарочный с важными известиями.

— Подать его сюда! — крикнул Шумский.

Вошел посланный.

— Что хорошего скажешь? — спросил Михаил Андреевич.

— Его сиятельство граф приказал доложить вашему высокоблагородию, что Настасья Федоровна приказала долго жить, и про-



сит вас пожаловать похоронить.

— Умерла?.. — вскочил Шумский с дивана, но сильно покачнувшись, сел опять.

— Точно так...

Как ни ненормально было состояние Михаила Андреевича, но неожиданное известие о смерти Минкиной его поразило.

— Да как же она умерла? — стал допытываться он у посланного.

— Так, умерла... — отвечал он, и сколько Михаил Андреевич ни расспрашивал его, добиться более ничего не мог.

На другой день он отправил посланного с письмом к графу Алексею Андреевичу. Он писал, что смерть Настасьи Федоровны так его расстроила, что он захворал, а потому и не может приехать. Ему не хотелось видеть ненавистной ему женщины даже мертвой.

Впрочем, после, когда он узнал подробности смерти Минкиной, он пожалел, что не поехал полюбоваться на графа Аракчеева, горько оплакивавшего верного и незаменимого своего друга.

После смерти Настасьи звезда счастья графа Алексея Андреевича стала быстро катить-

ся к закату.

Через очень короткое время он схоронил своего благодетеля-государя, а за ним и сам сошел с поприща государственной деятельности и потерял прежнее могущество.

Он сделался ещё более желчным и угрюмым — здоровье его, видимо, стало расстраиваться — он никуда не выезжал.

Собственными глазами он видел, как дела его, которыми он хотел увековечить свое имя, разрушались.

Тяжело было его положение.

Как развенчанный кумир, он не чувствовал к себе более ни благоговения, ни страха, а лишь холодное любопытство; иногда ему даже приходилось переносить хотя и неважные оскорбления, для другого почти не чувствительные, но для него, избалованного безусловным повиновением, слишком мучительные.

Наскучив бездеятельною жизнью и невниманием к нему, от скуки и досады, да, кажется, и по совету других, граф Алексей Андреевич отправился для поправления своего здоровья за границу.

На долю Шумского выпало сопутствовать ему. Чтобы занять и развлечь своего покровителя, которому делать всякого рода неприятности было для него весело, он начал напропалую кутить в дороге.

Граф Аракчеев не выдержал этого испытания и, чтобы избавиться от мучений и беспокойства, отправил Михаила Андреевича обратно в Россию, как вовсе ненужного ему человека.

Возвратившись в Петербург, Шумский не считал долгом ни к кому явиться, кроме своих приятелей-собутыльников.

С ними отпраздновал он свое возвращение в любезное отечество.

За обедом, во время которого в вине не было недостатка, он тешил всех рассказами о своем кратковременном путешествии с графом.

После обеда вся компания отправилась в театр.

На этот раз судьба побаловала Михаила Андреевича. Ему как раз пришлось сидеть позади нелюбимого генерала — заклятого его врага.

У генерала во всю голову была громадная лысина. Глядя на неё, Шумский придумал безумную выходку.

Когда воодушевленные игрою артистов зрители начали аплодировать, он встал и с усердием, достойным лучшей участи, три раза ударил по лысине генерала, крича во все горло:

— Браво, браво, браво!

Вся публика разразилась гомерическим хохотом при виде такого своеобразного аплодисмента.

Шумский был тотчас же арестован и отвезен на гауптвахту, и оттуда через двадцать четыре часа в солдатской шинели налегке отправился на курьерских на Кавказ, в сопровождении молчаливого товарища — жандарма.

Путешествие его не было продолжительным — ни на одной станции не задерживали с отпуском лошадей.

Шумский очутился в стране, богатой дикими красотами природы и вином.

Но ни эти дикие картины природы, ни знойное солнце, ни прочие поэтические на-

слаждения не занимали его — оно было дело для него постороннее. Вино было дешево — вот что было для него самым важным.

Он, что называется, пил без просыпу.

Много раз он участвовал в экспедициях и, надо сознаться, не всегда трезвый, но все же успел несколько раз отличиться и заслужил чин поручика. Наконец, он был ранен кинжалом в шею и, как храбрый, раненый воин, вышел в отставку и воротился в отечество.

В Петербург ему въезжать было запрещено.

Все эти события, описанные нами в предыдущих главах, проносились в уме ехавшего прямо с Кавказа в Грузию Михаила Андреевича Шумского и восставали в его памяти с особой рельефностью, когда это чудесное село уже открылось перед ним.

Издали оно казалось городом с бесконечными садами и красивыми зданиями.

На первом плане представлялся огромный каменный трехэтажный дом, назначенный для кадетского корпуса; за ним высился большой, окруженный колоннами, купол собора и золотой шпиль колокольни, а там в разных

местах выглядывали зеленые и красные кровли зданий, за которыми бесконечный сад сливался с горизонтом.

Вид Грузина тем более великолепен, что в этом месте берега Волхова низки, плоски и опушены мелким лесом; однообразие их утомительно и скучно — точно необитаемая пустыня, где не видно никакой жизни, и после такой скучной и безжизненной местности вдруг из-за колена реки восстает целый город, окруженный возделанными полями, которые пересекаются дорогами во всех направлениях. Дороги эти очень заметны.

Они обсажены березками и, сливаясь с садом и парком, кажутся одним общим бесконечным садом.

Чем более подъезжаешь к Грузину, тем яснее представляются окружающие его строения, но само Грузино остается все ещё загадкою: город это, или мыза?

Огромный дом заслоняет все детали этого чудного села. Надо проехать этот дом, чтобы видеть самое Грузино.

Ехавший в тарантасе Михаил Андреевич Шумский, как мы уже сказали, равнодушно

оглядывал окружавшую местность и думал свои тяжелые думы, думы о прошлом.

Только взгляд, брошенный им на находившуюся возле дороги сплошь вырубленную рощу, вдруг заискрился, и на его губах появилась довольная улыбка.

Он вспомнил историю вырубки этой рощи.

Лет пять тому назад это была чудная сосновая роща, но в ней было много валежнику и мелкой лесопоросли.

Проезжая мимо, граф Алексей Андреевич сказал батальонному командиру, батальон которого был расположен на этом месте:

— Рощу надо вычистить.

— Слушаю-с, ваше сиятельство! — отвечал ярый служака, приложив палец к козырьку.

Через месяц граф приехал и не узнал места. Следов не было видно существования несчастной рощи, кое-где лишь торчали пни, которые и обратили теперь внимание Шумского.

Он вспомнил, как расsvирепел граф Аракчеев от такого ревностного исполнения его приказаний.

«Быть может, он и не виноват во многом,

имея таких слепых исполнителей каждого брошенного им слова, — мелькнуло в голове Михаила Андреевича. — Но передо мной он виноват всецело!» — закончил он свою мысль.

Тарантас уже в это время въезжал в ворота графского двора и через минуту остановился у подъезда главного дома.

Выбежавшие слуги приняли немногочисленные вещи приезжего, который, пройдя в свои прежние комнаты, приказал доложить графу Аракчееву о приезде отставного поручика Шумского.



## XV

### У мнимого отца

Не очень ласково принял Михаила Андреевича его мнимый батюшка — граф Алексей Андреевич Аракчеев.

Не по сердцу была ему проделка молодого человека в театре и поведение на Кавказе — он знал про него всю подноготную.

Но Шумскому было и горя мало, он не обращал на графа никакого внимания, промыслит, бывало, себе винца, да и утешается им на досуге. Он уже начал надеяться, что будет себе жить в Грузине, да попивать винцо на доброе здоровье, но вышло далеко не так.

Граф нахмурился, глядя на почти всегда полупьяного Михаила Андреевича, но в объяснения с ним не вступал; последний же старался как можно далее держать себя, что первое время ему удавалось, так как и сам Алексей Андреевич избегал его.

Прошло около месяца.

Однажды после обеда граф вдруг не тотчас же пошел в свой кабинет и заговорил. Шум-

ский тоже принужден был остаться в столовой.

— Плохое дело старость, — начал, вздохнув, Алексей Андреевич, — хотелось бы потрудиться да поработать, но силы изменяют. Вот в твои лета я работал и усталости не знал. Самый счастливый возраст, чтобы трудиться для собственной и ближнего пользы — так охоты, видно, нет, лень одолела, а между тем, и стыдно, и грешно человеку в твоих летах тратить попусту время...

Михаил Андреевич хорошо понимал, в чей огород летят камешки, но молчал.

«Пришла охота старику побрюзжать, пусть его, на здоровье! Не стану ему отвечать, соскучится скоро один разговаривать и меня оставит в покое», — думал он про себя.

— Кажется, воспитание было дано отличное, — продолжал, между тем, граф, как бы говоря сам с собою, — и все было сделано, чтобы образовать человека, как следует быть дворянину, но ничто не пошло в прок. Вам и не скучно без занятия? — спросил он, обращаясь уже прямо к Шуйскому.

«Дело дрянь, — подумал последний, —

молчком не отделаться».

— Что же прикажете делать, и поскучаешь другой раз... — смиренно отвечал он.

— Мне странно, что ты не можешь найти себе дела.

— Что же прикажете мне делать? Служить я не могу — это вам хорошо известно.

— Да ведь тебя учили всему; можно и без службы найти себе занятие.

Зло взяло Михаила Андреевича.

— Учили меня всему, чему не нужно, а чему нужно, тому не учили. Вот если бы учили меня сапоги шить и веретена точить — точил бы здешним бабам на досуге, а я и этого не умею.

— Хоть бы молился Богу на досуге, если ничего не можешь придумать делать.

— Не за кого! За себя я молюсь — этого с меня и довольно.

— Как не за кого? А за твою несчастную покойную мать... — хриплым голосом, с видимым усилием сказал граф.

— Моя мать, благодаря Бога, и теперь ещё жива и здорова.

Алексей Андреевич грозно сверкнул оча-

ми.

— Да ты-то сам, братец, здоров ли? — спросил он сурово Шумского.

Последний встал.

— Время узнать вам истину, если вы только её не знаете. Женщина, имени которой я не хочу произносить — оно мне ненавистно — недостойна была вашего внимания: она бесовестно обманула вас и погубила меня, насильно вырвав из родной семьи, из той среды, где я, быть может, был бы счастливым и все это из корыстных видов, чтобы этим низким обманом упрочить к себе вашу привязанность.

Граф сидел бледный — губы его посинели и тряслись, он слушал Шумского и не прерывал. Воспоминания прошлого, которое он столько лет старался забыть, одно за другим восставали в его уме.

Михаил Андреевич передал ему дословно рассказ своей родной матери — Лукьяновны.

Когда он кончил, Алексей Андреевич молча встал и неровными шагами ушел к себе в кабинет.

Михаил Андреевич отправился тоже к себе

и выпил с горя так, что до утра проспал без памяти и ничего не слышал, что вокруг него делалось.

Поутру, когда он проснулся, к нему вошел с озабоченным видом старый слуга Гаврила.

— У нас не совсем благополучно, Михаил Андреевич, — сказал он.

— Что такое?

— Граф захворать изволили вчера, и очень сильно — хлопот было довольно всем, в Петербург за доктором посылали, сейчас только приехал.

— Это все ничего — пройдет. Главное, есть ли водка — вот важный вопрос, на который тебе следует обратить внимание, — сказал Шумский, потягиваясь на постели.

— Эх, Михаил Андреевич, — покачал головой Гаврила, — пора бы вам и бросить: дело неприличное для вас, а для его сиятельства больно претительное. По правде сказать, вы, кажется, изволили его-то и расстроить вчера; как вы изволили с ним расстаться после обеда — все ему стало делаться дурно.

— Ну, ты там, что хочешь думай, а опохмелиться сегодня надобно. После что будет, а се-

годня опохмелиться нужно: голова больно тяжела.

— Воля ваша, как угодно вашей милости! — отвечал Гаврила с каким-то ожесточением.

Дня три хворал серьезно граф, не выходил из своей комнаты и никого не принимал к себе; потом стал поправляться и выходить.

Через неделю после описанного разговора, Алексей Андреевич позвал Шумского к себе.

До этого времени последний не показывался ему на глаза.

— Вот что, Михаил Андреевич, скажу я вам, — начал граф, когда Шумский вошел в его кабинет и остановился перед письменным столом, за которым сидел Аракчеев. — Вам, действительно, здесь трудно найти себе занятие, а без дела жить скучно. В мире для вас все потеряно, но есть ещё место, где вы можете быть полезным, если не ближним, то, по крайней мере, самому себе. Ваша жизнь полна горьких заблуждений; пора бы подумать вам о своем спасении и загладить грехи вашей юности молитвою и покаянием.

«Не мешало бы и вам». — подумал Михаил

Андреевич, но промолчал.

— Я бы вам советовал попробовать поискать себе утешение в монашеской жизни; особенно хорошо было бы пожить вам в Юрьевом монастыре. Отец архимандрит Фотий, человек замечательно умный и строгой жизни: под его покровительством вы бы нашли мир душе своей и, может быть, полезное занятие.

— Я не нахожу себя способным к монашеской жизни, — отвечал Шумский.

— Чего не испытаешь, того не знаешь, — продолжал граф, — может, это и есть ваше настоящее призвание. Я вас не неволю, но по моему мнению, гораздо лучше иметь какое-нибудь верное средство к жизни, чем томиться неопределенностью своей участи и не иметь ничего верного для своего существования. Подумайте.

Он легким наклоном головы дал знать, что разговор кончен.

— Плохи делишки! Плохи делишки! — говорил сам себе Михаил Андреевич, выходя от графа.

Думать было нечего — надобно было выби-

рать одно из двух: или идти в монастырь, или по миру.

Из слов графа Аракчеева ясно было видно, что если Шумский не пойдет в монастырь, то он выгонит его из дома.

А куда ему идти? Надобно было покориться неизбежной участи.

Но прежде чем обдумать, что ему делать, Михаил Андреевич с горя выпил.

Пьяному как-то все вещи представляются в лучшем виде.

«В монахи, так в монахи! — решил он, махнув рукой. — Ведь и в монастырях люди живут. Только дают ли там водку?»

Он никогда не бывал в монастырях, а потому вовсе не знал их порядков.

Вопрос этот смутил его.

— Эй, Гаврила! — крикнул он.

Гаврила явился.

— Бывал ты в монастырях?

— Бывал.

— Пьют ли там водку?

— Не знаю, может быть, и пьют, — ответил

Гаврила, удивленно посмотрев на барина.

— Вот что!.. Ну, ступай, куда хочешь; ты



мне не нужен.

Гаврила ушел.

## XVI

### В монастыре

«Значит, и в монастыре выпить можно! — рассуждал сам с собою Шумский. — Только Фотий больно строг!.. Да что же он со мной сделает? Я отставной поручик — розгами не посмеет».

На другой день утром он явился к графу.

— Что хорошенького скажешь, Михаил Андреевич? — спросил он его.

— Я пришел поблагодарить вас за спасительный для меня совет ваш, которому я решился последовать, — сказал смиренно Шумский.

— Хоть одно умное дело сделаете в продолжение всей вашей жизни. Конечно, для вас, с непривычки, тяжелою покажется строгая монастырская жизнь, но чтобы облегчить её и дать вам возможность хоть на первый раз не испытывать всех лишений, я каждый год буду присылать вам по тысяче рублей.

Михаил Андреевич поблагодарил графа и вышел.

«Э! Да дело-то не совсем дрянь! — думал он. — С тысячью можно и в монастыре жить припеваючи!»

Через три дня был назначен его отъезд в Юрьев монастырь, Шумский дал знать своей матери.

Накануне отъезда она пришла проводить его. Оба они поплакали и выпили вместе на прощание.

Наступил урочный час, подали лошадей. Михаил Андреевич пошел проститься к графу и встретил его в столовой.

— Забудемте, что было между нами, Михаил Андреевич! — сказал Алексей Андреевич, обнимая его.

Он был взволнован.

— Вот письмо: потрудитесь отдать его отцу-архимандриту.

— Прощайте, — сказал он и быстро ушел к себе в кабинет. Не без грусти уехал Шумский.

Он приехал в Новгород и, когда вступил в монастырский двор, им овладело тревожное чувство.

«За этими стенами, — пронеслось в его голове, — мне приходится заживо схоронить себя от света — это моя могила».

И действительно, тишина, царствовавшая в монастыре, застроенном внутри огромными каменными зданиями, с обширным двором, усаженным деревьями и перекрещенным в разных направлениях тротуарами из плит, казалась могильною.

Изредка покажется монах, как привидение, весь в черном, мерно и плавно пройдет мимо и скроется куда-нибудь в коридор здания, но шаги его ещё долго раздаются в ушах, вторимые эхом.

Шуйского проводили к архимандриту. Он передал через келейника письмо графа.

Фотий не долго заставил себя ждать в приемной. Быстро отворил келейник двери и перед Михаилом Андреевичем открылась целая анфилада больших, но скромно меблированных комнат.

В перспективе дверей, как в раме, показалась фигура Фотия. Он шел к нему медленно, склонив голову, как будто занятый размышлением.

Архимандрит Фотий был невелик ростом и сухощав; лицо его было бледно и так сухо, что ясно обрисовывались все мускулы.

Шумский подошел к нему принять благословение. С невольным уважением он низко поклонился архимандриту. В лице и осанке последнего было столько важной строгости и достоинства, что невозможно было смотреть на него без чувства какого-то благоговения.

Михаил Андреевич не счел нужным рекомендовать Фотию, державшему в левой руке письмо графа Аракчеева. По этому письму он уже знал, кто стоял перед ним.

— Ты, сын мой, — сказал Фотий тихим, приятным голосом, — пришел искать к нам убежища от сует мирской жизни?

— Точно так, ваше высокоблагородие! — по-солдатской привычке ответил Шумский.

Фотий слегка улыбнулся на такой титул и продолжал:

— Ревность по Богу и желание святой иноческой жизни похвальны; только для этого одного желания мало: надобно иметь твердую решимость, чтобы отказаться от всех прелестей суетной мирской жизни и посвя-

тить всего себя строгому воздержанию, смирению и молитве — первым и главным добродетелям инока.

— Я на все готов!

— Искренно ли твое желание? — спросил архимандрит Фотий, окидывая Михаила Андреевича пронизательным взглядом.

— Искренно! — ответил тот смущенно.

Он не мог вынести его взора, прожигавшего душу.

— Помоги тебе Господь Бог! — сказал Фотий, подняв взор кверху. — Отец наместник устроит тебя.

Шумский принял благословение и пошел в сопровождении келейника к наместнику.

Подойдя к келье наместника, келейник, провожавший Михаила Андреевича, постучал тихо в дверь и громко произнес:

— Господи Иисусе Христе, Боже наш!

— Аминь! — ответил кто-то звучным басом.

Вслед за ответом послышались шаги, щелкнул крючок и дверь отворилась.

На пороге стоял монах среднего роста, плотный, коренастый, с окладистой бородой,

широким лицом, ничего не выразившим, кроме самодовольства, с бойкими карими глазами.

Он был в подряснике.

Келейник, а вместе с ним и Шумский, приняли от него благословение.

— Отец-архимандрит благословил меня проводить к вашему преподобию Михаила Андреевича Шумского, — сказал келейник.

— Милости прошу в гостиную, — проговорил наместник, развязно взмахнув обеими руками в ту сторону, где была гостиная.

Михаил Андреевич пошел в гостиную, а наместник остался поговорить с келейником архимандрита.

Гостиная представляла из себя довольно обширную, светлую комнату, стены которой были вымазаны клеевой небесно-голубой краской, и на них красовались картины по большей части духовного содержания и портреты духовных лиц, в черных деревянных рамках, три окна были заставлены цветами, среди которых преобладали: плющ, герань и фуксия.

Мягкий диван, со стоящим перед ним

большим овальным столом, два кресла и стулья с мягкими сиденьями составляли главную меблировку комнаты. Над диваном висело зеркало в черной раме, а на диване было несколько шитых шерстью подушек. Большой шитый шерстью ковер покрывал большую часть пола. В одном из углов комнаты стояла горка с фарфоровой и хрустальной посудой, а в другом часы в высоком футляре.

В момент входа Михаила Андреевича в комнату они звонко пробили два часа.

Не успел Шумский осмотреть гостиную наместника, как тот уже явился перед ним.

— Прошу покорно, Михаил Андреевич, садиться, — сказал он, указывая ему место на диване. — Я честь имею... наместник здешнего монастыря Кифа, в мире Николай.

С этими словами он крепко пожал руку Шумского. Они уселись рядом на диване.

— Что же вы к нам Богу молиться или совсем хотите украсить свою особу черным клобуком? — спросил наместник.

— Думаю, если Бог поможет мне, остаться совсем у вас.

— Так, совсем приехали к нам; скажите,

сделайте милость, где ваши вещи? Я велю их принести сюда. Позвольте мне предложить к услугам вашим мою убогую келью, пока отец-архимандрит не сделает особого распоряжения.

— Не стесню ли я вас?

— Полноте, что за церемонии! Мы бесхитростные иноки; с нами все светские этикеты можно отложить в сторону. Во-первых, позвольте узнать, где оставлены ваши вещи, а во-вторых, позвольте предложить вам скромную монашескую трапезу. Вы, я думаю, ещё не обедали, не так как мы уже успели оттрапезовать, несмотря на то, что только первый час в исходе.

— Искренно благодарю вас за внимательность. Если вы так добры, что принимаете на себя труд устроить меня, то делать нечего — я отдаюсь в полное ваше распоряжение! Мои вещи в повозке у монастырских ворот.

— Извините, если я оставляю вас на минуту, — сказал наместник и вышел в другую комнату.

Он вскоре вернулся.

Немного погодя, принесли вещи Шумско-



го.

Затем явился послушник, накрыл на столе тут же в гостиной и подал обед.

Шумский пообедал с отцом-наместником.

«Не дурно, — подумал он, — если каждый день будут так кормить, да ещё с такой порцией».

— Не хотите ли отдохнуть после обеда с дороги? — спросил его наместник. — Скажите без церемонии.

— Позвольте! — сказал он.

Сытный обед после дороги невольно клонил его ко сну. Ему на том же диване, где он сидел, положили подушки и он скоро заснул, вполне довольный своим положением.

## XVII

### Неисправимый

Долго ли спал Михаил Андреевич, он и сам не мог припомнить. Его разбудил густой звук колокола. Он открыл глаза. Перед ним стоял послушник.

— К вечерне не изволите ли?

Шумский пришел в церковь. Служба только что началась. Его поразили необыкновенный напев иноков Юрьева монастыря — они пели тихо, плавно, с особенными модуляциями. Торжественно и плавно неслись звуки по храму и медленно замирали под высокими его сводами. Это был не гром, не вой бури, а какой-то могущественный священный голос, вещающий слово Божие. До глубины души проникал этот голос и потрясал все нервы.

Первый раз в жизни Шумский — он внутренне сознался в этом самому себе — молился Богу как следует.

Новость и неизвестность его положения, огромный храм с иконостасом, украшенный щедро золотом и драгоценными камнями,

на которых играл свет восковых свечей и лампад, поражающее пение, стройный ряд монахов в черной одежде, торжественное спокойствие, с каким они молились Богу — словом, вся святость места ясно говорила за себя и невольно заставляла пасть во прах и молиться усердно. Несмотря на то, что вечерня продолжалась часа три, Михаил Андреевич не почувствовал ни утомления, ни усталости.

После вечерни все монахи, и в том числе и он, благословились от архимандрита. Наместник пошел за Фотием, монахи по своим кельям, а Шумский пошел осмотреть монастырь.

Обойдя кругом главный храм, он пошел было за монастырь посмотреть на Новгород, но ворота монастырские уже были заперты.

Он вернулся назад и, встретившись с отцом Кифой, пошел к нему. Самовар уже кипел на столе, когда они вошли в келью. Вечер прошел скоро, тем более, что легли спать часов в десять.

Ночью во сне Шумский услышал не ясно, как будто кто-то его будит.

Нехотя он проснулся, открыл глаза и увидел, что перед ним стоит тот же послушник, а монастырский колокол гудит, сзывая монахов на молитву.

— К утрени не угодно ли? — сказал послушник.

— Так рано?..

— Два часа утра.

Не хотелось ему встать, он бы ещё с удовольствием поспал, но нечего было делать — надо было привыкать к новой службе.

Обстановка храма, торжественный обряд служения, окружавшая его толпа искренно молившихся монахов снова произвели на Михаила Андреевича сильное впечатление.

Молитвенное настроение заразительно: он поддался ему — в его внутреннем мире совершился как бы духовный перелом, дух победил плоть — свежий и добрый, он отстоял обедню и моментами снова, как и накануне, горячо молился. Но, увы, это были только моменты.

После службы, когда он пришел к наместнику, тот сказал ему, подавая подрясник:

— Надевайте здесь, без церемонии; мне надобно посмотреть, впору ли вам будет новое

платье.

Шумский оделся, взглянул на себя в зеркало — и невольная слеза выкатилась из его глаз. Отец Кифа был настолько тактичен, что сделал вид, что не заметил злодейки-слезы, обличавшей малодушие неофита.

Затем наместник проводил его в назначенную келью, состоявшую из одной комнаты, очень бедно меблированной. Объяснив ему, что за чистотой и порядком кельи он должен наблюдать сам, так как ему прислужника дано не будет, и, пожелав мира и спасения, он вышел.

Шумский остался один, один в полном смысле этого слова. С ним не было не только родного и близкого друга, но даже знакомого человека.

Один, сам с собой!

Разумеется, такое положение заставило его обратить внимание на самого себя, заглянуть, так сказать, к себе в душу. Давно не делал он этого, с тех пор, как слово «batard», «подкидыш», заставило его обратить на себя внимание.

Но тогда он ещё несколько выше и благо-

роднее представлялся самому себе.

Перед ним рисовались только пустота жизни да грехи юности... А теперь?..

Погибший, вследствие бессмысленной своей жизни...

Погубивший все, что было в нем доброго, постыдною склонностью к вину, он сделался отвратителен самому себе.

Припоминая свою жизнь, он вздрагивал с тем чувством отвращения к себе, которое ощущается людьми, когда глазам их представляется гнойная рана или ползущая гадина.

Желание исправиться явилось в нем. Оно было искренно, тем более, что в руках его теперь были все средства.

Прошло две недели.

Он прожил их как нельзя лучше — к службе, хотя ему и было тяжело, постепенно привыкал. Стал брать и читать книги духовного содержания, но читал только для того, чтобы убить время и спастись от скуки.

Скоро, впрочем, Михаил Андреевич забыл об искреннем желании исправиться и вкусил запрещенного плода.

Но первый раз он поступил тихо и скромно, сказался больным и все сошло благополучно.

Ему показалось, что он очень ловко обманул бдительность старших.

Во второй раз он был уже менее скромен, но и на этот раз все оказалось шито и крыто.

«Э, — подумал он, — дело пошло лихо, бояться нечего!»

Шумский развернулся во всю, вспомнил походную жизнь и потешал монахов военными шуточками и рассказами о своих петербургских похождениях.

При описании петербургских балетов он начал даже откалывать примерные антраша и, наконец, ободренный смехом молодых послушников, пустился в присядку.

Старшая братия немедленно прекратила «соблазн», о котором и было сообщено по начальству.

На первый раз его арестовали в собственной келье, а поутру потребовали к архимандриту.

Робко вошел он в его апартаменты и с трепетным сердцем предстал пред лицо Фотия.

Долго читал он Шумскому наставления, говорил много дельного и с чувством. Это сознавал сам виновный и слезы градом полились из его глаз.

Они послужили на этот раз спасением.

Архимандрит Фотий принял их за плоды чистосердечного раскаяния и отпустил Михаила Андреевича.

Самолюбие последнего было оскорблено — Фотий делал ему наставления в присутствии старшего монастырской братии и далеко с ним не церемонился.

«Как, — думал Шумский, идя от архимандрита, — меня смеют трактовать как какого-нибудь прищельца? Разве не знают они, кто был Шумский в оное и весьма недалекое время. Можно ли так бесцеремонно обращаться с бывшим офицером, флигель-адъютантом... Конечно, теперь я не состою им, но все же бывал, да и теперь все же я отставной поручик, а не кто-нибудь...»

Чтобы заглушить оскорбление, он прибегнул снова к спасительной бутылочке, но пьяному обращение архимандрита с ним показалось ещё более унижительным.



Шумский поднял гвалт на весь монастырь. Его хотели без церемонии отправить в карцер и прислали за ним двух отставных солдат, но едва они приблизились к нему, как он крикнул:

— Как вы смеете оскорблять поручика?

И, вероятно, чтобы доказать свои права, дал ближайшему к нему солдату пощечину.

Военная дисциплина, впрочем, не помогла. Шуйского скрутили и посадили в карцер на три дня, на хлеб и на воду.

С тех пор жизнь его в монастыре стала невыносима. Он маялся и жил более в карцере, чем в своей келье. Его ничто не могло исправить — ни наставления, ни строгие меры.

Для монастыря он был человек лишний и даже вредный, но его держали единственно из уважения к графу Алексею Андреевичу Аракчееву.

Архимандрит Фотий подробным письмом сообщил последнему о вторичном описанном нами буйстве Шуйского. Это письмо граф получил накануне того дня, когда сетями грузинских рыболовов была вытащена так поразившая грузинского управляющего Семидало-

ва и самого графа Алексея Андреевича утопленница.

## XVIII

### Московский Дон Жуан

Вернемся ко второму тяжелому горю, обрушившемуся на Ольгу Николаевну Хвостову.

В то самое время, когда она, без ведома сына, устроила ему, как ей казалось, блестящую будущность, переводя его в военные поселения, под непосредственное начальство всеильного Аракчеева, в московском обществе появился новый кавалер, человек лет тридцати пяти, тотчас же записанный московскими кумушками в «женихи».

Это был отставной полковник Евгений Николаевич Зыбин, поселившийся в собственном вновь отстроенном доме на Арбате, доставшемся ему после смерти тетки, вместе с маленьким имением в Новгородской губернии, как повествовали те же всезнающие кумушки.

Занятая делом определения сына и други-

ми домашними и хозяйственными заботами, Ольга Николаевна поручила вывозить в московский «свет» свою дочь, Марию Валерьяновну — восемнадцатилетнюю красавицу-блондинку, с нежными цветом и чертами лица и с добрыми, доверчивыми голубыми глазами — жившей в доме Хвостовой своей троюродной сестре, Агнии Павловне Хрущевой.

У последней был сын, юноша лет двадцати трех, служивший офицером в одном из расположенных в Белокаменной полков. Муж Хрущевой, полковник, был убит во время Отечественной войны, оставив своей жене и сыну лишь незапятнанное имя честного воина и незначительную пенсию.

Добрая Ольга Николаевна приютила свою дальнюю родственницу с сыном, и Вася, превратившийся с годами в Василия Васильевича, вырос вместе с Петей и Машей, детьми Хвостовой, с которыми его соединяли узы искренней дружбы детства, а относительно Марьи Валериановны это чувство вскоре со стороны молодого человека превратилось в чувство немого обожания и любви, увы, неразде-

ленной.

Сердце Мани, как звали её мать и брат и даже Василий Васильевич, представляло нежный бутон, ещё не начавший распускаться под солнцем любви.

На московские балы Василий Васильевич всегда сопровождал свою «кузину», ездившую на них или с его или со своею матерью.

На одном из таких балов и состоялась встреча Марьи Валерьяновны с Евгением Николаевичем. Красивая внешность, соединенная с дымкой романической таинственности, окутывавшей прошлое Зыбина и послужившей поводом для московских сплетниц к всевозможным рассказам о любви к нему какой-то высокопоставленной дамы из высшего петербургского круга, её измене, трагической смерти, и призраке этой дамы, преследовавшем Зыбина по ночам, так что он изменил совершенно режим своей жизни и день превращал в ночь и наоборот — сделали то, что молоденькая, впечатлительная, романически настроенная девушка влюбилась в красивого брюнета, в глазах которого, на самом деле, было нечто демоническое.

Знакомство с дочерью произошло без Ольги Николаевны, а когда на одном из следующих балов, на котором она присутствовала, ей представили Зыбина, она, несмотря на обычай московского гостеприимства, не пригласила его к себе в дом.

Что-то отталкивало Хвостову от этого красивого брюнета с иссиня-черными волосами.

Другой человек тоже носил в своем сердце какую-то беспричинную ненависть к Зыбину — этот человек был Василий Васильевич Хрущев.

Марья Валерьяновна, конечно, не высказала своей матери своего мнения о Зыбине и своего желания, чтобы он бывал в их доме, но после того, как он не был принят, сделав визит, вдруг сделалась скучна и задумчива.

Прошло несколько месяцев. На дворе стоял конец июля. На даче одного из московских садовых тузов был назначен бал, куда была приглашена Хвостова с дочерью, а в качестве кавалера их должен был сопровождать Василий Васильевич.

Мы застаем Ольгу Николаевну в гостиной её дома на Сивцевом Вражке, куда вошел Хру-

щев и обвел комнату выразительным взглядом.

Хрущев был высокий стройный шатен, сумным, но некрасивым лицом, единственным украшением которого были большие, голубые глаза, дышавшие неизмеримой добротой, но подчас принимавшие выражение, доказывавшее непоколебимую силу воли их обладателя.

— Мани здесь нет... хотя ещё рано, пятый час, но я думаю, что она отправилась к себе одеваться... — сказала Ольга Николаевна.

— Вероятно, так как её вязанье лежит здесь, на столе.

— Она спешит... и это меня радует, а то меня очень беспокоит её грусть за последнее время, и я не могу хорошенько объяснить её себе... Я говорю это тебе, Вася, так как ты у нас свой... С величайшим удовольствием я пользуюсь сегодняшним праздником, чтобы рассеять Маню и дать ей возможность повеселиться... Для меня эти балы — одна усталость, но веселье Мани сторицею искупает её...

— Я тоже, тетя, заметил печаль и озабоченность кузины... — с грустью отвечал молодой

офицер, — и тоже надеюсь, что нынешний вечер, к которому она готовится с такой поспешностью, рассеет её грусть...

— Пойду и я понемногу одеваться, — сказала старуха. — Карету подадут к семи... не опоздай за туалетом...

— Офицеру долго ли одеться, тетя!

Громадная четырехместная карета, запряженная шестеркой цугом, уже с половины седьмого стояла у крыльца... Без четверти семь Марья Валерьяновна вышла из своей комнаты.

Хвостова и Хрущев ожидали её.

Она явилась в самом изящном наряде, который она, видимо, долго придумывала. На ней было белое тюлевое платье на голубом атласе, а на голове маленькая корона из голубых цветов с серебряными листьями.

Девушка была до того прелестна, что Ольга Николаевна не могла не похвалить её со свойственною матери гордостью.

Они вышли на крыльцо, в сопровождении многочисленной прислуги обоего пола, и уселись в карету.

— Пошел! — крикнул один из выездных

лакеев, ловко вскочив на запятки, где уже стоял его товарищ, такой же рослый гайдук.

Роскошные подмосковные палаты туза-миллионера блестели массою зажженных в люстрах, канделябрах и бра восковых свечей.

Хвостовы и Хрущев прибыли в самый разгар бала, начинавшегося в те времена с восьмью часами вечера.

Гостей было множество, — вся Москва, Москва сановная и родовитая почтила этот бал своим присутствием.

Он, по обыкновению, открылся польским. В первой паре с хозяйкою дома шел старик, одетый в белые короткие панталоны, в шелковых чулках, в башмаках, с туго накрахмаленными брыжжами и жабо, в синем фраке покроя французского кафтана. Голова его была напудрена, по сторонам были две букли, а сзади коса, или пучок, вложенный в кошельке с бантом из черной ленты. Борода была выбрита необыкновенно гладко, а в левой руке он держал золотую эмалированную табакерку. Он нюхал, видимо, часто, отчего верхняя, немного оттянутая губа его и манишка были



засыпаны французским табаком.

Это был обломок вельможного века Великой Екатерины — князь Юсупов.

Марья Валерьяновна вскоре была увлечена в вихрь танцев.

Полонезы, экосесы, мазурки, французские кадрили, русские кадрили, манимаски, ригодины или контреданцы, вальсы, англезы — сменялись одни другими.

Гремели шпоры улан и гусар в мазурках, отчетливо выделяющих па-де-зефир и антраша, разносили чай, часто подавали оршад, лимонад и фрукты.

Все прыгало, вертелось, мешалось...

Почтенные московские дамы — маменьки — чинно сидели по стенам, следя завистливыми глазами за большим или меньшим успехом своих дочерей.

Успех молодой Хвостовой был полон.

Она искренно наслаждалась им; прежде она им пренебрегала, а теперь, вследствие какой-то странной прихоти, гордилась. В первый ещё раз она со всею грацией молодости предавалась светским удовольствиям, которые ненавидела в течение всей своей жизни.

Это было для неё как бы до сих пор совершенно новое, ещё неизведанное ощущение.

До этих пор она встречала в обществе только скуку и не испытывала ни удовольствия, ни интереса. Может быть, только недавно почувствовала она эту притягательную силу и, наверное, такая перемена вполне оправдывала заботливое внимание Ольги Николаевны, которая, спокойная, доверчивая и счастливая тем, что её дочь от души веселилась, не искала причины, почему вдруг проявилась в ней такая охота к танцам.

Не так доверчиво к этой метаморфозе отнесся Василий Васильевич.

С тревожным биением сердца зорким, ревнивым взглядом он следил за своею изменившеюся подругой детства, которая составляла для него все в этой жизни, даже более, чем сама эта жизнь.

В течение этого бала он окончательно убедился, кто был причиной такой разительной перемены в Марье Валерьяновне.

Среди толпы окружавшей её молодежи особою благосклонностью молодой Хвостовой, видимо, пользовался Евгений Николае-

вич Зыбин.

Это не укрылось не только от Хрущева, но и от Ольги Николаевны, которая даже с неудовольствием сказала подошедшему к ней Василию Васильевичу:

— Опять этот ворон около неё кружится!..

Хрущев только пожал плечами и отошел, и, со своей стороны, танцуя и ухаживая за дамами, он старался ни на минуту не упускать из вида интересующую его парочку и заметил, как Зыбин за кадрилию передал Марье Валерьяновне записку.

Да это трудно было и не заметить наблюдавшему за ней — она вся вспыхнула и так растерялась, что не знала куда с ней деваться, и лишь через несколько минут спрятала её за корсаж.

Вся кровь бросилась в голову молодого офицера. Он чуть было не бросился к этому «ворону», как называла старуха Хвостова Зыбина, видимо, готовящегося отнять у него его голубку, но удержался. Скандал на балу сделал бы Марью Валериановну сказкой всей Москвы.

«Надо следить, следить за ними!» — решил

в уме Хрущев.

После бала был сервирован роскошный ужин, а по его окончании снова начались танцы, но Ольга Николаевна подозвала дочь и сказала ей, что пора отправляться домой.

Марья Валерьяновна не возражала.

Василий Васильевич побежал распорядиться подавать карету, и вскоре он и Хвостовы снова двинулись в Москву, куда приехали на рассвете. Утомленную впечатлениями пережитого бала молодую девушку пришлось разбудить у подъезда московского дома.

## XIX

### Дуэль

Василий Васильевич стал следить, следить упорно, следить так, как может следить только бесправный ревнивец, и подозрения его скоро, неожиданно скоро, подтвердились страшным, роковым образом.

Недели две спустя после описанного нами бала, во время утренней прогулки в обширном саду, окружавшем дом Хвостовых, Хрущев направился к калитке, выходящей в

один из бесчисленных переулков, пересекающих Сивцев Вражек; вдруг глаза его остановились на предмете, лежавшем на траве, которая сохраняла ещё капли утренней росы.

Он наклонился и поднял мужскую лайковую перчатку коричневого цвета.

В доме Хвостовых не было лиц, носящих подобные перчатки, и эта перчатка была, несомненно, перчаткой Зыбина. В сердце и уме Василия Васильевича явилась в этом какая-то безотчетная непоколебимая уверенность.

Значит, они здесь, в саду назначают свидания!

Надо наказать дерзкого хищника, вползающего змеей в дом его благодетелей...

Хрущев пошел домой, погруженный в свои мысли. Во время завтрака его глаза обращались часто на Марию Валерьяновну, за которую он внимательно наблюдал, но черты молодой девушки не выказывали ни малейшего внутреннего смущения, и её непринужденные манеры отрицали всякую возможность подозрения.

Но Василия Васильевича это не подкупило

и не остановило на пути наблюдений. В этот же день он, войдя случайно в гостиную, увидел в руке молодой Хвостовой клочок бумаги, который она быстро спрятала.

«Это назначение свидания! — мелькнуло в его голове. — Некогда?.. Наверное, ночью, так как днем невозможно!.. Будем дежурить по ночам».

Вечер прошел спокойно, и каждый удалился в свою комнату. Все затихло в доме, и с час не было слышно никакого шума, когда Хрущев тихонько вышел из своей комнаты и направился к дверям передней.

Оставив свечу и осторожно отворив дверь, он пошел в сад к группе деревьев, едва освещенных луною.

Он шел торопливо, неровными шагами, то тихо, то скоро, и, казалось, повиновался какому-то лихорадочному влечению. По временам он останавливался, задерживал дыхание, чтобы лучше слышать, и затем, через несколько мгновений, снова подвигался по тенистым аллеям сада.

Василий Васильевич все понял и все отгадал инстинктом. Ему пришли на память ты-

сячи мимолетных обстоятельств, действовавших так или иначе на расположение духа и характер Марьи Валерьяновны. Все это ещё сильнее восстало в его уме теперь, когда он узнал, что между Зыбиным и молодой девушкой существуют какие-то отношения, и когда он основательно мог опасаться какой-нибудь дерзкой выходки со стороны первого или просто ловкой западни.

На повороте аллеи он очутился у маленькой калитки — она была отперта.

В эту минуту луна вышла из-за облака. Она осветила опушку деревьев, отделявших калитку от аллеи сада, и две шпаги сверкнули в руке Хрущева. Эти шпаги были его единственным наследством после отца, и за несколько минут до выхода Василия Васильевича в сад, висели над изголовьем его кровати.

Видя, что калитка отперта, Хрущев быстро скрылся в аллею и направился назад к лужайке, расстилавшейся перед домом; он остановился под густым деревом и стал выжидать.

Вскоре легкие шаги раздались вдалеке, в той части сада, где находилась калитка.

Судорожно прижав к своей груди шпаги,

Василий Васильевич направился в ту сторону, откуда послышался ему шелест шагов на песке, и вдруг очутился подле Зыбина.

— Кто вы такой? Как смели вы так поздно пробраться в чужой сад? — спросил он. — Куда вы идете?

Зыбин, не ожидавший подобной встречи, невольно отступил на несколько шагов.

— Куда вы идете? — повторил Хрущев.

Евгений Николаевич сперва хранил молчание; может быть, он искал предлога, который мог вывести его из этого неприятного положения; через минуту присутствие духа совершенно покинуло его, и он надменно произнес:

— А вы сами кто такой и по какому праву делаете вы мне подобные вопросы? Как смеете вы в такой час разгуливать здесь по саду вблизи дома?

— Всякий ответ с моей стороны был бы только уступкою. Вам довольно знать, что мой долг и мое сочувствие к семейству, живущему в этом доме, дают мне право делать вопросы, на которые, как кажется, вы не знаете, что отвечать.



— Нисколько; но, поверьте, лучше расстанемся без дальнейших объяснений, разойдемся в разные стороны и окончим без шума эту сцену, довольно смешную для нас обоих.

— Вы жестоко ошибаетесь! Ваше присутствие в этот час в этом саду, подле этой беседки, совсем не смешно, а, напротив, отвратительно. Если вы не хотите объясниться, то я должен считать вас подлецом.

— Я никогда не слышал подобных оскорблений, — вскрикнул с бешенством Зыбин, — и вы дорого поплатитесь за ваши слова!

— Вы видите, что я приготовился ко всему, — хладнокровно возразил Василий Васильевич, — вот пара отличных шпаг, два клинка одинакового достоинства; выбирайте скорее. Вы хорошо понимаете, что бывают поступки, которые можно искупить только кровью.

Зыбин быстро схватил одну из шпаг, предложенных Хрущевым.

Поединок начался. Сперва медленно и нерешительно, как бы в фехтовальной зале. Оба молодых человека обладали почти одинаковой силой, но на стороне Зыбина была

крепость руки и невозмутимое хладнокровие. Очевидно, сперва он не хотел убить или даже тяжело ранить своего противника, который мог оказаться родственником Хвостовой, но мало-помалу в нем зашевелилась и подавила все соображения ревность.

Со своей стороны Хрущев, которому надоела эта невинная борьба, позабыл все правила и бросился на Зыбина вне себя от гнева, придававшего его оружию какое-то конвульсивное движение. Клинки обеих шпаг скрестились с зловещим звуком.

Зыбин был наготове и ждал своего противника; он быстро отразил удар, и Василий Васильевич, не приготовившийся к отступлению, получил в грудь тяжелую рану. Он упал, как пораженный молнией.

Дверь беседки отворилась и Марья Валериановна появилась на пороге, вся бледная и дрожащая.

Уже несколько минут молодая девушка ожидала сигнала свидания, на которое она согласилась по неотступной просьбе Евгения Николаевича и которое устроила её горничная, задобренная Зыбиным, служившая для

них почтальоном любви.

Евгений Николаевич, отбросив шпагу, кинулся ей навстречу. Она заметила пятна крови на его платье и, побледнев ещё более, не говоря ни слова, стояла перед ним, как роковое видение; тщетно Зыбин, совершенно растерянный, хотел рассказать ей, как произошло все дело, и провести её в беседку, чтобы она не видала страданий Хрущева; молодая девушка, чувствуя, что колени её сгибаются, стояла на пороге с бесстрастным, помутившимся от отчаяния взглядом.

Устроившая свидание горничная первая в паническом страхе убежала из сада и разбудила всех в доме. Послышался шум и говор. Потеряв всякое самообладание при виде смертельно раненного друга детства, думая о горе своей матери, когда она узнает о её бесчестии и ужасной катастрофе, которой она была причиною, Марья Валерьяновна воскликнула:

— Евгений, я не могу здесь оставаться ни минуты более, уведи меня! Бежим, бежим!..

Она зашаталась и упала без чувств на руки Зыбина.

Несколько часов спустя дорожная коляска, запряженная четверкой отличных лошадей, принадлежавших Евгению Николаевичу Зыбину, мчалась, как вихрь по московскому шоссе.

Сбежавшиеся в сад слуги нашли Василия Васильевича совершенно без чувств, залитого кровью. Бережно перенесен был он в его комнату.

— Вася, Васенька! Умер, убили... — с плачем и рыданиями бросилась к почти бездыханному сыну Агния Павловна.

От волнения она тоже лишилась чувств и была вынесена из комнаты по распоряжению Ольги Николаевны.

Последняя, несмотря на обрушившееся на неё страшное горе, не потеряла присутствия духа, и первую её мыслью была мысль не о дочери, а о лежавшем перед ней тяжело раненном молодом человеке, пошедшем на смерть, защищая честь этой дочери, честь семьи.

Горничная молодой девушки, объятая ужасом от всего происшедшего, повинилась во всем перед старой барыней и рассказала все в

подробности.

Молча, с сухими, горящими глазами, выслушала её Ольга Николаевна.

— Пошла вон, мерзкая... собирайся ехать в деревню, ты мне не нужна.

Горничная, всхлипывая и причитая, отправилась в девичью, а Хвостова в комнату Василия Васильевича, отдав, впрочем, сперва распоряжение съездить за доктором.

Старичок Карл Карлович Гофман, годовой врач дома Хвостовых, не заставил себя ждать.

Встретившая его в комнате раненного Ольга Николаевна объяснила ему происшествие собственной неосторожностью молодого человека.

Карл Карлович начал осматривать и зондировать рану.

— Wunderlich!.. Мой не понимайт! Это другой делайт!.. — глубокомысленно сказал он, сделав с помощью прибывшего фельдшера перевязку.

Крупная ассигнация перешла из руки Хвостовой в руку эскулапа.

— Да, да... бивайт... бивайт!.. — заторопился он подтвердить возможность ранения от

неосторожного обращения со шпагой.

## XX

### Вынужденное согласие

То, чего особенно опасалась Ольга Николаевна Хвостова, свершилось. Чуть ли не ранним утром другого дня вся Москва уже знала о разыгравшейся в саду Хвостовой кровавой драме и о бегстве Марьи Валерьяновны с Евгением Николаевичем Зыбиным.

Эта сенсационная новость, от которой московские кумушки пришли в неописанный восторг и передавали её друг другу, захлебываясь от волнения, все же считалось великим секретом для лиц власть имущих и в качестве такового не служила для них основанием официально вмешаться в это «семейное дело».

Василий Васильевич после сделанной ему перевязки к утру пришел в себя, и Карл Карлович, явившись снова после двенадцати часов, подал надежду на благополучный исход поранения.

— Starke Natur!.. Здоров природ... — заме-

тил Гофман.

К вечеру, впрочем, лихорадочное состояние усилилось и начался бред.

Ольга Николаевна и Агния Павловна, успокоенные Карлом Карловичем, сменяя одна другую, сидели у постели больного. Обе несчастные матери чутко прислушивались к горячечному бреду раненого, и этот бред болезненным эхом отдавался в душе каждой из них.

Обе они поняли ту беззаветную, горячую любовь, которую питал бедный юноша к своей бежавшей с другим кузине, и сила этой любви усугублялась в их глазах силой непроницаемой тайны, в которую облек свое чувство юноша не только для окружающих, но и для самого предмета этой безграничной, почти неземной привязанности, той высшей любви, из-за которой душу свою полагают за друга.

К утру второго дня больному снова стало легче, и к вечеру даже лихорадочное состояние выразилось в менее резкой форме. Карл Карлович оказался правым: молодость брала свое.

Прошло два дня с вечера роковой катастрофы.

Было два часа дня.

Ольга Николаевна только что сменила у постели Василия Васильевича Агнию Павловну и задумчиво сидела в кресле, вперив свои сухие, воспаленные глаза в лицо находившегося в легком забытии Хрущева.

О чем думала несчастная, осиротевшая мать? Теперь, когда лежавший перед ней человек, чуть не поплатившийся за её дочь жизнью, был на пути к выздоровлению, мысли старухи Хвостовой, естественно, обратились к «погибшей» дочери.

«Погибшей, совершенно погибшей... — проносилось в её голове. — Как и чем поправить совершившееся?.. Как вернуть беглянку?.. Официальным путем, ещё более раздуть скандал, и так, как снежный ком, растущий по Москве... Невозможно».

Таковы, в общих чертах, были её думы.

В комнату больного на цыпочках вошел лакей.

— Ваше превосходительство... ваше превосходительство... — почтительным шепотом



вывел он из задумчивости Ольгу Николаевну.

— Что надо? — подняла она голову.

— Там приехали.

— Кто?

— Господин Зыбин.

Хвостова вскочила с кресла... и зашаталась. Ухватившись за спинку кресла, чтобы не упасть, она несколько мгновений смотрела на доложившего ей эту роковую фамилию лакея помутившимися, почти безумными глазами.

— Зыбин... Зыбин... — машинально повторяла она.

— Так точно... ваше превосходительство.

Смущение Ольги Николаевны от неожиданности доклада продолжалось, впрочем, повторяем, несколько минут.

— Где он? — спросила она, оправившись от охватившего её волнения уже почти ровным голосом.

— В угольной, ваше превосходительство...

— Хорошо... я иду.

Лакей беззвучно удалился.

Хвостова несколько раз прошлась взад и вперед по устланной ковром комнате Хруще-

ва, медленно вышла и пошла по направлению к угольной, где ожидал её похититель её дочери и почти убийца её племянника.

Евгений Николаевич переживал тоже нелегкие минуты. Те десять-пятнадцать минут, которые ему пришлось ожидать хозяйку дома, показались ему целую вечность.

Надо заметить, что решаясь на этот визит к Хвостовой, на это роковое свидание с глазу на глаз с оскорбленной им матерью, Зыбин был вынужден обстоятельствами.

Широкая жизнь, как в Вильне, так и в Москве, бессонные ночи, проводимые за картами и кутежами, окончательно расстроили его финансы, так как добытые им кровавым преступлением капиталы человека, имя которого он воровским образом присвоил себе, были далеко не велики и к моменту нашего рассказа давно прожиты. Недвижимая же собственность в виде московского дома и маленькое имение в Новгородской губернии были обременены закладными. Кредиторы за последнее время злобно осаждали Евгения Николаевича, и последний с часу на час, подерживаемый лишь кредитом добродушной

Москвы, ожидал кризиса, после которого он мог очутиться буквально нищим.

Марья Валерьяновна была лакомым куском для «прогоревшего негодяя», но только в смысле обладательницы богатого приданого, а между тем, это приданое зависело, согласно воли покойного Хвостова, от согласия матери на её брак.

За этим согласием он и явился к Ольге Николаевне. Без этого приданого похищенная им безумно любящая его девушка не представляла для него — ничего. Чувство любви слишком высоко для низких людей.

Понятно, таким образом, то чувство нетерпеливого ожидания, которое переживал Зыбин, ожидая Хвостову.

Наконец, портьера медленно поднялась, и в комнату вошла, видимо, невольно задерживая шаги, Ольга Николаевна.

С минуту произошла между встретившимися тяжелая пауза.

Сухой, горящий взгляд старухи Хвостовой встретился с нахальным, но, видимо, деланным взглядом Зыбина.

— Прошу садиться... — медленно, сталь-

ным голосом произнесла, наконец, Ольга Николаевна и тем нарушила гнетущее молчание.

Евгений Николаевич с деланной развязностью подошел к креслу и опустился в него.

Хвостова села в противоположное.

Как бы боясь, чтобы снова не наступило роковое молчание, Зыбин быстро заговорил:

— Вы, вероятно, не ожидали моего визита, ваше превосходительство... хотя если бы вы знали меня ближе, то, конечно, поняли бы, что я, как порядочный человек, не мог бы поступить иначе, как поступаю теперь...

Он на секунду прервал эту, видимо, заученную речь и пытливym взглядом окинул сидевшую против него Ольгу Николаевну. Лицо последней было как бы отлито из бронзы. Евгений Николаевич потерялся и ещё более заспешил.

— Я приехал за бумагами вашей дочери...

— За бумагами... моей... дочери... — отчеканила каждое слово, как-то почти не раскрывая рта, Хвостова. — У меня... нет... дочери...

— То есть это как!.. — окончательно стал в

тупик Зыбин.

— У меня... нет... дочери... — снова повторила Ольга Николаевна. — Девушка, решившаяся опозорить мои седины, решившаяся бежать из родительского дома с убийцей её двоюродного брата... чтобы сделаться любовницей этого убийцы... не дочь мне.

При слове «убийца», Евгений Николаевич побледнел и затрясся, но это было делом одной секунды. Яркая краска сменила бледность его лица, глаза загорелись злобным огнем, как бы в предвкушении близкого торжества над этой холодной женщиной.

— Остановитесь... Ольга Николаевна... Моя невеста... невеста отставного полковника гвардии Зыбина, не может быть ничьей любовницей... ни даже моей... если вы не принудите меня к этому.

— Невеста? — углом рта с горечью улыбнулась старуха, презрительно оглядев с ног до головы своего будущего зятя.

— Да, невеста... Я прошу вас тотчас же вручить мне бумаги Марьи Валерьяновны, и через несколько дней мы будем обвенчаны с ней в моей деревенской церкви...

— А если я не исполню вашего требования, что тогда? — вызывающе спросила его Ольга Николаевна.

— Тогда... тогда... нам придется уехать за границу... без благословения церкви... благословения, препятствием к которому была некто иная, как... родная мать... Я решусь сделаться любовником вашей дочери только вследствие вашей же настойчивости... Нам нужно же, кроме того, и ваше согласие... ваша дочь...

Зыбин не успел договорить, как Ольга Николаевна быстро встала с кресла и так же быстро исчезла за портьерой. Евгений Николаевич сделал даже шаг вперед, как бы намереваясь остановить её, но было уже поздно: он очутился у опустившейся портьеры, не понимая смысла всего совершившегося пред ним.

Что значил этот уход? Что ему делать? Ждать или отправляться восвояси?

Зыбин в нерешительности прошел раза два по комнате.

«Однако, это прескверная история... Обвенчаться мне с ней необходимо... Впрочем,

обойдется, быть может, и без бумаг», — решил он и двинулся через залу в переднюю.

В последней комнате перед ним предстал лакей, держа в руках серебряный поднос, на котором лежал объемистый пакет...

— Их превосходительство приказали передать это вам и сказать, что их превосходительство согласны...

Улыбка торжества мелькнула на губах Евгения Николаевича. «Сдалась!» — мелькнуло в его голове.

— А-а-а... — небрежно протянул он и, взяв пакет, сунул его в карман пальто, поданного лакеем.

Усевшись в ожидавшую его у подъезда извозчичью карету, он первым делом распечатал пакет. Он не ошибся — в нем были все бумаги Марьи Валерьяновны и документы на её собственные капиталы.

— Молодец Сережка Талицкий! — радостно вскрикнул он, но тотчас, при звуке этой фамилии, пугливо начал озираться.

Ольга Николаевна Хвостова тем временем стояла на коленях в своей молельной перед переполненным образами киотом и просила

у Бога силы перенести ниспосланные ей испытания.

## XXI

### На берегах Невы

В доме Хвостовых запрещено было произносить имя Марьи Валерьяновны, хотя среди прислуги шепотком передавались московские сплетни.

На этот раз эти сплетни были отголоском истинных происшествий. Говорили, что в сельской церкви имения Евгения Николаевича Зыбина в Новгородской губернии — имения, доставшегося ему от его тетки, — состоялась скромная свадьба его и Марьи Валерьяновны Хвостовой и что молодые тотчас же после венца уехали за границу.

Здоровье Василия Васильевича Хрущева быстро поправлялось благодаря тщательному и неусыпному уходу за ним его родной матери и Ольги Николаевны, перенесшей на своего родственника всю таившуюся в её сердце материнскую любовь, объекты которой исчезли для неё в силу рокового стечения обстоя-



ятельств.

Но, поправляясь физически, молодой человек, видимо, находился в сильном нравственном угнетении.

Чуткое сердце старухи Хвостовой угадало причины этого состояния духа выздоравливающего и занялось изысканием средств оказать ему радикальную помощь. Она поняла, что все здесь, в Москве и московском доме должно было напоминать молодому человеку ту, за которую он неустрашимо посмотрел в глаза преждевременной смерти. Его надо было по совершенном выздоровлении удалить из этого дома, из Москвы.

Об этом и принялась хлопотать Ольга Николаевна, и хлопоты её увенчались успехом — поручик Василий Васильевич Хрущев был переведен корнетом в гвардию и волей-неволей должен был отправиться в северную Пальмиру.

Приказ о переводе был получен им месяца через два после роковой катастрофы в саду и поразил его своею неожиданностью.

— Как? Ему служить в гвардии... Но где же средства?

За разъяснением этого вопроса он обратился к своей матери. Агния Павловна смутилась, но быстро заговорила:

— Я... за этой... твоей болезнью... совсем растерялась... и позабыла сказать тебе... что за то время, как ты хворал, наши дела значительно поправились... Мы выиграли процесс... помнишь, о котором хлопотал отец... и теперь ты можешь располагать пятью тысячами годового дохода... Мне самой на старости лет не надо; так как Ольга и слышать не хочет, чтобы я покинула её...

Старик Хрущев, действительно, вел при своей жизни крупный процесс, но он давно был проигран во всех инстанциях, пять же тысяч годового дохода, о которых говорила Хрущева, были с положенного Ольгою Николаевною Хвостовой капитала на имя Василия Васильевича в благодарность за заступничество за её дочь.

Агния Павловна, спавшая и видевшая своего сына блестящим гвардейцем, была на седьмом небе от этого подарка, но боялась сказать о нем сыну, опасаясь, что тот откажется от щедрой подачи за его чистую лю-

бовь.

Она в нем и не ошиблась.

— Уж ты, та сhere, сделай от него тайно, а то ведь он молод, глуп, своего счастья не понимает, ведь эта молодежь все верхоглядь, самолюбцы, мечтатели... Я скажу ему, что выигран процесс, оставшийся после отца...

Ольга Николаевна согласилась.

Такова была причина смущения Хрущевой. Сын поверил матери, не заметив этого смущения. Ему, впрочем, было не до того. Иные мысли теснились в его голове. С отъездом из Москвы, думалось ему, он отрешится от того душевного гнета, который давил его в московской обстановке, где каждая мелочь напоминала ему об утраченной им навсегда любимой девушке. Несчастный! Он не понимал, что ни перемена места, ни даже самоубийство — мысль о нем приходила ему в голову — не в силах освободить его от его внутреннего «я», что оно всюду следует за человеком, не оставляя его даже за пределами видимого мира.

Не обстановка создает человека, а наоборот, но до этого, к несчастью, для них самих,

большинство людей не додумывается.

Недели через две Василий Васильевич уехал к месту своего нового служения на берегу Невы. Служебные обязанности свели Хрущева с полковником Антоном Антоновичем фон Зеemanом, о котором, надеюсь, не забыл дорогой читатель.

Не забыл он, конечно, и того, что семья фон Зеemanов жила в доме, принадлежавшем прежде Хомутовым, на 6 линии Васильевского острова, и жила своею особою замкнутою жизнью, и в их гостиной собирался тесный интимный кружок близких знакомых и сослуживцев Антона Антоновича.

Последний и своих собратьев по оружию приглашал к себе «запросто» с разбором. Почетными гостями фон Зеemanов по-прежнему были Николай Павлович Зарудин, Андрей Павлович Кудрин и графиня Наталья Федоровна Аракчеева.

Молодой Хрущев почему-то сразу полюбился «нелюдиму-полковнику», как прозвали Антона Антоновича в полку, он обласкал его и пригласил бывать у себя.

Василий Васильевич, чувствовавший себя

В Петербурге совершенно чужим и не освободившись от своего внутреннего душевного гнета, с радостью ухватился за это приглашение, тем более, что из остальных своих товарищей по полку, с которыми он познакомился, он не нашел ни одного, особенно ему симпатичного.

Полковник фон Зеeman, напротив, произвел на него почти чарующее впечатление.

Он посетил домик на Васильевском острове. Его охватила атмосфера истинного русского радушия, и он стал частым гостем Антона Антоновича и Лидии Павловны.

Кроме того, в доме Зеemanов перед москвичом Хрущевым открылся другой мир: мир отвлеченных идей, социальных и государственных проектов, долженствовавших, якобы, благодетельствовать Россию, поставить её на равную ступень с государствами Западной Европы в государственном отношении. Чад этих громких фраз отуманил молодого корнета, как отуманил многих, мнивших себя благодетелями своей родины и превратившихся вскоре в гнусных преступников...

Но не будем опережать событий.

Настроение тогдашней русской интеллигенции было простым отголоском настроения Запада, где стали распространяться революционные начала и открыто грозить существованию правительств, находившихся под покровительством Священного Союза Государей, организованного императором Александром.

Прошло два года.

Скрытый заговор змеей расплзлся по России. Польша волновалась с целью освободиться от русского владычества, что весьма огорчало императора Александра, справедливо обвинявшего её в неблагодарности, припоминая все, что он сделал для удовлетворения польских интересов.

Государь далеко не разделял доверия великого князя Константина Павловича, и не подозревавшего, что императорское правительство могло встретить серьезные препятствия в провинциях старой Польши. Император же, напротив, знал, что опасность существовала и что она скоро должна обнаружиться.

Понятно, почему он, хотя и больной, хотел лично открыть польский сейм и пробыть бо-

лее двух месяцев в Варшаве.

Цесаревич приехал на праздник Пасхи в Петербург. Весь двор заметил, что никогда оба брата не были так тесно связаны между собою: они почти не расставались и часто вели долгие беседы у императрицы-матери.

Отъезд Константина Павловича предшествовал отъезду императора, который уехал 4 апреля 1825 года, оставив в столице своих двух братьев великих князей Николая и Михаила Павловичей с двумя императрицами.

Василий Васильевич Хрущев, отдавшись душой и телом кружку свободомыслящих, собиравшихся у фон Зеемана, с пылкой чуткостью, так свойственной молодости, прислушивался к этим толкам и делаемым из них выводам, сделался более рьяным поборником проводившихся в кружке идей, чем фон Зеeman, Зарудин и Кудрин, около которых группировался кружок.

— Il est plus royaliste, que le roi meme! — шутя говорил о нем последний, но на губах Андрея Павловича скользила при этом печальная улыбка.

## XXII

### В Варшаве

**И**мператор Александр Павлович прибыл в Варшаву 15 апреля. Движение и развлечение путешествия, казалось, имели благотворное влияние на его здоровье. Он, казалось, помолодел и выказывал более деятельности.

Его бюро было уже завалено, как обыкновенно, письмами и просьбами, которых он ещё не читал.

— Вот, — говорил он, показывая на эту грудку бумаг сопровождавшему его в Варшаву графу Алексею Андреевичу Аракчееву, — подневольная работа императора.

Взоры его машинально остановились на запечатанном пакете, форма и адрес которого обратили на себя его внимание: это было простое письмо с надписью на английском языке: «Императору одному». Слова эти были написаны беглым почерком, казалось, принадлежавшим руке женщины.

Император сломил печать и молча прочел



письмо, на котором был почтовый штемпель и потому оно естественно попало на стол, куда каждый день клали адресуемые императору послания со всех концов мира.

Государь побледнел — так сильны были удивление и печаль, причиненные ему этим письмом, подпись под которым гласила:

*«Шервуд, унтер-офицер 3-го полка Новомиргородских копейщиков».*

Писавший считал своим долгом, как он говорил в письме, предупредить своего государя, что составлялся заговор с целью ниспровержения порядка, установленного в государстве. Он знал из верного источника, что в первой и второй армиях многие лица принадлежали к тайному обществу, которого члены умножались с каждым днем. Поэтому он просил позволения отправиться в Курск, чтобы переговорить с лицом, которое было в сношениях с этим тайным обществом. Он надеялся собрать таким образом более подробные сведения о предмете и агентах заговора.

Александр Павлович пожелал иметь более подробные сведения относительно автора

этого письма, и граф Аракчеев, наведя справки, доложил ему, что унтер-офицер Шервуд по происхождению англичанин.

Государь вызвал его к себе и сам расспросил его, но узнал от него относительно заговора только то, что молодой человек скорее угадал, чем открыл, живя несколько недель у богатого помещика в Киевской губернии, по соседству главного штаба 2-й армии. Там Шервуд застал сборище заговорщиков, узнал имена многих и добился доверия одного из них, именно, Вадковского.

Открытиями, сделанными Шервудом, император был глубоко огорчен. Он сознавал усилия, употребленные им во время своего царствования на улучшение нравственного, политического и материального положения своих народов, и потому его глубоко огорчали несправедливость и неблагодарность, которые одни только и могли вооружать против него руку заговорщиков.

Польский сейм окончил свое третье заседание, которое было ведено спокойно и благо-разумно. 2 июня закрытие сейма было совершено в присутствии императора, который на

другой день уезжал в Петербург.

Александр Павлович, сидя на троне, произнес на французском языке речь, полную ободрений и обещаний, которую сенаторы, нунции и депутаты слушали в глубоком молчании. Голос августейшего оратора был глух и печален. Его благородное лицо, носившее отпечаток болезненной бледности, было покрыто облаком грусти. Речь окончилась следующими замечательными словами:

— Представители царства Польского, я покидаю вас с сожалением, но и с удовольствием, видя, что вы трудитесь для вашего блага, согласно вашим интересам и моим желани-ям. Разделяйте это чувство, распространяйте его между согражданами и верьте, что я сумею ценить доверие, которого характером запечатлено ваше настоящее собрание. Глубокое впечатление этого собрания сохранится в моей душе и всегда будет соединено с желанием доказать вам, как искренна моя любовь к вам и насколько ваше поведение будет иметь влияние на вашу будущность!

Александр Павлович возвратился в Россию с горестью в сердце. 13 июня 1825 года он при-

был в царскосельский дворец.

Императрица Елизавета Алексеевна вышла к нему навстречу. Она была бледна, глаза её лихорадочно блестели, она трудно дышала и сухо кашляла.

— Что с вами? — спросил её император с беспокойною заботливостью.

— Я очень счастлива, что снова вижу вас, государь, — отвечала она, вздыхая. — Я хотела первая сказать вам, что императорское семейство увеличилось...

— Великая княгиня Александра разрешилась от бремени? — живо прервал её Александр Павлович. — Не сыном?

— Дочерью, — отвечала императрица, — она счастливо явилась на свет в нынешнюю ночь.

— По мне лучше бы она родила великого князя... Но скажи, ради Бога, не больна ли ты, что у тебя такой больной вид.

— Государь, — тихо сказала она, — я страдаю только от вашего отсутствия...

Она его успокаивала... На самом деле, она была серьезно больна. Грудная болезнь, которую вначале считали незначительною, с каж-

дым днем принимала в ней более и более серьезный хронический характер.

Медики беспокоились, и английский доктор Уайлис, первый врач императора, сказал, что императрице необходимо провести зиму в Италии, или на острове Мальта.

— Я не больна! — возражала она на эти слова доктора Уайлиса. — Да если бы я ещё серьезно была больна, — грустно добавила она, — то тем более было бы мне необходимо остаться здесь, потому, что супруга русского императора должна умереть в России.

Доктору Миллеру, высказавшему ей свои опасения, она отвечала:

— Я не больна, или, лучше сказать, я не хочу быть больною.

Государь показывал вид, что не замечает болезни императрицы; он ни с кем не говорил об этом и силился казаться перед ней спокойным и даже веселым. Но наедине он предавался своим мрачным предчувствиям и иногда впадал как бы в отчаяние.

— Уайлис, — сказал он однажды своему первому доктору, — я недоволен своим здоровьем: предпишите мне путешествие в южную

Россию, в Крым или куда-нибудь ещё, только чтобы путешествие это было полезно для императрицы, которая отправится вместе со мною.

Уайлис повиновался, и путешествие было решено.

Прощаясь с великим князем Николаем Павловичем, который, по его желанию, должен был принять прямое участие в правительственных делах во время его отсутствия, Александр Павлович сказал:

— Революция теперь всюду господствует в Европе; она точно также есть и в России, хотя и скрывается здесь лучше, чем в других местах; поэтому мы должны удвоить бдительность и рвение с помощью Божественного провидения. Мы, государи, отвечаем перед Богом за нерадение управления народом. Тебе, брат, предстоит окончить великую обязанность, которую я принял на себя, основав Священный Союз Государей под покровительством Святого Духа.

Эти таинственные слова тронули и смутили великого князя. Он запечатлел их в своей памяти и всегда считал последним советом,

который дан был ему Александром I, стоявшим уже на краю могилы.

Мы знаем, что императору Александру Павловичу не суждено было возвратиться из Таганрога.

19 ноября 1825 года государя не стало.

Великий князь Николай Павлович при роковых обстоятельствах понял совершенно последние таинственные слова своего в Бозе почившего государя и брата. Искусно скрытое революционное движение в России выпустило свои когти.

# ЧАСТЬ ПЯТАЯ

## Грузинский отшельник

### I

#### Отречение

Великий князь Михаил Павлович находился с 8 ноября 1825 года в Варшаве у своего брата Константина Павловича.

Он рассчитывал пробыть в Польше до конца года, а может быть, и больше, несмотря на искреннюю привязанность к своему семейному кружку. Восторженная его любовь к цесаревичу была сильнее всего, и он нигде не чувствовал себя лучше и счастливее, как в обществе своего достойного брата.

Константин Павлович, со своей стороны, тоже не щадил ничего, чтобы показать брату удовольствие, которое он доставляет ему своим присутствием.

Каждый день были смотры и парады, на которых они присутствовали вместе, разделяя команду, каждый вечер были праздники, балы и концерты в Бельведерском дворце.



Так быстро и беззаботно летело время в Варшаве.

Вдруг 22 ноября цесаревич, бледный и расстроенный, объявил великому князю, что не будет в этот день обедать за столом и удалился к себе.

Это заявление удивило Михаила Павловича, который дружески взял его за руку и спросил:

— Что с тобою?

— Ничего, — отвечал Константин Павлович, — я нехорошо себя чувствую... но это пройдет. До завтра!

Он вышел из маленькой гостиной, в которой происходил разговор.

Прошло два дня.

25 ноября, в 7 часов вечера, курьер прибыл в ту минуту, когда великие князья садились за стол. Цесаревич вышел и удалился в свой кабинет, откуда через несколько минут прислал сказать, что обедать не будет.

После обеда Михаил Павлович отправился в свои покои.

Он узнал, что из Таганрога прибыл курьер и с понятным нетерпением ожидал, когда

брат позовет его.

Под влиянием какого-то тягостного предчувствия, он нервно ходил взад и вперед по комнате, наконец бросился на диван и забылся дремотою.

Вдруг дверь с шумом отворилась, великий князь проснулся и увидел входящего цесаревича, с бледным, расстроенным лицом и полными слез глазами.

— Что с тобой? Что случилось?

— Приготовься, Мишель, услышать известие о великом несчастье! — торжественно произнес Константин Павлович.

— О, Боже мой! Не случилось ли чего с нашею матерью?

— Нет, не с ней... Великое несчастье обрушилось на нас, на всю Россию... Мы потеряли нашего благодетеля!.. Император умер!

Братья бросились друг другу в объятия и слили вместе свои слезы.

После первых излиятий скорби великий князь Константин Павлович прочел брату подробное донесение о кончине императора Александра Павловича, составленное в присутствии императрицы Елизаветы Алексеев-

ны князем Волконским и бароном Дибичем. Он прочел ему также два официальных письма, адресованных ему обоими этими лицами, чтобы известить его об упразднении трона и просить его занять этот трон. Он вручил ему и другое конфиденциальное письмо, которое князь Волконский просил держать в секрете.

Это письмо, не дошедшее до нас, кажется, имело целью предупредить великого князя Николая Павловича, что усопший император перед смертью не сказал и не написал ничего относительно какого-либо изменения в порядке престолонаследования, так как князь Волконский, вероятно, знал, что Александр I несколько лет тому назад занят был необходимостью самому назначить себе преемника.

В государственном совете всем было известно, что великий князь Николай Павлович должен был получить наследственные права цесаревича Константина, с согласия последнего.

Вследствие этого князь Волконский считал нужным уведомить великого князя Константина Павловича, что его августейший брат умер, не произнося ни единого слова, которое

бы выражало волю, или даже желание относительно наследования престола. Кроме того, он писал ему, что когда он спрашивал императрицу, выражены ли были намерения усопшего императора на этот счет в завещании или в каком-нибудь рескрипте, то императрица отвечала, что не знает об этом ничего положительного, но, во всяком случае, советует свестись с цесаревичем.

Князь Волконский, вспомнив, что император всегда носил на себе запечатанный пакет, которого содержание, может быть, было государственною тайною, отыскал этот таинственный пакет в кармане мундира, который был надет последний раз на усопшем императоре. Императрица сломила печать, и они увидели, что в конверте вложены две молитвы и несколько текстов Священного Писания.

Императрица Елизавета Алексеевна сперва хотела сохранить эту бумажку у себя, но затем раздумала и велела князю Волконскому вложить её в мундир, который надели на тело почившего императора, в тот самый карман, где он всегда носил её.

Великий князь Константин Павлович и не

думал воспользоваться этим пробелом в выражении последней воли усопшего державного брата.

Он сказал великому князю Михаилу:

— Теперь настала минута, когда я должен доказать всем, что мой образ действия изъят от лицемерия и двоедушия. Теперь нужно окончить дело с тою же твердостью, с которою оно было начато. В моих намерениях, в моей решимости ничего не изменилось, и моя воля отказаться от престола более чем когда-либо непреложна.

После этой беседы великий князь Константин Павлович созвал во дворец главных сановников правительства.

Они явились с поспешностью, удивленные этим внезапным приглашением в поздний час вечера.

Когда они собрались, цесаревич печально объявил им, что император Александр окончил жизнь.

— Каковы же будут приказания вашего императорского величества? — быстро спросил его Николай Новосильцев, один из главных сановников Польши, наиболее любимых

покойным императором.

— Прошу вас не давать мне титула, который мне не принадлежит! — строго заметил Константин Павлович.

Он тотчас же объявил присутствующим, что передал все права свои брату Николаю, с согласия усопшего императора, и что теперь Николай Павлович сделался законным монархом России.

Он вошел затем в подробности насчет причины своего отречения и представил копию с письма, написанного им в январе 1822 года императору Александру и рескрипт, адресованный ему императором от 2 (14) февраля того же года, которым принималось и утверждалось его отречение от российского престола.

Затем он заставил собравшихся присягнуть новому императору и сам первый присягнул, по обычной форме на кресте и Евангелии.

По окончании этой церемонии, Константин Павлович отдал приказание приготовить немедленно в своей канцелярии официальные письма к императрице-матери и велико-

му князю Николаю Павловичу, а также к князю Волконскому и к барону Дибичу.

Вся ночь прошла в составлении и в приготовлении этих важных писем и только с пяти часов следующего утра цесаревич мог дать себе несколько отдыха.

— Я исполнил данный обет и свой долг, — сказал он Михаилу Павловичу, — печаль о потере нашего благодетеля останется во мне вечною, но, по крайней мере, я чист перед священной его памятью и перед собственной совестью. Ты понимаешь, что никакая сила уже не может поколебать моей решимости. Ты сам отвезешь к брату и матушке мои письма. Готовься сегодня же ехать в Петербург.

26 ноября, после обеда, великий князь Михаил Павлович отправился с врученным ему письмом в Петербург.

## II

### СЫНОВНИЙ ДОЛГ

В тот самый день, когда в Варшаву пришло известие о смерти императора Александра Павловича, в Петербург прибыли из Таганрога письма, извещавшие об его опасной болезни.

В этот вечер 25 ноября в Аничковом дворце у детей великого князя Николая Павловича были в гостях их сверстники. Великий князь и великая княгиня принимали участие в играх.

Вдруг великому князю тихо доложили, что санкт-петербургский генерал-губернатор граф Милорадович просит у него позволения переговорить с ним наедине.

Николай Павлович, удивленный этой необычной просьбой, переданною ему так таинственно, поспешил в приемную залу и нашел там старого генерала, сильно взволнованного и расстроенного.

— Что такое? Что случилось?

— Ужасная новость, ваше высочество, —



отвечал Милорадович со слезами на глазах. — Император умирает! Осталась только слабая надежда.

Великий князь увел генерала в свой кабинет и последний представил ему депеши, только что полученные из Таганрога.

Николай Павлович почувствовал, что у него подкашиваются ноги и поспешил сесть, чтобы не упасть. Глаза его застилала слезы, и он едва мог прочесть письма, в которых князь Волконский и барон Дибич отдавали подробный отчет о болезни императора, не скрывая, что врачи не надеялись более спасти его, если только не совершится чудо. Волконский, впрочем, в конце письма намекал, что, может быть, не вся надежда потеряна.

— Да хранит Бог святую Россию! — проговорил великий князь. — Да сохранит нам Его провидение императора!

Он старался казаться спокойным и, сообщив эти печальные вести великой княгине Александре Федоровне, которая тотчас же начала молиться, он хотел уже отправиться к императрице-матери, как вдруг от неё поспешно прислали за ним, так как она, по

нескромности своего секретаря Вилламова, узнала роковую новость.

Великий князь поспешил в Зимний дворец в сопровождении своего адъютанта и друга детства Владимира Федоровича Адлерберга и нашел свою несчастную мать в таком отчаянии, что все его попытки успокоить и утешить её были напрасны. Она была убеждена, что её обманывают, и что её возлюбленный сын уже не существует.

Великий князь Николай не имел духа отойти от неё, пока они немного не успокоятся, и провел вместе с Адлербергом ночь в соседней с её опочивальней комнате.

Он вполголоса молился за Россию, постоянно прислушиваясь; чтобы увериться, не спит ли его августейшая родительница.

Владимир Федорович Адлерберг сидел возле великого князя, а так как последний не имел секретов от этого честного подданного друга, то и давал волю своим мыслям, без порядка и последовательности пробегавшим в его уме.

По временам он предавался мрачному и безмолвному размышлению.

Разговор их, естественно, сосредоточивался на полученных из Таганрога известиях.

— Если Бог определит испытать нас величайшим из несчастий, кончиною государя, то по первому известию надо будет тотчас, не теряя ни минуты, присягнуть брату Константину.

Ночью императрица часто призывала к себе сына, ища утешений, которых он не в силах был ей дать.

— Какое несчастье, что Константина нет с нами, — говорила она ему, между прочим. — Следовало бы предупредить его! Не послать ли курьера в Варшаву?

Под утро, часов в семь, из Таганрога приехал фельдъегерь с известием о перемене к лучшему и с письмом императрицы Елизаветы Алексеевны.

*Il y a un bien sensible,*

— писала она, —

*mais il est tres faible[3].*

Николай Павлович пытался поселить в сердце своей матери надежду, оставаясь сам

под бременем тяжелых предчувствий.

Назавтра он рассчитывал, впрочем, на лучшие известия и ему не трудно было убедить императрицу Марию Федоровну, что за жизнь императора уже нечего бояться.

День 26 ноября прошел между страхом и надеждою; с часу на час ждали нового курьера, но он не приехал.

Слухи о болезни императора распространились в городе и произвели всеобщую горесть. Народ толпами стремился в храмы молиться, но когда узнали, что в Зимнем дворце было совершено благодарственное молебствие, и что утром было получено из Таганрога от императрицы Елизаветы Алексеевны письмо, то из этого заключили, что император находится вне опасности.

Горесть сменилась веселием, и жители Петербурга обнимали друг друга на улицах, с восторгом повторяя:

— Бог милостив! Император выздоравливает!

На другой день, 27 ноября, в обычный час курьера тоже не было, но замедление это не было сочтено дурным предзнаменованием.

Все ожидали хороших известий.

Литургия с благодарственным молебствием должна была быть отслужена в Зимнем дворце для императорской фамилии.

Главные сановники империи были созваны в Александро-Невскую лавру, где также должно было совершиться благодарственное служение за поправление здоровья императора.

В Зимнем дворце служба началась в 11 часов утра. В церкви было только несколько человек из свиты императрицы-матери и великих князей.

Императрица-мать стояла на коленях около алтаря и горячо молилась. С ней рядом молился великий князь Николай.

Последний приказал старому камердинеру императрицы-матери Гримму в случае, если бы приехал новый фельдъегерь из Таганрога, подать ему знак в дверь.

Едва кончилась обедня, начался молебен, как знак был подан.

Великий князь тихо вышел из ризницы и в библиотеке, бывшей половине короля прусского, увидел графа Милорадовича, по лицу

которого и угадал ужасную истину.

— C'est fini, Monseigneur, courage maintenant, donnez l'exemple[4]! — сказал граф и повел его под руку.

У перехода, бывшего за прежнею Кавалергардскою залю[5], великого князя оставили последние силы — он упал на стул, как бы изнемогал под поразившим его ударом, но вскоре снова возвратились к нему твердость и присутствие духа.

Он приказал позвать Риля, врача императрицы-матери, и тихо вошел вместе с ним и графом Милорадовичем в ризницу.

Императрица-мать заметила отсутствие своего сына и уже начала беспокоиться, как вдруг увидала его входящим вместе с Рилем. Великий князь был бледен, как полотно.

Войдя, он повергся ниц на землю, не говоря ни слова.

Императрица-мать поняла все несчастье; она не находила ни слов, ни слез, чтобы выразить все, ею испытываемое: она оставалась неподвижною. Великий князь встал, вошел в алтарь и переговорил потихоньку с духовником императрицы-матери, отцом Криниц-

ким, который тотчас же направился медленными шагами к своей августейшей духовной дочери и сказал, подавая ей крест:

— Государыня, человек должен преклоняться перед судьбами Провидения.

Императрица-мать поцеловала изображение Христа и тогда только пролила несколько слез, но через минуту разразилась рыданиями. Вот как описывает эту трогательную сцену тяжелого горя августейшей семьи один из её очевидцев, наш известный поэт Жуковский, бывший тогда наставником великого князя Александра Николаевича.

*«Вдруг, когда после громкого пения в церкви сделалось тихо, и слышались только молитвы, вполголоса произносимые священником, раздался какой-то легкий стук за дверями, — отчего он произошел, не знаю, помню только то, что я вздрогнул и что все, находившиеся в церкви, с беспокойством оборотили глаза на двери; никто не вошел в них, это не нарушило молчания, но оно продолжалось недолго — отворяются северные двери, из которых выходит великий князь Нико-*

лай Павлович, бледный; он подает знак к молчанию: все умолкло, оцепенев от недоумения; но вдруг все разом поняли, что императора не стало, церковь глубоко охнула. И через минуту все пришло в волнение; все слилось в один говор криков, рыдания и плача. Мало-помалу молившиеся разошлись, я остался один; в смятении мыслей я не знал, куда идти, и, наконец, машинально, вместо того, чтобы выйти общими дверями из церкви, вышел северными дверями в алтарь. Что же я увидел? Дверь в боковую горницу открыта. Императрица Мария Федоровна, почти бесчувственная, лежит на руках великого князя великая княгиня Александра Федоровна умоляет её успокоиться: „*Maman, chere maman, au nom de Dieu, calmez vous!*“ [6] В эту минуту священник берет с престола крест и, возвысив его, приближается к дверям; увидя крест, императрица падает пред ним на землю, притиснув голову к полу почти у самых ног священника. Несказанное величие этого зрелища меня сразило; увлеченный им, я стал на колени перед святынею материн-



*ской скорби, перед головою Царицы, лежащей во прахе под крестом испытующего Спасителя. Императрицу, почти лишенную памяти, подняли, посадили в кресло и понесли во внутренние покои. Дверь за нею затворилась».*

### III

## Долг верноподданного

Долг сыновний был исполнен. Предстоял ещё другой священный долг — старшего сына русской земли.

К его-то исполнению и приступил великий князь Николай Павлович. Предоставив свою августейшую мать попечениям и заботам великой княгини, он отправился со своим адъютантом Адлербергом на воинский пост дворца.

Пост этот был занят ротою Преображенского полка под командою Граве. Великий князь объявил солдатам и офицерам этой роты, что император Александр скончался в Таганроге, и что теперь обязанность каждого — присягнуть новому императору Константину Павловичу, законному наследнику русского престо-

ла.

То же самое объявил он двум другим внутренним дворцовым караулам, занятым конногвардейцами.

Принять присягу от этих караулов он поручил генералу Потапову и послал с этою же целью своего адъютанта Адлерберга в казармы корпуса инженеров, состоявшего под его непосредственным начальством.

Сам же он с графом Милорадовичем и генерал-адъютантами: князем Трубецким, графом Голенищевым-Кутузовым и другими пошел в малую дворцовую церковь, но узнав, что она, после разных в ней переделок, ещё не освящена, возвратился в большую, где ещё оставалось духовенство после молебствия, и здесь присягнул императору Константину и подписал присяжный лист. Его примеру последовали все бывшие с ним и ещё разные другие, случившиеся тогда во дворце, военные и гражданские чины.

По выходе из церкви, великий князь отправился к императрице-матери, которую не покидала великая княжна Александра Федоровна. Он нашел Марию Федоровну, погрузив-

шуюся в глубокую печаль, но уже полную покорности судьбам Провидения.

Николай Павлович рассказал ей обо всем происшедшем и об исполнении им своего долга в отношении нового императора.

— Я присягнул в верности Константину и подал этим пример другим, — между прочим заметил он.

— Николай, что ты сделал! — воскликнула императрица Мария Федоровна, пораженная этою новостью. — Разве ты не знаешь, что существует императорский рескрипт, назначающий тебя наследником?

— Я этого не знал! — откровенно отвечал великий князь. — Впрочем, если императорский рескрипт и существует, то, мне кажется, никто не знает о нем. Но мы все знаем, что наш законный государь, после императора Александра — есть мой брат Константин, следовательно, мы исполнили наш долг, дав ему присягу. Пусть то будет, что угодно Богу!

— Николай, — торжественно возразила императрица-мать, — Константин знает также свой долг и выполнит его, отказавшись принять корону, которую покойный мой сын

Александр пожелал передать тебе.

Пока все нами описанное происходило в Зимнем дворце, должностные лица, собравшиеся в Александро-Невскую лавру, чтобы присутствовать при благодарственной службе, были извещены о печальной новости, привезенной курьером из Таганрога.

Сообщил её командующему гвардейским корпусом приехавший в собор во время причастного стиха начальник штаба корпуса Нейдгардт.

С быстротою молнии эта весть разнеслась по всей церкви и вызвала общее рыдание.

Близкие ко двору лица, не дождавшись окончания службы, один за другим поспешили в Зимний дворец.

Князь Александр Голицын, министр духовных дел, прибыл туда одним из первых. С изумлением узнал он о событиях, совершившихся час тому назад.

Он отправился к великому князю Николаю Павловичу; последний принял его в кабинете.

Голицын, вне себя от потери обожаемого монарха, не скрыл своего отчаяния и по поводу происшедшего. Он смело стал укорять ве-

ликого князя за присягу, данную Константи-  
ну, торжественно отрекшемся от своих прав  
на престол. Он самым энергичным образом  
настаивал на том, чтобы великий князь сооб-  
разовался с волею покойного императора и  
принял принадлежавшую ему корону.

— Замолчите, — с сердцем сказал ему ве-  
ликий князь, — ваши настояния просто  
неуместны, я не только не раскаиваюсь в том,  
что сказал, но поступил бы точно так же и в  
другой раз...

Сказав это, Николай Павлович вышел из  
кабинета, не простившись с Голицыным.

Отсюда начинается тот величественный  
эпизод в нашей истории, подобного которому  
не представляют летописи ни одного народа.  
История — есть ничто иное, как летопись че-  
ловеческого властолюбия. Приобретение вла-  
сти, праведное или неправедное, сохранение  
или распространение приобретенной власти,  
возвращение власти утраченной — вот глав-  
ное её содержание, около которого сосреото-  
чиваются все другие исторические события. У  
нас она отступила от вечных своих законов и  
представила пример борьбы неслыханно ве-

ликодушной, борьбы не за приобретение власти, а за отречение от неё.

Того же 27 ноября государственный совет был созван на чрезвычайное заседание к двум часам по полудни.

Князь Александр Голицын опередил всех своих сотоварищей, решившись настоять на выполнении воли покойного императора; по мере того, как члены входили в залу, он отводил их в сторону и рассказывал им, какое объяснение он имел с великим князем Николаем Павловичем по поводу присяги, данной Константину.

Когда в совете собралось требуемое число членов, князь Голицын изложил со всеми подробностями, что произошло четыре года тому назад между покойным императором и братом Константином, когда этот последний отказался от всех своих прав на российский престол в пользу великого князя Николая. Он порицал поспешность, с которой дана присяга цесаревичу, когда манифест императора Александра, относительно наследования престола, существовал не только в архивах сената, но и святейшего синода. Он присовокупил,

что этот документ положен также в Успенский собор в Москве, и что генерал-губернатор этого города и епархиальный архиерей имели поручение взять его оттуда тотчас после кончины императора.

Необходимо было, по его мнению, отметить совершившийся факт и дать силу манифесту Александра I.

Адмирал Александр Семенович Шишков, министр народного просвещения, с присутствием ему горячим красноречием, высказался, что государство не может ни одного дня оставаться без императора и что присягу прежде всего, надо дать великому князю Константину, и он волен принять корону или отказаться от неё.

Все прочие члены были одного противного мнения и положили, что необходимо сперва распечатать конверт и прочесть хранящийся в нем акт.

Тогда председатель совета, князь Лопухин, послал правившего должность государственного секретаря Оленина в архив за конвертом, который по освидетельствовании целости печатей был вскрыт, и находившиеся в

нем бумаги прочитаны перед советом во всеуслышание.

Но едва только — сказано в журнале совета — «выслушана была с надлежащим благоговением, с горестными и умилительными сердцами, последняя воля блаженной и вечно достойной памяти государя императора Александра Павловича, ознаменованная в копии с высочайшего манифеста, скрепленной собственноручно покойным государем императором», как граф Милорадович, который с должностью санкт-петербургского военного генерал-губернатора соединял и звание члена государственного совета, объявил собранию: «Его императорское высочество великий князь Николай Павлович торжественно отрекся от права, предоставленного ему упомянутым манифестом, и первый уже присягнул на подданство его величеству государю императору Константину Павловичу».

Это торжественное объявление повергло совет в величайшее затруднение.

После горячих прений, решено было предстать перед великим князем, чтобы от него лично узнать его окончательное решение.



Он принял членов совета с печальным и недовольным видом, повторил то, что поручил уже сказать графу Милорадовичу, добавив, что решение его неизменно.

После такого категорического ответа, князь Лобанов объявил, что он не будет вскрывать пакет, положенный в сенате, так как документы, в нем содержащиеся, тождественны с теми, которые прочтены в государственном совете.

— Ваше высочество — сказал граф Литте, один из влиятельнейших членов совета, — те, которые ещё не дали присяги вашему брату Константину, уверены, что сообразуются с волею покойного императора, признавая вас своим государем. Вам одному они могут повиноваться. Итак, если ваше решение непоколебимо, то оно есть приказание, которому мы должны подчиниться. Ведите же нас сами к присяге и мы будем повиноваться.

Сенат собрался поспешно, принес присягу императору Константину Павловичу и определил указом от имени нового императора дать ту же присягу по всей Империи.

Указ этот был приведен в исполнение в од-

но время в различных частях Империи.

В этот же день присягнули войска санкт-петербургского гарнизона и все городские чиновники.

В Варшаву были отправлены адъютанты Лазарев и Опочинин, чтобы дать отчет Константину Павловичу обо всем совершившемся в Петербурге. Великий князь Николай послал, кроме того, своему брату — новому императору — письмо с изъявлением верноподданнических чувств.

Официальное провозглашение императора Константина было фактом совершившимся. Новое царствование началось 27 ноября, и имя Константина заменило во главе всех правительственных актов и в церквах имя Александра.

## IV

### Император

**Ш**есть дней прошло, как цесаревич Константин Павлович был провозглашен императором и как правительственные акты давались от его имени, а в Петербурге все ещё не получали известия из Варшавы.

Великий князь Николай Павлович, по-видимому, со дня на день ожидал его, хотя мысленно, зная непреклонный характер брата, подчас был уверен, что он не приедет в Петербург.

Не без сильного сопротивления согласился он принять на себя управление государственными делами во время этого междуцарствия и то, уступив лишь просьбам, даже приказаниям своей матери.

Вследствие этого он не покидал Зимнего дворца, куда перенес свою резиденцию с 27 ноября, заперся там в своих комнатах, и лишь немногие лица имели к нему доступ.

Чаще других принимал он графа Милорадовича, приходившего отдавать ему отчет о

настроении умов столицы и радовавшегося царившему в этом смысле полнейшему спокойствию.

Это спокойствие было, впрочем, только кажущееся.

Донесения полиции говорили о скрытом и необъяснимом в нескольких пунктах города волнении, но приписывали его сильному впечатлению, произведенному смертью Александра Павловича.

Николай Павлович, внимательно читавший все правительственные акты и все бумаги, присылаемые из министерств, сам пробегал эти полицейские донесения и был удивлен, что каждый день собиралось по 20–30 человек в различных кварталах с дозволения генерал-губернатора.

Сборища эти прикрывались литературой, и между самыми частыми посетителями их было два или три известных поэта — друзья и приятели А. С. Пушкин, Кондратий Рылеев и капитан Александр Бестужев, и многие гвардейские офицеры, более или менее известные за любителей поэзии и литературы. По тем же сведениям полиции, эти молодые люди

принадлежали к либеральной молодежи, называвшейся «Молодою Россиею».

Когда великий князь Николай Павлович спросил об этих подозрительных сходках у графа Милорадовича, последний улыбнулся.

— Все вздор, ваше высочество, я решил оставить этих мальчишек в покое читать друг другу свои дрянные стишонки.

— Следовало бы все-таки наблюдать за ними попристальнее... — заметил Николай Павлович.

— Я вас уверяю, ваше высочество, что это не стоит внимания — это просто детские забавы!

— Время-то выбрано для этого некстати, — возразил великий князь, — теперь Россия только что понесла невозвратимую потерю, и все мы ещё находимся под ужасным впечатлением этой катастрофы!..

— Ваша правда, ваше высочество, — сказал генерал-губернатор, — это какие-то взбалмошные вертопрахи. Я сейчас сделаю нужные распоряжения, но мне кажется, что поэты не опасны.

В ночь с 1 на 2 декабря великий князь Ми-

хаил Павлович прибыл, наконец, в Петербург.

Проезжая через Митаву, где он остановился на несколько часов у генерала Паскевича, он узнал, что смерть императора Александра была уже известна в Петербурге и что там уже присягнули Константину Павловичу. Прибыв в Петербург, он поспешил в Зимний дворец.

Императрица-мать, предупрежденная о возвращении своего сына в Петербург, с беспокойством ожидала его. Никто не присутствовал при их первом свидании.

Пришедший великий князь Николай Павлович нашел двери запертыми и остался сидеть в соседней комнате.

Через полчаса дверь отворилась, и Мария Федоровна сама вышла к нему со слезами на глазах.

— Николай, — торжественно сказала она, — преклонись перед твоим братом Константином, потому что он достоин уважения за свое непреклонное решение предоставить тебе престол.

— Прежде, чем я преклонюсь перед ним, матушка, — отвечал великий князь, — поз-

вольте мне знать причину этого, потому что я не знаю, с какой стороны жертва: со стороны того, кто отказывается, или же со стороны того, кто принимает.

Он вместе с императрицей-матерью вошел в ту комнату, где находился великий князь Михаил Павлович. Между нею и её детьми произошел продолжительный и интимный разговор.

Прочитаны были письма, присланные Константином Павловичем матери и брату, но великий князь Николай не счел их достаточными, чтобы основать на них свой дальнейший образ действия.

Великий князь Михаил не мог не выразить сожаление относительно данной присяги, которую слишком поспешили дать и которую рано или поздно придется отменить новой присягою.

Он стал даже упрекать брата Николая за то, что он велел провозгласить цесаревича императором и не сообразовался с желанием императора Александра I.

Николай Павлович отвечал, что эти желания никогда не были ему высказаны катего-

рически и что секрет, в котором держали от него их, не позволял ему действовать иначе.

— Впрочем, — печально добавил он, — все можно ещё поправить, если мой брат Константин решится приехать в Петербург.

По совету своей матери, он объявил, что примет корону в том случае, если цесаревич ещё раз положительным образом объявит свое формальное отречение от Российского престола.

В этом смысле он и императрица Мария написали ему письма, которые и были отправлены в Варшаву на другой день.

Это семейное собрание продолжалось более двух часов.

Зимний дворец был полон народа.

Слух о прибытии великого князя Михаила с утра распространился в столице, и все, имевшие доступ во дворец, поспешили туда.

— Присягнул ли уже Михаил Павлович? — спрашивал каждый.

— Нет, — отвечали прибывшие.

— А вы присягали?

— Нет.

— Когда же?



— Не знаем...

Когда, наконец, великий князь вышел из апартаментов императрицы-матери, все бросились за ним. Каждый старался прочесть на его лице известия, привезенные им из Варшавы, многие даже задавали ему об этом вопросы.

Он отвечал уклончиво, ссылаясь на усталость, и тотчас же удалился в свой дворец. Там он пробыл три дня, не принимая никаких посетителей и не давая присяги.

Узнали только, что он велел отслужить в своей дворцовой церкви заупокойную обедню по императору Александру, но эта обедня не сопровождалась благодарственным молебном в честь нового императора.

Через три дня императрица-мать выразила желание, чтобы великий князь Михаил снова отправился в Варшаву и употребил все усилия для того, чтобы побудить цесаревича немедленно приехать в Петербург.

6 декабря адъютант Лазарев возвратился из Варшавы со следующим письмом цесаревича к брату его Николаю:

*«Твой адъютант, любезный Николай,*

*по прибытии сюда, вручил мне твое письмо, которое я прочел с живейшею горечью и печалью. Мое намерение неподвижно и освящено покойным моим благодетелем и государем. Твоего предложения прибыть скорее в Санкт-Петербург я не могу принять и предвещаю тебя, что удалюсь ещё дальше, если все не устроится согласно воле покойного государя. Твой по жизнь верный и искренний друг и брат Константин».*

Лазарев рассказал о приеме, сделанном ему цесаревичем по приезде его в Варшаву: сначала Константин Павлович нахмурил брови при титуле «величество», данном ему адъютантом и выразил живейшее огорчение, узнав о принесенной ему присяге, он хотел, чтобы Лазарев тотчас же отправился в Петербург, но когда последний извинился состоянием здоровья и просил позволения отдохнуть несколько часов, то великий князь держал его как пленника в Бельведерском дворце, строго приказав ему не сноситься ни с кем.

Лазарев отправился обратно только на

другой день, с приказанием нигде на дороге не останавливаться и не говорить ни с кем о письме, которое он должен передать в собственные руки великому князю Николаю.

Однако, в Неннале, почтовой станции в 260 верстах от Петербурга, Лазарев встретил великого князя Михаила Павловича, который остановился там накануне и, казалось, не располагал ехать далее, надсматривая за проездом курьеров из Польши.

Великий князь Николай Павлович одобрил это решение своего брата Михаила и даже отправил к нему генерала Толля, начальника главного штаба первой армии, главная квартира которой находилась в Могилеве на Днестре, прибывшего в столицу с тайным поручением к новому императору от главнокомандующего этой армией, графа Сакена, выразив ему желание, чтобы он оставался в Неннале с великим князем, под предлогом, что они ожидают императора.

12 декабря Николаю Павловичу доложили, что возвратился фельдъегерь Белоусов, отправленный им 3 декабря с письмом к цесаревичу. Он удивился, что этот курьер не

встретил в Неннале великого князя Михаила, но узнал, что фельдъегерь вместо рижской дороги ехал по Брест-Литовской, как более безопасной и легкой.

В своем ответе цесаревич повторял самым формальным образом и в самых ясных выражениях свое отречение от короны и неизменное намерение сообразоваться с волею Александра I. Поэтому он просил своего брата Николая немедленно занять престол, принадлежавший ему по праву, и ограничивался тем, что давал ему на этот счет некоторые конфиденциальные советы.

Письмо оканчивалось следующими словами:

*«Я передаю тебе от души благословение старшего брата, который становится твоим верным подданным, и прошу тебя рассчитывать на безграничную преданность, с которою я не перестану быть твоим лучшим другом.*

*Константин».*

Великий князь Николай молча прочел это письмо, но волнение, им испытываемое,

несмотря на все усилия скрыть его, отразилось на его лице.

Великая княгиня Александра Федоровна с беспокойством следила за ним.

— Что случилось? — с тревогой спросила она.

— Должно преклоняться перед судьбами Провидения, — отвечал он глухим голосом, — небо повелевает, и я против воли повинуюсь: теперь я император.

## V

### Заговор

Последние годы жизни императора Александра Павловича были омрачены горестными для его сердца открытиями. ещё с 1816 года, по возвращении наших войск из заграничного похода, несколько молодых людей замыслили учредить у нас нечто подобное тем тайным политическим обществам, которые существовали тогда в Германии.

Первое общество этого рода, основанное сперва по мысли тех лиц, постепенно увеличивалось и в феврале 1817 года приняло уже

некоторую правильную организацию, под названием союза спасения.

Горсть молодых безумцев, незнакомых ни с потребностями Империи, ни с духом и истинными нуждами народа, дерзко мечтала о преобразовании государственного строя.

Есть основание полагать, что часть этих намерений сделалась известною Александру Павловичу ещё в 1818 году, в бытность его в Москве, когда приближенные заметили в нем внезапное изменение в расположении духа и особенное мрачное настроение, какого прежде никогда не замечали.

С течением времени внешнее проявление тяготившей его скорби более или менее изгладилось, но побуждения к ней не перестали сокровенно существовать.

Известное ему и весьма немногим из его приближенных он хранил в глубочайшей тайне, ограничиваясь лишь бдительным надзором, и ни за что не соглашаясь с мнением графа Алексея Андреевича Аракчеева о необходимости принятия строгих мер.

В последнем случае даже благоразумные современники были на стороне последнего,

втайне осуждая мягкость венценосца.

По Москве ходили слова графа Растопчина, сказанные им о внутренней политике Александра Павловича.

— Он начал Лагарпом, а, попомните, кончит Аракчеевым, подберет вожжи распущенной родной таратайки...

Но пока что родная таратайка мчалась без удержу. Показание одного чиновника, добровольно сделанное пред командиром гвардейского корпуса генерал-адъютантом Васильчиковым, пролило на то, что прежде казалось маловажным, более истинный и, вместе с тем, более устрашающий свет, а затем, двумя различными путями: через юнкера 3-го бугского уланского полка, Украинского военного поселения Шервуда и через капитана вятского пехотного полка Майбороду, обнаружено было существование заговора.

Мера долготерпения Александра Павловича истоцилась.

Во время пребывания в Таганроге, он отдал приказание захватить главных злоумышленников, известных правительству.

По кончине Александра Павловича нахо-

дившиеся при нем и посвященные в эту важную тайну лица сочли долгом довести о ней до сведения нового государя, и в неизвестности, где он находится, барон Дибич послал два пакета в Петербург и Варшаву.

В субботу 12 декабря великого князя Николая Павловича разбудили в шесть часов утра.

Барон Фридерикс, полковник Измайловского полка, прибыл из Таганрога с депешою генерала Дибича. Эта депеша, адресованная:

*«Его величеству императору, в собственные руки»,*

— имела на конверте подпись:

*«Очень нужное».*

Великий князь спросил полковника, знает ли он содержание пакета. Барон Фридерикс отвечал, что совсем не знает его, но что имеет приказание передать письмо в его руки в случае, если императора ещё нет в Петербурге; он присовокупил, что такая же депеша послана в Варшаву.

Николай Павлович колебался распечатать ли письмо, адресованное императору но заставив повторить себе точные инструкции,



данные Дибичем своему посланному, сломал печать, так как дело могло касаться благосостояния государства.

Он был поражен, наскоро пробежав глазами бумагу.

— Хорошо! — сказал он Фридериксу, стараясь казаться покойным и равнодушным. — Император уже, без сомнения, дал свои приказания барону Дибичу. Впрочем, император завтра, быть может, будет здесь. Я советую вам подождать его.

Фридерикс почтительно поклонился и вышел.

Великий князь остался один и внимательно прочел длинное письмо, писанное, по приказанию Дибича, рукой генерал-адъютанта Чернышева.

Это было подробное донесение об обширном революционном заговоре, с давнего времени готовившегося против императорского правительства. Тайные общества имели сильное разветвление в армии, не только в Петербурге и Москве, но и в разных местах.

За несколько дней до своей смерти, покойный император, которому, как мы уже сказа-

ли, было известно положение дел, приказал произвести несколько арестов. Начальнику казачьего полка Николаеву поручено было арестовать Вадковского, отставного офицера, который оказывал важное влияние на офицеров — своих прежних товарищей.

По смерти Александра Павловича в его бумагах нашли список главных начальников заговора, и барон Дибич, убежденный, что этот заговор мог не сегодня-завтра вспыхнуть, счел себя вправе привести в исполнение последние приказания своего августейшего повелителя. Он послал в Тульчин генерала Чернышева, чтобы уведомить обо всем князя Витгенштейна, главнокомандующего южной армией, и чтобы арестовать нескольких штаб-офицеров, между прочим, и Павла Пестеля.

Барон Дибич в своем донесении умолял императора как можно скорей обратить внимание на опасность положения и называл ему поименно некоторых заговорщиков, большая часть которых принадлежала к армии и которые в это время должны были находиться в Санкт-Петербурге.

Чтение этого письма заставило Николая Павловича ещё сильнее почувствовать тяжесть своего положения. Чтобы спасти Империю от угрожающего ей волнения, даже, быть может, междоусобицы, надо было действовать немедленно, не теряя ни минуты, с решительностью, с полною силою, а он, без власти, без права что-либо непосредственно предпринять, мог распоряжаться только через других, и не как повелитель, а единственно по степени личного их к нему доверия.

Один, совершенно один. К кому великий князь должен был обратиться за советом, кому мог поверить ужасное открытие?

Он прежде всего нашел благоразумным избегать всего, что могло бы встревожить заговорщиков, и так как он подозревал, что они имеют связи внутри дворца, то не сообщил даже императрице полученных им неприятных известий, чтобы, кроме того, не усугубить тяжесть горя, и без того лежавшего на её сердце.

Он призвал только к себе графа Милорадовича, который в качестве петербургского генерал-губернатора должен был знать о суще-

ствовавшем заговоре, и князя Александра Николаевича Голицына, главного начальника почтового ведомства, который всегда пользовался доверием покойного императора.

Великий князь прочел им письмо Дибича, и они втроем решили арестовать тех из поименованных в списке заговорщиков, которые по месту их службы должны были находиться в Петербурге. Но странная вещь, ни одного из них не оказалось в столице — они все взяли отпуск под разными предлогами, видимо, для того, чтобы соединиться со своими единомышленниками в провинциях и готовить там восстание.

Без сомнения, были ещё и другие неизвестные заговорщики. Граф Милорадович обещал не щадить трудов для разоблачения их, хотя известия, сообщенные из Таганрога, казались ему преувеличенными, и князь Голицын тоже обещал иметь самый бдительный надзор за почтою в империи.

Николай Павлович сам не совсем был убежден в точности сведений, сообщенных бароном Дибичем.

Он понял, однако, что если Дибич послал

те же сведения в Варшаву, то благоразумие требовало от цесаревича не покидать Польшу и быть готовым на всякий случай. Он сам со своей стороны должен был поджидать результата полицейских мер, принятых графом Милорадовичем для ареста некоторых заговорщиков и для вызова капитана Майбороды, за которым граф Милорадович послал своего адъютанта Мантейфеля. От этого капитана, особенно упоминаемого в донесении Дибича, надеялись получить подробные сведения о заговоре.

Граф Милорадович вскоре возвратился в Зимний дворец, чтобы успокоить великого князя, и сообщил, что он уже собрал точные сведения и считал себя вправе объявить мнимые открытия барона Дибича несправедливыми. Офицеры, которых Дибич поименовал, как принадлежавших к тайным обществам, все были, по словам Милорадовича, чисты от подозрения; они выехали из Петербурга по законным отпускам и по делам службы. Капитан Майборода также был в отлучке, но должен был на днях возвратиться. Граф Милорадович поэтому считал себя вправе объявить,

что спокойствие столицы обеспечено.

— Впрочем, — прибавил он, — я спрашивал не одних начальников полиции. Самые лучшие сведения я получил от капитана нижегородских драгунов Якубовича, который лучше всякого знает храбрых офицеров, несправедливо обвиняемых перед императором.

Все это произошло до обеда, за которым получено было, как известно читателю из предыдущей главы, письмо Константина Павловича с решительным отречением от престола.

Этим письмом пресеклась возможность всякой нерешительности. С этой минуты на Николае Павловиче, в особенности после утренних известий, лежала священная обязанность для блага и спокойствия России воскресить жизненную силу престола. Он не скрывал от себя, теперь ещё менее, чем прежде, что повиновение воле брата может подвергнуть его серьезной опасности, но сознание долга превозмогло все другие чувства. Внеся на страницы нашей истории одно из благороднейших и величественных её собы-

тий, Николай Павлович заставил умолкнуть в своем сердце, перед святым долгом к отечеству, голос самосохранения и себялюбия: с душою, исполненною благоговейного доверия к Промыслу, он покорился его предначертаниям.

## VI

### Царь и подданный

После обеда, повидавшись со своею матерью и получив от неё благословение на великий подвиг, Николай Павлович удалился в свой кабинет со своим адъютантом Адлербергом, которому быстро продиктовал заметки, назначенные служить основанием манифесту по поводу своего восшествия на престол — в нем были подробно изложены все обстоятельства, предшествовавшие этому важному политическому акту и обусловившие его.

Адлерберг начал набрасывать очерк манифеста, как вдруг великому князю пришла мысль поручить его редакцию знаменитому историку Карамзину, который находился в

это время в Зимнем дворце. Карамзин часто приходил после смерти императора Александра, и великий князь Николай Павлович, который ценил как его характер, так и его талант, имел с ним частые беседы. Поэтому он велел позвать его и передал ему необходимые заметки и инструкции.

Когда Карамзин, полчаса спустя, принес проект, то нашел великого князя разговаривающим с князем Голицыным и графом Милорадовичем, которые оба настаивали на том, чтобы манифест был составлен ученым юристом Сперанским, членом государств венного совета, которому не раз были делаемы подобные поручения. Карамзин поспешил одобрить этот выбор и отклонить всякое соперничество с этим знаменитым государственным человеком.

Манифест этот должен был быть прочтенным в торжественном заседании государственного совета, в присутствии великого князя Михаила Павловича, личном свидетеле и вестнике воли цесаревича.

Михаил Павлович, однако, все ещё находился в Неннале.



Николай Павлович тотчас отправил к нему курьера с письмом:

*Наконец, все решено,*

— писал он ему, —

*и я должен принять бремя государя.  
Брат наш Константин Павлович пи-  
шет ко мне письмо самое дружеское.  
Поспеши с генералом Толлем прибыть  
сюда. Все смирно и спокойно.*

Сделаны были со стороны Николая Павловича и другие распоряжения, и самый день назначения присяги и обнародования манифеста был назначен на 14 декабря.

Все это делалось втайне. Происшедшая перемена и день, назначенный для присяги, не остались скрытыми только от заговорщиков.

Никто их не знал, но сами они все знали.

Николай Павлович, в продолжение трех, четырех послеобеденных часов выказавший изумительную деятельность, счел, однако, своим долгом и удовольствием исполнить трогательную просьбу своей возлюбленной супруги: он отправился с великою княгинею в Аничков дворец, который в продолжение

нескольких лет был их убежищем и свидетелем их домашнего счастья, и который теперь они должны были покинуть, чтобы поселиться в императорском дворце.

Они вместе посетили своих спящих детей, стараясь не разбудить их, пришли вместе через те комнаты, которые напоминали им о стольких счастливых днях, и, войдя в маленькую залу, где обыкновенно любила находиться великая княгиня Александра Федоровна, остановились перед бюстом покойной королевы прусской, которая не раз высказывала свое желание, чтобы её дочери не пришлось стонать, подобно ей, под тяжестью короны.

Они рука об руку стали на колени перед этим бюстом.

Глаза их были полны слез.

— О, моя матушка! — восторженно воскликнула великая княгиня. — Не мы желали этого; ты знаешь, что мы гораздо лучше предпочли бы не менять ни своего положения, ни образа жизни! Дай Бог, чтобы и на троне было счастье...

По возвращении в Зимний дворец, Николай Павлович заперся в своем кабинете и

стал просматривать государственные бумаги, которым реестра не было сделано с самой смерти Александра I.

Было 9 часов вечера.

В дверь кабинета постучались и доложили, что адъютант генерала Бистрома, начальника гвардейской пехоты, просит позволения передать великому князю в собственные руки важное письмо.

Николай Павлович, предполагая, что это письмо адресовано ему генералом, приказал, чтобы ему передали его и чтобы офицер подождал ответа. Когда это письмо было ему принесено, он пробежал его с удивлением и волнением, усиливавшимся с каждою строчкою. Вот содержание этого письма:

*«В продолжение четырех лет с сердечным удовольствием замечал я иногда ваше доброе ко мне расположение; думая, что люди, вас окружающие, в минуту решительную не имеют довольно честности быть откровенными с вами, горя желанием быть, по мере сил моих, полезным спокойствию и славе России, наконец, в уверенности, что к человеку, отвергшему корону,*

как к человеку истинно благородному, можно иметь полную доверенность, я решился на сей отважный поступок. Не считайте меня коварным доносчиком, не думайте, чтобы я был чьим-либо орудием, или действовал из подлых видов моей личности, — нет. С чистой совестью я пришел говорить вам правду.

Бескорыстным поступком своим беспримерным в летописях, вы сделали предметом благоговения, и история, хотя бы вы никогда и не царствовали, поставит вас выше многих знаменитых честолюбцев; но вы только начали славное дело; чтобы быть истинно великим, вам нужно довершить оное. В народе и войске распространился уже слух, что Константин Павлович отказывается от престола. Следуя нередко добродушному влечению вашего сердца, излишне доверяя льстецам и наушникам вашим, вы весьма многих противу себя раздражили. Для вашей собственной славы погодите царствовать.

Противу вас должно таиться возмущение; оно вспыхнет при новой присяге

и, может быть, это зарево осветит конечную гибель России. Пользуясь междоусобиями, Грузия, Бессарабия, Финляндия, Польша, может быть, и Литва, от нас отделятся; Европа вычеркнет раздираемую Россию из списка держав своих и сделает её державою азиатскою, и незаслуженные проклятия, вместо должных благословений, будут вашим уделом.

Ваше высочество! Может быть, предположения мои ошибочны; может быть, я увлекся и моею привязанностью к вам, и любовью к спокойствию России; но дерзаю умолять вас именем славы отечества, именем вашей собственной славы — преклонить Константина Павловича принять корону! Не пересылайтесь с ним курьерами; это будет пагубное для вас междуцарствие, и может выискаться дерзкий мятежник, который воспользуется брожением умов и общим недоумением. Нет, поезжайте сами в Варшаву, или пусть он приедет в Петербург; излейте ему, как брату, мысли и чувства свои; ежели он согласится быть императором — слава Богу! Ежели же

нет, то пусть всенародно, на площади, провозгласит вас своим государем. Всемилостивейший государь! Ежели вы находите поступок мой дерзким — казните меня. Я буду счастлив, погибая за Россию, умру благословляя Всевышнего. Ежели же вы находите поступок мой похвальным, молю вас, не награждайте меня ничем; пусть останусь я бескорыстен и благороден в глазах ваших и своих собственных. Об одном только дерзаю просить вас — прикажите арестовать меня. Ежели ваше воцарение, что да даст Всемогущий, будет мирно и благополучно, то казните меня, как человека недостойного, желавшего из личных видов нарушить ваше спокойствие; ежели же к несчастью России, ужасные предположения мои сбудутся, то наградите меня вашей доверенностью, позволив мне умереть, защищая вас».

Автор этого восторженного, но полного благородных чувств письма, был подпоручик егерского полка, Яков Иванович Ростовцев. Николай Павлович припомнил, что несколько раз замечал его усердие и ум.

Великий князь просидел минут десять в глубокой задумчивости, подперев рукою лоб, затем встал и вышел в соседнюю комнату, где дожидался Ростовцев. Взяв дружески его под руку, он ввел его в свой кабинет и плотно затворил за собою дверь.

— Вот ты чего заслуживаешь! — воскликнул он, несколько раз поцеловав его. — До тебя никто ещё не говорил мне подобных истин!

— Государь, — отвечал молодой офицер с почтительным достоинством, — не смотрите на меня, пожалуйста, как на доносчика, и не думайте, что я пришел искать награды.

— Подобная мысль недостойна тебя и меня, — возразил великий князь, — я понимаю тебя, и твой поступок внушает мне чувство уважения и признательности.

Николай Павлович стал было расспрашивать его о подробностях заговора, но Ростовцев холодно ответил, что не назовет по имени никого, так как и сам имеет смутные и, может быть, ошибочные сведения, но что великий князь должен знать, что число приверженцев политических реформ в России весь-

ма велико.

— Спокойствие, царствовавшее здесь, — добавил он, — может быть, только кажущееся.

Николай Павлович несколько минут молчал, как бы что-то обдумывая.

— Ты, без сомнения, знаешь имена некоторых заговорщиков? — сказал он наконец, устремив на Ростовцева проницательный взгляд. — Но так как ты не хочешь назвать их, опасаясь нарушить долг чести, то я уважаю твое молчание. Теперь доверие за доверие! Я скажу тебе, друг мой, что ни просьбы моей матери, ни мои собственные не могли склонить цесаревича принять корону. Он положительно отвергает её и даже в письме, которое я сейчас получил, обращается ко мне с сильными упреками за то, что я велел присягнуть ему в верности.

— Но его присутствие необходимо, — горячо возразил Ростовцев, — ему одному принадлежит право провозгласить вас наследником Александра I и императором всероссийским.

— Что же делать? — возразил великий князь с нетерпением и печалью в голосе. —



Константин не приедет и, может быть, имеет важные причины оставаться в Варшаве. Я не могу заставить его приехать в Петербург. Но что бы ни случилось, я исполню свой долг, и, если нужно, буду защищать свое дело оружием. Престол остается праздным, потому что старший брат не желает сесть на него, потому что он отрекается от всех своих прав в мою пользу. Я, один я, его законный и прямой наследник, Россия не может более оставаться без государя.

— Государь, — отвечал, поклонившись, молодой человек, — вы наш император. Но враги ваши, враги императорского правительства, имеют злобные замыслы, я опасюсь всего — восстания, убийства!..

— Ну, так что же! — прервал его Николай Павлович. — Я умру с мечом в руке, если угодно Богу, и предстану перед Ним с чистою и спокойною совестью. Если буду императором хоть один час, то покажу, что был этого достоин.

Взволнованный этими словами, Ростовцев хотел упасть к его ногам, но великий князь протянул свои руки к нему и удержал его.

Царь и подданный плакали.

Прошло несколько минут.

— Этой минуты я никогда не забуду, — заметил Николай Павлович, после некоторой паузы, — знает ли Карл Карлович, что ты поехал ко мне?

— Он слишком к вам привязан, я не хотел огорчить его, а главное, я полагал, что только лично с вами могу быть откровенным насчет вас.

— И не говори ему ничего до времени, я сам поблагодарю его, что он, как человек благородный, умел найти в тебе благородного человека.

Ростовцев почтительно поклонился и пошел было к двери, но вдруг остановился:

— Государь, всякая награда уничтожит в моих глазах достоинство моего поступка...

— Будь покоен! — прервал его Николай Павлович, второй раз поцеловав его. — Твоею наградою будет моя дружба.

## VII

### Среди безумцев

**В** то время, когда около так внезапно и внезапно неожиданно опустевшего трона происходили описанные в предыдущих главах события, среди некоторых молодых людей того времени, одержимых политическим безумием, шла усиленная деятельность.

Ещё в последние годы царствования императора Александра Павловича зараза различных эфемерных политических теорий, занесенная некоторыми представителями нашего войска из Европы, подобно эпидемии, стала быстро распространяться между молодыми умами того времени.

Неблагодарная, освобожденная Россией Европа воздала ей, таким образом, за добро злом, — злом, погубившим многие силы молодой России.

Среди молодежи того времени, по большей части военной, возникла мысль, вскоре приведенная в исполнение, основать тайное общество: «Союз спасения, или истинных и вер-

ных сынов отечества», который с течением времени был заменен «Союзом благодетельства». Члены этих союзов, по степени доверия к ним его членов, разделялись на братьев, мужей и бояр. Последние имели право вербовать других членов. Союз разделялся на северный и южный, а каждый из них, в свою очередь, на несколько управ, главной из которых была в южном союзе Тульчинская, или Коренная.

Кроме этого союза, в России было ещё несколько тайных обществ: «Соединенных славян», «Варшавское патриотическое» и виленское общество «Филаретов». Первое вскоре слилось с «Союзом благодетельства».

Центром южного союза был Киев, а северного Петербург. К последнему принадлежали знакомые нам Зарудин, Кудрин и фон Зеeman.

В доме последнего по 6-й линии Васильевского острова собирались члены союза.

Справедливость, впрочем, заставляет нас заметить, что до рокового 1825 года совещания представителей молодого офицерства были в рамке благочестивых пожеланий и, быть может, не своевременных, неосуществимых,

но, в строгом смысле слова, не преступных проектов.

Собрания происходили еженедельно по пятницам, в гостиной дома фон Зеемана, в той самой гостиной, которая была свидетельницей стольких драм в жизни Натальи Федоровны Аракчеевой, изредка присутствовавшей на этих собраниях и с любовью прислушивавшейся к голосу своего друга, кума и брата по масонству, Николая Павловича Зарудина.

Лидочка лишь изредка навещивалась к мужчинам, занятая сыном и хозяйственными распоряжениями.

На это-то собрание был приглашен Василий Васильевич Хрущев.

С трепетом, понятным для новичка, ищущего в серьезном и опасном деле излечения от серьезной страсти, переступил порог гостиной фон Зеемана молодой Хрущев.

Кроме известных завсегдаев гостиных, были ещё пять-шесть человек офицеров: князь Трубецкой, граф Коновницын, князь Оболенский, Каховский, Якубович и другие и один штатский. Последний был Кондратий

Федорович Рылеев, секретарь российско-американской компании, бывший поручик гвардии. Антон Антонович представил новопривыбывшего.

— Из молодых да ранних! — заметил он, улыбаясь.

Разговор между собравшимися вертелся на том незримом, без видимой должности и власти человеке, который, между тем, был вся сила и власть — об Алексее Андреевиче Аракчееве.

— Он лазутчик под личиной скромности, — говорил фон Зеeman, — змеей вползает всюду, все хулит, ловко сеет в сердце монарха недоверие к лучшим силам страны.

— К нему в Грузино, — заметил Рылеев, — стали ездить не только члены государственного совета, но даже министры...

— А тебе, кажется, хотелось бы, чтобы они ездили к твоему болтуну — Мордвинову, или к этой покаявшейся грешнице — Сперанскому?

Рылеев не отвечал.

— Таким образом, нам известно, — заговорил Кудрин, — кто первый противится луч-

шим мыслям государя и в том числе мысли об освобождении крестьян. Ставлю на очередь, господа, вопрос, своевременно ли и желанно ли такое освобождение?

— Ещё бы, — вставил свое слово Василий Васильевич.

— Какой может быть тут вопрос? — блеснув своими выразительными глазами, металлическим голосом начал Николай Павлович Зарудин. — Освобождение крестьян было постоянной мыслью наших лучших умов... Эта мысль была у Екатерины II, граф Стенбок двадцать лет тому назад подавал мнение о вольных фермерах... Малиновский советовал давать волю всем крестьянским детям, родившимся после изгнания Наполеона, Мордвинов предлагал план, чтобы каждый, кто внесет за себя в казну известную сумму по таксе, от пятидесяти до двухсот рублей за душу, или сам пойдет охотой в солдаты — был свободен, и даже сам граф Аракчеев — будем справедливы — предлагал особую комиссию и пять миллионов в год дворянству на выкуп крепостных и двух десятин надела для всякой души...

Начался спор, кстати сказать, как всегда, не окончившийся ничем. Разговор затем перешел на другие темы. Возбудили вопрос о предположении закрыть масонские ложи и другие тайные благотворительные общества, кто-то рассказал, что некто Якушин предложил общую и безусловную вольную своим крепостным, возил её к министру Кочубею. Удивленный министр выслушал и ответил: рассмотрим, обсудим...

— Ну и что же? — спросил Хрущев.

— Ну и обсуждают до сих пор.

— А слышал о новом героизме женщины? — спросил фон Зееман.

— Нет, а что такое?

— Девица Куракина, москвичка, увлеклась католицизмом и, чтобы показать свою преданность этому учению, сожгла себе палец.

Снова приступили к обсуждению разного рода мер, к поднятию образования в народе, искоренению взяточничества, запрещения публикаций о продаже людей...

Гости разъехались далеко за полночь.

Этот первый «политический», как он называл его, вечер у фон Зееманов произвел на Ва-



силія Васильевича сильное впечатление.

— Какая громадная разница между этим домом и московскими, где я бывал прежде... Вот истинно умные русские люди... и как все это у них просто, без чопорности... задушевно!

Он стал посещать усердно эти собрания и вскоре был принят Рылеевым, бывшим в числе «бояр», в «братии».

При вступлении этом совершилось все очень просто. Не было ни клятв, ни таинственности, от него отобрали лишь простую собственноручную расписку. С каким сильным волнением подписал он эту расписку, хотя знал, по прочтенной им «Зеленой Книги» — так называли устав союза — что эта расписка вслед за её подписью должна быть сожжена.

Все же с этого мгновения он считал себя оторванным от мира, без воли.

Это настроение дало ему силу вырвать из памяти нет-нет да и появлявшийся перед его духовным взором образ Марьи Валерьяновны.

Но вырвал ли он её из сердца?

Время шло. 1825 год близился к концу.

Среди членов «Северного союза благоденствия» произошел раскол. Зарудин, Кудрин и фон Зеeman, как более благоразумные, заявили себя противниками всяких насильственных мер и подпольных действий, а первый даже подал мысль явиться к государю, изложить выработанные планы и просить инициативы их осуществления с высоты трона.

Горячие головы, предводительствуемые Рылеевым, конечно, не согласились и перестали посещать фон Зеemanовские пятницы. В числе их был и Василий Васильевич Хрущев.

Местом нового сборища заговорщиков — они могли именоваться теперь по справедливости этим позорным именем — был одноэтажный дом с красной черепичной кровлею, стоявший в глубине уютного садика, выходявшего решеткою на угол набережной реки Мойки и Демидова переулка. Над крыльцом этого дома красовалась вывеска: «Магазин мод мадам Полин».

Француженка-содержательница этого модного магазина, Полина Гебель была подругой

гувернантки невесты Бестужева-Рюмина, одного из деятельных членов «Южного союза благоденствия».

Император Александр Павлович, между тем, уехал в Таганрог, и вскоре было получено роковое известие о его смерти.

Началось продолжавшееся около месяца томительное междуцарствие.

Заговорщики через своих членов, имевших доступ в Большой и Аничковский дворцы, знали в подробностях все, что там происходило, и ликовали.

Данная войсками присяга Константину Павловичу, со дня на день долженствующая быть замененной другою, давала им в руки возможность действовать на солдат якобы легальным путем, указывая на то, что шутить присягой грешно, что от присяги может освободить их лишь тот, кому они присягали, а именно, их император Константин Павлович, которого брат его Николай держит, будто бы, под арестом, намереваясь захватить престол силою.

Одержимые политическим безумием, заговорщики все же хорошо понимали, что рус-

ский народ вообще, и русских солдат в частности, можно взбунтовать не «против царя», а только «за царя». Таков внутренний смысл появления всех русских самозванцев.

Отуманенные французскими идеями и ходившими в то время на западе десятками, одна другой несуразнее, политическими теориями, сами лично они добивались изменения формы правления, хорошо зная всю суть причин наступившего междуцарствия — этой, повторяем, неслыханной в истории государств борьбы из-за отречения от власти, между двумя рыцарями без страха и упрека, стоявшими около опустелого трона.

Но народ и солдаты не знали, конечно, ничего этого.

Грамотные — среди солдат того времени, они были редкостью — и те наивно полагали, что «конституция», о которой трактуют господа офицеры, была не кто иная, как «супруга царя Константина». С такими людьми надо было действовать иначе.

Заговорщики и действовали.

## VIII

### Смерть изменникам!

**П**одпоручик Яков Иванович Ростовцев, открывший, как мы знаем, великому князю Николаю Павловичу существование готового вспыхнуть заговора, был совершенно чужд ему и не знал ни его целей, ни разветвлений: он угадал только, что заговор этот давно существовал и что обстоятельства давали ему в руки опасное оружие против императорского правительства. Он узнал также по счастливому случаю имена главных заговорщиков.

Один из товарищей его по службе и его лучший друг, граф Коновницын, поручик главного штаба гвардейской пехоты, был вовлечен в тайное общество и со всем жаром юности усвоил себе убеждения членов «Союза благоденствия» и даже не скрывал перед своими друзьями своих стремлений и политических надежд.

Он часто говорил о необходимости полного преобразования Русской Империи и излагал революционные принципы.

Ростовцев с каким-то энтузиазмом привязался к графу Коновницыну, но не разделял его политических убеждений.

Он употреблял всю силу своей дружбы, чтобы противодействовать пагубному влиянию, которое оказывали на молодого человека многие офицеры главного штаба, известные своими демагогическими идеями.

Князь Оболенский, также поручик гвардии и адъютант генерала Бистрома, Кондратий Рылеев, бывший поручик этого же корпуса, и два-три других приверженца тайных обществ, в числе которых был и Хрущев, главным образом окружали Коновницына и оказывали на него сильное влияние.

Ростовцев напрасно старался удалить их от него, и хотя беспрестанно встречался с ними у Коновницына, однако, не сблизился с ними. Он понимал, что знакомство с этими людьми должно быть губительно для Коновницына.

Он следил, в силу этого, за каждым шагом своего друга и старался как можно меньше разлучаться с ним, но с тех пор, как в Петербург долетела роковая весть о смерти импера-

тора Александра Павловича, Коновницын сделался мрачным и задумчивым. Он беспрестанно ускользал от присмотра Ростовцева и отправлялся на тайные сходки. Сходки эти имели подозрительный характер, изумивший Ростовцева — он откровенно передал свою мысль другу и остался неудовлетворенным его неясными и сбивчивыми объяснениями.

Граф Коновницын не скрывал, впрочем, своих личных чувств.

— Великий князь Николай, — начал он, — не может ни в каком случае наследовать императору Александру, так как престол принадлежит исключительно цесаревичу...

Ростовцев только удивленно и с сожалением смотрел на положительно обезумевшего юношу.

Самому себе он объяснил эти выходки своего друга личной неприязнью, которую граф Коновницын питал к великому князю Николаю Павловичу.

12 декабря Ростовцев, по обыкновению, зашел к Коновницыну и застал у него до двадцати офицеров разных полков.

При входе его, все они замолчали и недоверчиво начали на него поглядывать.

Коновницын, смущенный неожиданным посещением друга, подал ему руку и сказал, обращаясь к присутствующим:

— Господа, те из вас, которые не знают Ростовцева, могут поверить мне, что говоря в его присутствии, нам нечего бояться. Это мой лучший друг, и хотя он ещё не из числа наших, но человек, как нельзя более либеральный.

— Прошу извинения, господа, что я беспокоил вас! — прервал его Яков Иванович, узнавший в числе присутствующих Рылеева, Каховского, князя Оболенского и некоторых других, которых он уже прежде заподозрил в политическом заговоре, — я понимаю, что мое место не здесь, и удаляюсь...

Выйдя с этой сходки, он решился из благородного патриотизма сделаться доносчиком, чтобы спасти империю и императорскую фамилию.

Он более не сомневался в существовании ужасного заговора, который в первую удобную минуту готов вспыхнуть, и написал свое



письмо к великому князю Николаю Павловичу, в надежде предупредить намерения заговорщиков — мысль о друге была в этом случае его главной мыслью.

На другой день, 13 декабря, проведя все утро в делах службы, он вернулся домой и начал записывать разговор, который имел накануне с Николаем Павловичем. Присоединив к этому, так сказать, протоколу, копию своего письма к великому князю, он вложил оба эти документа в пакет, запечатал его и отправился к графу Коновницыну.

Он встретил там опять Рылеева и многих других заговорщиков.

— Господа, — сказал он, обращаясь к ним холодно-вежливым тоном, — позвольте дать вам совет: отрекитесь от проектов, которые ни для кого не тайна...

— Так между нами есть изменники! — воскликнул Рылеев, бросив пронизательный взгляд на побледневшего и смутившегося Коновницына.

— Вы не поверяли мне ваших тайн, — возразил Яков Иванович, — и благодарю вас за то, что вы оставили мне свободу действий.

Знайτε только, что великий князь Николай Павлович обо всем извещен.

Рылеев бросился на Ростовцева, но последнего заслонил собою Коновницын.

Все присутствующие встали разом и окружили двух друзей, осыпая их угрозами и проклятиями.

— Смерть изменникам! — кричал Каховский, взмахивая кинжалом.

— Клянусь честью, — возразил спокойно Ростовцев, — что Коновницын совершенно не участвовал во всем том, что произошло между великим князем и мною. Я сделал то, что должен был сделать всякий хороший гражданин, преданный своей стране и своему государю. Я ни на кого не доносил, но предупредил императора, чтобы он принял надлежащие меры...

— Николай — не император и не будет им! — раздались возгласы.

Каховский бросился на Ростовцева с поднятым кинжалом. Коновницын схватил его за руку и, таким образом, предупредил убийство.

— Господа! Ростовцев у меня! — сказал

он. — Под моим покровительством, и я надеюсь, что вы не заставите меня защищать его ценою жизни...

— Подумайте, господа, о совете, который я позволил себе дать вам, — с тем же не покидавшим его все время спокойствием сказал Ростовцев, пожимая руку своего друга Коновницына. — Ты найдешь в этом пакете мое и свое оправдание.

Он сунул в его руку пакет и, не торопясь, вышел из комнаты. Несколько заговорщиков хотели было броситься за ним, но Коновницын удержал их.

— Господа, он не уйдет от вас и не станет скрываться... Выслушаем лучше его письменное оправдание.

Он подал пакет Рылееву. Тот дрожащими от волнения руками взял его и сломал печать.

Неизвестно, с какими чувствами выслушали чтение этих документов заговорщики, но впоследствии эти бумаги найдены были в числе других, отображенных у них.

Первое впечатление у заговорщиков было, что все погибло, что готовое увенчаться здание рухнуло, рассыпалось до основания, но

затем все понемногу успокоились, и так как в разговоре Ростовцева с Николаем Павловичем первый не упомянул ни одного имени, то решили, что опасность не так велика, как представлялась всем вначале.

— Не так страшен черт, как его малюют, — выразил почти общую мысль находившийся у Кононицына Хрущев.

— А может, он соврал, может, он там же, с глазу на глаз с великим князем, всех переименовал в точности.

Граф Коновницын горячо возразил:

— Нет, этого же быть не может... все, что здесь у него записано, правда, это чистосердечная и не прикрашенная исповедь — я знаю Ростовцева и повторяю вам — он человек безусловно честный.

— Давайте окончим прерванное чтение, — проговорил Рылеев. — Пора и по домам.

Был пятый час вечера.

— Читай, Рылеев, читай! — слышались голоса.

Кондратий Федорович вынул из кармана объемистую рукопись, спрятанную им при входе Ростовцева, откашлянулся и начал чте-

ние. Рукопись эта была — кодекс будущих русских законов, составленных главою «Южного союза благоденствия» Пестелем и названная им «Русской Правдой». Чтение это не вызвало энтузиазма в слушателях, так как далеко не соответствовало их настроению. Один Василий Васильевич благоговейно не проронил ни одного слова.

«Сентименты!» — решили другие.

## IX

### В государственном совете

Проект манифеста был приготовлен Сперанским к вечеру 12 декабря. Государь, одобрив его с некоторыми исправлениями, продолжал сохранять дело втайне до ожидаемого приезда великого князя Михаила Павловича и потому переписку манифеста поручил личному надзору князя А. Н. Голицына.

Проект был переписан в ночь с 12 на 13 число в трех экземплярах Гавриилом Поповым, доверенным чиновником князя, в его кабинете, со строгим запрещением всякой огласки.

Государь, подписав манифест утром 13 декабря, пометил его, однако же, 12-м, как тем днем, в который все решилось окончательным отказом цесаревича.

В то же утро 13 декабря объявили воцарение нового императора, под запрещением, впрочем, кому-нибудь рассказывать это nasledнику — великому князю Александру Николаевичу — тогда семилетнему отроку.

Ребенок много плакал.

Затем Николай Павлович с супругою обедали в Аничковом дворце, как бы на вечное прощание со всем минувшим.

13 декабря было воскресенье. По приказанию, отданному через князя Лопухина, члены государственного совета, в числе которых был и граф Алексей Андреевич Аракчеев, явились к 8 часам вечера в чрезвычайное собрание.

Когда все собрались, Лопухин объявил, что в это заседание желают прибыть «великие князья» Николай и Михаил Павловичи.

Прошло, однако, несколько часов в бездейственном ожидании, которым все усиливалось и напрягалось тревожное любопытство,

а великих князей ещё не было.

Государь продолжал ждать Михаила Павловича, а его приезд, как оказалось после, замедлился, несмотря на поспешность отправления и быстроту переезда, оттого, что посланный за ним поспел в Ненналь только в два часа пополудни того же 13 числа.

Наступила полночь.

В городе давно разнеслось, что совет созван в чрезвычайное заседание и, по необычайности дня собрания — в воскресенье, по поздней поре его, все догадывались, что должно, наконец, последовать что-нибудь решительное, и с нетерпением ждали конца томительной неизвестности.

Государь с сердечным сокрушением покорился необходимости предстать совету без своего брата.

Отсюда мы продолжим наше повествование подлинными словами светского журнала. Он любопытен не только в отношении историческом, но и по самому образцу изложения, так как в одном и том же акте одно и то же лицо называется сперва великим князем и высочеством, потом императором и величе-

СТВОМ.

*«Его высочество, по прибытии в совет, заняв место председателя и призвав благословение Божье, начал сам читать манифест о принятии им императорского сана вследствие настоятельных отречений от сего высокого титула великого князя Константина Павловича. Совет, по выслушивании сего манифеста в глубоком благоговении и в молчании, нелицемерной верно-подданнической преданности новому своему государю императору, обратил опять свое внимание на чтение всех подлинных приложений, объясняющих действия их императорских высочеств».*

Когда все члены, при начале чтения государем манифеста, по невольному движению встали, то и сам Николай Павлович встал с места и продолжал чтение стоя.

По окончании весь совет благоговейно ему поклонился.

*«После сего государь император повелел правящему должность государственного секретаря прочесть вслух*



*отзыв великого князя Константина Павловича на имя председателя совета, князя Лопухина. По прочтении сего отзыва, его величество изволил взять его к себе обратно и, вручив министру юстиции читанные его величеством манифест и все к нему приложения, повелел немедленно приступить к исполнению и напечатанию оных во всенародное известие. После чего его величество, всемилостивейше приветствовав членов, изволил заседание совета оставить в исходе 1 часа ночи. Положено: о сем знаменитом событии занести в журнал для надлежащего сведения и хранения в актах государственного совета; причем, положено также сегодня, то есть 14 декабря, исполнить верноподданнический обряд, произнесением присяги пред лицом Божьим в верной и непоколебимой преданности государю императору Николаю Павловичу, что и было членами совета и правящим должностъ государственного секретаря исполнено в большом дворцовом соборе».*

Журналы совета всегда представляются на монаршее усмотрение в так называемых «ме-

морях», или «извлечениях», но этот был представлен в подлиннике и на нем написано:

*«Утверждаю.  
Николай».*

Так совершилось и второе историческое заседание государственного совета — первое державное слово нового императора.

Из совета государь возвратился в свои комнаты. Там его ожидали в тревоге родительница и супруга. Супруги проводили императрицу-мать на её половину, где комнатная прислуга, с её разрешения, первая поздравила новую императорскую чету.

Бывшая великая княгиня отметила в своем дневнике, что их должно бы не поздравлять, а скорее утешать и сожалеть о них. Те же чувства разделял и её супруг.

Во внутреннем карауле от конной гвардии, перед половиной императрицы, стоял тогда случайно один из заговорщиков, князь Одоевский.

Уже после, когда открылось его участие, вспомнили, что он беспрестанно обращался

к придворным служителям с расспросами о всем происходившем — обстоятельство, которое в то время приписывали одному любопытству.

Того же 13 числа государь подписал приготовленное Сперанским по его приказанию и мыслям письмо к цесаревичу, следующего содержания:

*«Любезный брат!*

*С сердечным сокрушением в полной мере разделяя с вашим высочеством тяжкую скорбь, совокупно нас постигшую, я искал утешения в той мысли, что в вас, как старшем брате, коего от юности моей привык я чтить и любить душевно, найду отца и государя. Ваше высочество, письмом вашим от 26 ноября лишили меня сего утешения. Вы запретили мне следовать движением моего сердца, и присягу, не по долгу только, но и по внутреннему чувству мною вам принесенную, принять не благоволили.*

*Но ваше высочество не воспретите, ничем не остановите чувство преданности и той внутренней, душевной присяги, которую, вам дав, возвра-*

тить я не могу и которой отвергнута, по любви вашей ко мне, вы не будете в силах.

Желания вашего высочества исполнены. Я вступил на ту степень, которую вы мне указали и коей, быв законом к тому предназначены, вы занять не восхотели. Воля ваша совершилась. Но позвольте мне быть уверенным, что тот, кто против чаяния и желания моего поставил меня на сем пути многотрудном, будет на нем вождем моим и наставником. От сей обязанности вы пред Богом не можете отказаться; не можете отречься от той власти, которая вам, как старшему брату, вверена самим Провидением и коей повиноваться, в сердечном моем подданстве, всегда будет для меня величайшим в жизни счастьем.

Сими чувствами заключая письмо мое, молю Всевышнего, да в благости своей хранить дни ваши, для меня драгоценные.

Вашего императорского высочества  
душевно-верноподданный  
Николай».

Державная чета отошла к покою, и сон её

был безмятежен: с чистою перед Богом совестью она предала себя от глубины души Его неисповедимому промыслу.

Наступило 14 декабря...

Государь встал рано.

В семь часов утра он вышел в залу тогдашних своих покоев, где были собраны начальники дивизий и командиры бригад, полков и отдельных батальонов гвардейского корпуса.

Он объяснил им сперва, что, покоряясь неперменной воле старшего брата, которому недавно вместе со всеми присягал, принужден теперь принять престол, как ближайший в роде отрекшегося.

Затем, прочтя им манифест и приложенные к нему акты, спросил: не имеет ли кто каких сомнений?

Все единогласно отвечали, что не имеют никаких и признают его законным своим монархом.

Тогда, несколько отступя, государь, с особым величием, которые ещё живы в памяти у свидетелей сей незабвенной минуты, сказал:

— После этого вы отвечаете мне головою

за спокойствие столицы, а что до меня, если буду императором хоть на один час, то покажу, что был того достоин!

Отпуская начальников гвардейских полков, государь приказал им ехать в главный штаб присягать, а оттуда немедленно отправиться по своим командам, привести их к присяге и донести об исполнении.

В то же самое время собрались в своих местах для выслушания манифеста и принесения присяги синод и сенат, и разосланы были повестки, чтобы все, имеющие проезд ко двору, собирались в Зимний дворец к 11-ти часам для торжественного молебствия.

В главном штабе присяга была совершена в круглой зале библиотеки.

Так начался этот знаменательный в русской истории день.

«Если буду императором хоть один час, то покажу, что был того достоин» — эти слова незабвенного императора Николая Павловича, сказанные им Ростовцеву и повторенные начальникам гвардейских полков, золотыми буквами занесены на скрижали новой русской истории.

Торжественно оправдались они!

Тридцать лет среди благословения мира и громов войны, в законодательстве и суде, в деле внутреннего образования и внешнего возвеличения России, везде и всегда император Николай I был на страже её чести и славы, её отцом, а вместе, первым и преданнейшим из её сынов.

Случайно набежавшая и быстро рассеянная туча, омрачавшая первые часы его славного царствования, только рельефнее оттенила последующие полные света долгие дни благоденствия России под скипетром «Незавенного».

Туча рассеялась... Взошло солнце... ещё ярче, ещё лучезарнее... Пронеслась легкая гроза... Атмосфера, сгущенная парами гнилого Запада, очистилась.

Россия вздохнула свободно.

# Х

## Новый Каин

На дворе стоял январь в начале нового 1826 года. Год этот, после рокового декабря 1825 года, канувшего в вечность, был встречен благоразумным большинством в России с облегченным вздохом.

Кровавое событие на Сенатской площади за истекшие две-три недели с каждым днем теряло, даже в глазах современников, значение выдающегося исторического факта, а лишь приобретало окраску незначительного эпизода — безумной выходки нескольких безумных голов.

Заговор, говоря языком официальным, был потушен при первом вылившемся наружу языке пламени, полное спокойствие воцарилось в империи. Оно явилось как бы реакцией, сопровождая несколько бурное воцарение императора Николая Павловича, а твердая рука царственного вождя России ручалась за продолжительность этого спокойствия.

К этому облегченному вздоху нашего оте-



чества присоединились рыдания и слезы родственников арестованных безумцев, которых ожидала строгая и вполне заслуженная кара.

О них плакали как о нравственно умерших, и даже самые близкие им люди не присоединяли к этому плачу жалобы на быстроту предпринятых со стороны правительства мер, на строгость назначенной кары.

Кара эта завершилась, молчаливо и единогласно одобренная Россией.

Мы умышленно опустили завесу на происшествия 14 декабря и не вошли в подробности изложения массы, в этот, печальной памяти, исторический день, одного за другим сменившихся событий.

Официальные, или, если можно так выразиться, протокольные источники произведенного следствия видят главными виновниками вспыхнувшего за несколько часов заговора представителей нашей армии, мы же полагаем, что эти «представители» только явились олицетворением русской пословицы: *«В семье не без урода»*, — и никакого отношения к общему настроению русской армии того времени иметь не могли, что красноречиво

доказывается быстрым подавлением «безумного дела» тою же, всегда преданной престолу армиею. Только несколько человек вожаков действовали сознательно, если это слово применимо к «делу безумия», остальная же военная и народная толпа была вовлечена в активную роль путем грубого обмана, благодаря своему легковерию.

День этот не может бросить ни малейшей тени на полную блеска и света историю нашей всегда верной царю, отечеству и долгу армии, как темные пятна на солнце не могут помешать его лучезарному блеску.

В задачи нашего повествования не входят вопросы по исторической патологии, к какой, несомненно, должно быть отнесено, как иноземный нарост на здоровом русском теле — событие 14 декабря 1825 года.

В самый день Крещения, 6 января, часу в седьмом вечера, из одного из грязных трактиров на Сенной площади вышел человек, одетый в почти новый дубленый полушубок и сдвинутую на самые глаза мерлушечью шапку, остановился на минуту в дверях трактира, блок которых ещё продолжал издавать рез-

кий скрип, как бы в нерешительности, куда ему идти, и пошел, видимо, наудачу, вправо, как-то крадучись и озираясь по сторонам.

На Сенной было сравнительно пустынно, её всегда так провожали святки в трактирах и кабаках, из отворявшихся дверей которых слышался пьяный шум, доказывавший, что там идет разливное море веселья.

Вышедший медленно, по всем признакам бесцельно, направился по Садовой к Невскому проспекту, где, смешавшись с толпой гуляющих, пошел к адмиралтейству, но не доходя его, свернул направо по Морской и вышел под арку главного штаба.

Пройдя её, он остановился, прислонившись к одному из её выступов.

Перед ним расстилалась Дворцовая площадь.

Незнакомец на минуту вышел из-под тени арки. Лунный свет ударил ему в лицо. Он как бы боязливо попятился и снова скрылся в тени.

Этой минуты было достаточно, чтобы узнать в исхудалом, обросшем жесткими волосами лице Василия Васильевича Хрущева.

С рокового дня 14 декабря, когда он по назначению членов «Союза благоденствия» — какую злою ирониею звучало в это время это название — должен был с некоторыми из своих сотоварищей изображать «бунтующий народ», вел несчастный, к ужасу своему прозревший в самый момент начала безумного, братоубийственного дела, скитальческую жизнь — жизнь нового Каина.

И теперь, прислонившись к выступу арки главного штаба и глядя на освещенные окна дворца и искрящуюся под кротким светом луны белоснежную площадь, переживал он снова виденные им более трех недель тому назад картины.

Вот он видит царственную фигуру императора Николая Павловича, выходящего без шинели одного на площадь к толпам народа, среди которого по тяжелой, невыносимо тяжелой, как кажется ему теперь, обязанности заговорщика находился и он, Хрущев.

Народ окружил царя.

— Читали вы мой манифест? — отдается в ушах Хрущева заданный государем народу вопрос и слышится ему затем протяжное, с

расстановкой чтение государем этого манифеста.

Вот толпа сдвинулась, сплотилась вокруг монарха, и множество голосов закричало, что не допустят до него никого, разорвут всех на клочки, не выдадут его.

Два человека в партикулярном платье, с георгиевским крестом в петлицах, подходят к государю.

— Мы знаем, государь, что происходит в городе; но мы старые раненые воины и покуда живы, вас не коснется рука изменников! — припоминает Василий Васильевич слова этих доблестных сынов отечества.

Другие из народа хватали руки царя, фалды его мундира, падали на землю, целовали его ноги.

Русский народ вполне выказал тут врожденную царелюбивость, то святое патриархальное чувство, которым искони сильна наша Русь.

Но при первом слове царя: «Ребята!» — это всколебавшееся море опять успокоилось и сделалось тихо и неподвижно.

— Ребята, — сказал государь, — я не могу

поцеловать вас всех, но — вот за всех!

Николай Павлович обнял и поцеловал ближайших, так сказать, лежавших у него на груди, и несколько секунд в тишине смолкших тысяч слышались только поцелуи.

Народ свято делил между собой поцелуи царя.

Этот звук царственного поцелуя болезненно отозвался в душе Хрущева, и как тогда, так и теперь, вызвал на его глазах горячие слезы.

В его душе проснулся тогда русский человек, понявший всю пропасть своего падения. Первою мыслью его было броситься к ногам этого монарха-отца и молить, подобно блудному сыну, о прощении, но его грех показался ему настолько великим, неискупимым, что тяжесть его парализовала все его чувства, и он дал себя увлечь стоявшему рядом с ним Якубовичу.

Василий Васильевич долго стоял с устремленными на площадь глазами, из которых текли по исхудалым щекам горячие слезы.

Затем, как бы очнувшись от тяжелого сна, он медленно отправился по направлению к Сенатской площади, к памятнику Петра Вели-

кого.

Здесь, облокотившись на гранитную глыбу, служащую пьедесталом памятника, Хрущев стал снова воспроизводить в уме своем роковые картины.

Особенно рельефно восстала в его памяти картина убийства графа Милорадовича, одного из героев войны 1812 года. Заговорщик Каховский выстрелил в генерала в упор из пистолета, а другой заговорщик ударил его штыком в спину. Граф, смертельно раненный, упал на руки своего адъютанта.

Раздался ружейный залп.

Этот залп был последним воспоминанием Василия Васильевича. Какое-то горькое чувство презрения к самому себе охватило его. Он, не поднявший ни на кого руки, уже сделался братоубийцей. Это роковое сознание тяжёлым свинцом залегло в его мозгу.

«Каин, где брат твой Авель?» — неслось, казалось ему, по его пятам.

Это ещё более ускоряло его бег. Он бежал уже прямо по льду Невы. Вдруг ему бросилась в глаза зимовавшая полуразрушенная барка.

Он вскочил в неё и, забравшись в уцелев-

шую каюту, как сноп бросился на лежавшую в углу промерзлую солому.

«Каин, где брат твой Авель?» — продолжало звучать в его ушах.

И теперь, стоя у памятника Петра Великого, Хрущев вздрогнул всем телом, и в ушах его снова раздался этот роковой вопрос.

С поникшею головой он отправился к спуску на Неву, и затем вдоль реки по льду к той самой барке, где он провел весь день 14 декабря и где с тех пор скрывался более трех недель. Зачем скрывался он? Что мешало ему явиться и понести кару за свое преступление, кару справедливую, которую уже понесли его недавние сообщники по преступлению. Разве им, даже приговоренным к смерти, не было легче, чем ему? О, конечно, легче, неизмеримо легче — в этом не могло быть сомнения. Что же останавливало его разделить их участь?

Эти вопросы во время тяжелых дней и бессонных ночей не раз задавал себе сам Василий Васильевич.

Ему казалось, что эта-то сравнительная легкость наказания с громадностью совер-



шенного им преступления и останавливала его. Он сам наказывал себя более страшно, более жестоко.

Кроме того, его останавливала ещё одна страшная, роковая мысль. Что если, когда он явится с повинной, ему придется увидеть государя.

Царственный поцелуй, слышанный им на Дворцовой площади, звучал в его ушах — волосы его поднимались дыбом.

Лицемерие царя для него, преступника-братоубийцы, казалось ему такою страшною непереживаемою минутой, что холодный пот выступал на его лбу и нервная дрожь охватывала все его члены.

Он избегал смотреть в глаза даже незнакомым, встречавшимся с ним людям, он говорил с людьми в течение этих трех недель только по необходимости. Ему казалось, что каждый, глядевший на него, узнает в нем преступника, что каждый брезгливо сторонится от него, что на его лице лежит именно та печать «древнего Каина», которая по воле карающего Бога мешала первому встречному убить «братоубийцу».

Хрущев вскоре достиг своего убежища — барки, вошел в каюту. Лунный свет слабо проникал в замерзшее маленькое окошко и освещал убогое помещение. Соломы в углу, служившей постелью, было довольно много — Василий Васильевич собрал её в других частях барки, было даже несколько незатейливой глиняной посуды, кружка, горшки, словом, каюта, за эти проведенные в ней несчастным молодым человеком дни, приобрела некоторый вид домовитости.

Усталый и нравственно, и физически, Хрущев лег на свое жесткое ложе и устремил свой взгляд на замерзшее окно, на льдинках которого лунный свет переливался всеми цветами радуги.

# XI

## По заповеди

Василию Васильевичу не спалось, несмотря на то, что он давно успел привыкнуть к своему убогому ложу в не менее убогом жилище.

Вид затейливо замерзшего окна каюты барки навел его на размышления о далеком прошлом. Он вспомнил свое детство, свою кузину Мери, как звал он когда-то Марью Валерьяновну Хвостову. Живо представилось ему её милостивое, детское личико с широко раскрытыми глазами, слушавшее рассказы старой няни, повествовавшей о доброй фее, рисовывающей зимой окна детской послушных девочек искусными и красивыми узорами.

Как живая, стояла она перед ним сперва ребенком, затем взрослой девушкой, такой, какая она была в тот роковой день, когда он видел её последний раз в доме её матери.

Где-то она теперь? Счастлива ли? Довольна ли? Ужели никогда-никогда нам не сужде-

но уже встретиться?

Этот вопрос перенес мысли Хрущева на будущее.

Что ожидало его в будущем?

Эта мысль с момента бегства его с Сенатской площади почему-то совершенно не приходила ему в голову.

Теперь он вдруг стал всесторонне, настойчиво обдумывать этот вопрос, как бы наверстывая потерянное время.

Будущее! Да есть ли для него это будущее? Его, несомненно, считают мертвым, да и на самом деле, он заживо похоронил себя в этой ужасной барке.

Эти три недели ему казалось, что это единственный исход в его положении, что иначе поступить ему было нельзя, что этим он навеки ушел от людей, скрылся, исчез бесследно, навсегда, что будущего нет совсем и нечего о нем и думать.

Теперь же, когда эта мысль о будущем пришла ему в голову, все изменилось в его мыслях: он сразу как бы понял то, что в нормальном состоянии должен был бы понять давно. Он понял, что долго в таком положении он

быть не может, что каждый день могут прийти разбирать полуразрушенную барку и лишит этим его крова.

Куда пойдет он?

«Надо умереть!» — мелькнула в голове его мысль.

— Умереть! — повторил он даже вслух и вдруг ему стало невообразимо жутко. Он окинул взглядом свою маленькую каморку и ему показалось, что это и есть его гроб, что здесь он похоронен, зарыт, похоронен заживо, когда ему хочется жить. Стены гроба давят его, ему тяжело дышать, члены онемели, ему хочется двинуться — он не может приподняться — не в состоянии. Он умер, а жить ему хочется. О, как хочется ему жить. Где его мать? Где она, Мери? Никого нет! Он один, один в тесном гробу. Все кончено. Выхода нет.

Василий Васильевич напряг все свои усилия, вскочил на ноги и бросился из каюты. Он выскочил на барку, спрыгнул на лед реки и побежал, не зная сам куда и зачем. Ветер бил ему в лицо, поднималась вьюга — небо заволкло тучами, ноги порой до колен утопали в снегу, но он, видимо, не обращал на это вни-

мания и бежал все быстрее и быстрее.

Происшествие 14 декабря не коснулось обитателей коричневого домика на 6 линии Васильевского острова ни прямо, ни косвенно. Знакомство с заговорщиками, прерванное своевременно, не отразилось ни на служебной карьере Антона Антоновича фон Зеемана, ни на жизни его друзей Зарудина и Кудрина. Арестованные деятели кровавой политической трагикомедии не назвали даже по имени людей, которые предостерегали их и отговаривали от исполнения безумного плана. Первое время наши трое друзей ожидали приглашения в следственную комиссию, но ожидали совершенно спокойно, так как могли явиться пред лицом властей с вполне чистой совестью. Время шло, а вызова не было. Лидочка и Наталья Федоровна волновались гораздо более, но мало-помалу тоже успокоились и даже в вечер Крещенья решили устроить елку для маленького Тони.

Был двенадцатый час ночи. Елка, стоявшая посреди залы, давно потухла, а сам виновник миновавшего празднества спал безмятежным сном в детской, сладко улыбаясь

во сне, как бы переживая приятные тревожные вечера.

В гостиной, несмотря на поздний час ночи, сидели хозяин с хозяйкой, графиня Аракчеева и Зарудин с Кудринным.

Лица эти, связанные такою долгою дружбою и общностью чисто частных интересов, вели оживленную беседу, которая была прервана вбежавшей прислугой, горничной Лидии Николаевны.

— Барыня, у наших ворот лежит упокойник! — испуганно проговорила она.

— Что-о! — поднялись все с места.

— Упокойник у наших ворот лежит! — повторила горничная.

— Какой покойник, что ты болтаешь? — раздраженно произнес Антон Антонович, бросив тревожный взгляд на побледневших, как полотно, жену и Наталью Федоровну.

— Сейчас умер — правда, Иван пошел запереть калитку, а он около неё и есть, я и сама бегала смотреть и другие.

— Пусть Иван зажжет фонарь и идет за ворота, я пойду посмотрю сам... — отдал приказание горничной Антон Антонович.

— Пойдем все вместе, нам и по домам пора! — заметил Кудрин. — Не так ли? — обратился он к Николаю Павловичу.

— Давно, дружище! Засиделись. Но надо прежде посмотреть, что это за несчастный, нельзя ли помочь ему.

— Это само собою.

Мужчины отправились в переднюю, оделись и вышли на улицу.

Там уже стоял дворник с фонарем в руке, полуосвещая лежавшего неподвижно ничком человека.

Зарудин наклонился к лежавшему и дотронулся рукой до открытой шеи.

— Он не мертвый, тело теплое, вероятно, просто пьяный.

Дворник принялся после этого замечания расталкивать лежавшего.

— Эй, ты, земляк, поднимайся, да ступай своею дорогою... неча здесь зря прохлаждаться, — приговаривал он.

Лежавший не шевелился.

Наконец, дворник перевернул его навзничь. Свет от фонаря ударил ему в лицо. Зарудин, Кудрин и Зеeman в ужасе отступили.



— Хрущев! — почти в один голос воскликнули они.

— Как он попал сюда! И в таком виде? Я слышал, что он убит! — слышались догадки.

— Однако, надо внести его в комнаты. Может, удастся привести в чувство... тогда все объяснится само собою, — заметил Антон Антонович.

Все трое подняли бесчувственного Хрущева на руки и понесли в дом.

Дворник и другая, выбежавшая за ворота, прислуга с немым удивлением смотрели на казавшуюся им чрезвычайно странной барскую затею — внести в чистые горницы пьяного проходимца. Что он был пьян — они ни капли не сомневались после слов Николая Павловича.

Фон Зееман поместил его в своем кабинете, где на широком диване наскоро приготовили постель, на которую, раздев, уложили Василия Васильевича.

Теплота комнаты и нашатырный спирт сделали свое дело — Хрущев пришел в себя, открыл глаза и обвел комнату и присутство-

вавших помутившимся, бессмысленным взглядом.

Он не узнал никого и вскоре снова впал в забытье.

— У него горячка, — заметил Антон Антонович, дотрагиваясь до лба лежавшего.

Как бы в подтверждение его слов, у больного начался бессвязный бред. Фраз понять было нельзя, слышны были только отдельные слова: государь, Мери, Каин, Авель.

— Поедем, Кудрин, и по дороге завернемся к доктору и пришлем его сюда, — сказал Николай Павлович, и оба друга стали прощаться, как с Антоном Антоновичем, так и с только что вошедшими в кабинет Лидочкой и Натальей Федоровной, которым Антон Антонович рассказывал, как он был поражен, узнав в лежавшем у ворот их дома бесчувственном человеке, принятом им за пьяного, Василия Васильевича Хрущева.

— Он ведь был с ними... — сделав ударение на последнем слове, испуганно заметила Лидочка, переводя беспокойный взгляд с лежавшего в забытии Хрущева на мужа.

— С кем бы он ни был, матушка, но не уми-

рать же ему на улице... — раздражительно ответил ей последний.

Наталья Федоровна одобрительно кивнула головой.

— Бедный, как он страдает! — с глубоким вздохом сказала она.

Больной тяжело и прерывисто дышал, продолжая бредить.

Только через два часа приехал, наконец, присланный Зарудиным его, знакомый доктор, которому он сказал, что у его друга фон Зеемана заболел приехавший погостить изда-лека родственник.

Доктор осмотрел больного и покачал головой.

— Что с ним? — с тревогой в голосе спросила Наталья Федоровна.

— Нервная горячка, сударыня, да такая, что не пожелаешь злему лиходею! С ним, вероятно, произошло что-нибудь ужасное. Вы не знаете, что именно?

Наталья Федоровна смутилась.

— Нет, положительно не знаю.

— Он получил неприятное известие из до-му... — выручил её Антон Антонович.

— А-а-а... — протянул доктор и сел писать рецепты.

Крупная ассигнация, перешедшая незаметно в его руку из руки фон Зеемана, видимо, совершенно удовлетворила любопытство эскулапа.

— Придется поехать к вам недельку-другую, возни много будет... — заметил он, прощаясь.

— Пожалуйста! Я хотел только что просить вас об этом... — сказал Антон Антонович. — Он опасен?

— Н-да... — прогнусил внушительно доктор... — Главное — тщательный уход.

— Уход будет... — заметила Наталья Федоровна таким решительным тоном, что фон Зеeman вопросительно посмотрел на неё.

Доктор уехал.

— Я буду сама ухаживать за ним, — заявила Наталья Федоровна Лидочке и Антону Антоновичу.

— Зачем же сами? — возразил последний. — Пусть дежурит около него поочередно одна из горничных.

— Нет, нет, разве можно положиться на

них. Я вам сказала, что я буду сама, и мое решение непоколебимо.

— В таком случае, я буду чередоваться с вами... — заметила Лидочка.

Антон Антонович бросил на жену взгляд, полный восторженной любви.

— Это доброе дело! — согласилась Наталья Федоровна и, взяв за талию Лидочку, привлекла её к себе и крепко поцеловала.

Больной слабо застонал и начал делать движения пересохшими от жара губами.

— Ему хочется пить, — заметила Наталья Федоровна, — распорядись, Лидочка, чтобы приготовили лимонаду.

Лидочка быстро вышла.

— Надо узнать стороной, насколько он скомпрометирован, поехать к нему на квартиру, привезти белье, платье и разузнать, давно ли он отлучился из дому... — обратилась Наталья Федоровна к фон Зеemannу.

— Да, да, непременно, я постараюсь исполнить это завтра же... Бедный, если он и выздоровеет, то не на радость, ему предстоит хотя справедливое, но все же тяжелое наказание. Уж лучше пусть умрет!

— Что вы говорите! Пусть живет. Он молод, он может сторицею искупить свое безумное заблуждение верноподданной службой царю и отечеству... — горячо возразила Наталья Федоровна.

— Но кто решится ходатайствовать за него. Он из тех, злодейство которых так гнусно, что для них казнь — милость.

— Он ещё совсем мальчик, а просить за него буду я.

— Вы?!

— Да... я! Сегодня первый раз в жизни я благословляю небо, что я... графиня Аракчеева!

## ХII

### Сестра милосердия

Доктор не ошибся. Около двух недель Василий Васильевич Хрущев находился между жизнью и смертью.

Графиня Наталья Федоровна Аракчеева, верная своему слову, почти день и ночь не отходила от постели больного. Она даже неохотно позволяла себе сменять изредка Лидию Николаевну, тем более, что на здоровье последней обязанности сестры милосердия оказывали пагубное действие. Бессознательный бред больного, горячечные пароксизмы, в связи с продолжавшимся беспокойством, что в их доме нашел себе приют один из «них», как она в третьем лице называла заговорщиков, и боязнь, чтобы это не отразилось на личности боготворимого ею мужа, сделали то, что нервы молодой женщины окончательно расшатались.

Наталья Федоровна, между тем, как бы совершенно забыла, кто лежит перед ней, она видела в Хрущеве только беспомощного,

опасного больного человека — брата, если не спасти жизнь которого, то хотя облегчить страдания было обязанностью каждого христианина.

Прислушиваясь ежедневно и еженощно к отрывочному, бессвязному, казалось, бреду горячечного, Наталья Федоровна чутким сердцем почти поняла всю предшествующую поступлению в заговорщики жизненную драму молодого человека.

Ей было ясно, что он бросился в море безумных политических треволнений вследствие безнадежной любви, вследствие безвозвратной потери им любимой девушки, стереть образ которой из своего любвеобильного сердца он не мог, даже переживая страшные минуты сознания своего гнусного преступления.

Все это душою поняла Наталья Федоровна, и Василий Васильевич Хрущев стал ей родным по сердцу, по страданиям... Разве этот кабинет — бывший кабинет её отца — не был свидетелем потери и её любимого человека, потери, когда она сама пожертвовала им, любящим, во имя долга дружбы, во имя желания



принести пользу человечеству? Это казалось Наталье Федоровне легче, нежели быть отвергнутым любимым существом, не чувствовать взаимности любви, а напротив, видеть, что это существо любит другое лицо, с ним ищет то житейское счастье, которым бы так хотелось окружить его. Эти страдания невыносимы — это понимала Наталья Федоровна, хотя никогда в жизни не испытала их.

С нескрываемым беспокойством следила она за ходом болезни, и сам доктор приписывал нормальность этого хода тщательным и непрерывным попечениям самоотверженной и идеальной сестры милосердия, как он не раз называл Наталью Федоровну.

Василий Васильевич, наконец, пришел в себя.

Удивленным, но совершенно сознательным взглядом обвел он незнакомую ему комнату, и этот взгляд встретился с полным неземной доброты и участия взглядом Натальи Федоровны.

— Где я? — прошептал больной.

— У друзей! — отвечала графиня.

— Как я попал сюда; когда? — заволновал-

ся Василий Васильевич.

— Успокойтесь, вам вредно волнение, я расскажу вам, что знаю... — поспешила перебить больного Наталья Федоровна и в коротких словах рассказала ему, как его бесчувственного нашли у ворот их дома и как уже около трех недель он находится под кровлею дома Антона Антоновича фон Зеемана.

Узнав, что он находится в доме своего начальника, в доме фон Зеемана, Хрущев весь вспыхнул.

Это была краска стыда от воспоминания о том, что несколько месяцев тому назад он отшатнулся от того же фон Зеемана, называл его отсталым обскурантом и вместе со своими недостойными товарищами глумился над ним, над его трусостью, эгоизмом, нерешительностью принести в жертву свои личные интересы пресловутому общему делу.

А этот эгоист, между тем, спас его от смерти, приютил у себя в доме, не выдал как гнусного преступника, каким он, Хрущев, признавал самого себя.

Антон Антонович успел стороной узнать о положении дела нашедшего в его доме себе

приют заговорщика. Хрущев оказался, хотя и не особенно скомпрометированным, ни показаниями остальных обвиняемых, ни найденными и арестованными бумагами и перепиской заговорщиков, но участие его в заговоре не было тайной; не было тайной и то, что он, переодетый, был 14 декабря на Сенатской площади, но проявил ли он чем-нибудь ещё большим свою преступную деятельность — об этом не знали. Его считали убитым, или пропавшим без вести и не особенно беспокоились его розысками, хотя квартиру его опечатали, так что добыть какие-либо вещи из неё было затруднительно без разрешения властей.

Антону Антоновичу ничего не оставалось делать, как обратиться к этим властям и рассказать, каким образом судьба столкнула его с Хрущевым, который лежит опасно больной в его доме.

Власти нашли возможным оставить его до выздоровления на поруках у фон Зеемана и разрешили взять белье и платье из его квартиры, что Антон Антонович и исполнил.

Таким образом, отбытие наказания и са-

мый арест Василия Васильевича были отсрочены на неопределенное время, но в случае его выздоровления на Антоне Антоновиче лежала тяжелая обязанность представить его куда следует.

Фон Зеeman, конечно, сообщил все подробности своих визитов и хлопот за Хрущева своим домашним и друзьям, и все единогласно одобрили его действия и питали лишь надежду, что наказание молодому человеку будет назначено сравнительно с другими его сообщники более легкое.

Избавить его от этого наказания никому и не приходило в голову — его преступление было из таких, которые вопиют о наказании.

Одна Наталья Федоровна не соглашалась со своими друзьями, что было большою редкостью, и находила, что несчастный достаточно наказан. Она не умом, а скорее сердцем поняла те нечеловеческие страдания раскаяния, которые вынес Хрущев и которые привели его к жестокой нервной горячке.

Это было ещё до дня счастливого перелома в болезни молодого человека.

С того дня, когда он очнулся и сказал

несколько слов, выздоровление его пошло быстрее; через несколько дней он уже мог разговаривать, хотя и не долго, так как его это утомляло.

Наталья Федоровна с присущим ей умением и нежным тактом занимала его рассказами, не касаясь больных струн его сердца.

Больной всеми силами своей души привязался к своей спасительнице и с каким-то восторженно-молитвенным выражением глядел на её все ещё прекрасное, хотя уже сильно поbledшее лицо, сохранившее выражение почти девической непорочности и дышавшее неизмеримой добротой и тою высшей любовью к людям, которая озаряет лица каким-то почти неземным светом. Взгляд её «святых» глаз проникал в его душу.

Эта душа невольно раскрылась и Василий Васильевич в течение нескольких дней исповедывался перед графиней Аракчеевой во всех совершенных ими преступлениях.

Слезы искреннего раскаяния то и дело крупными каплями лились из его глаз, но это не волновало его. От этих слез ему, казалось, делалось легче.

С мельчайшими подробностями рассказал он ей свою жизнь в Москве, свою любовь к Марье Валерьяновне Хвостовой, брат которой служил в военных поселениях графа Аракчеева и пропал без вести, дуэль с Зыбиным, бегство Хвостовой из родительского дома, свой приезд в Петербург и, наконец, роковое сознание участия в братоубийственном деле, охватившее его на Сенатской площади, его бегство и жизнь в полуразрушенной барке.

— Но каким образом вы попали к нашим воротам? — спросила взволнованная рассказом Наталья Федоровна. — Это перст Божий!

— Я и сам это думаю... Но зачем было меня спасать от смерти, я все равно погиб! — заметил он, после некоторой паузы, дрогнувшим голосом.

— Зачем погибать... Если Бог спас вас, то затем, конечно, чтобы вы искупили тяжкий грех свой перед Ним и Его помазанником.

— О, если бы мне дали эту возможность! — восторженно воскликнул Хрущев. — До последней капли крови я был бы весь всецело предан лишь моему государю и Отечеству.

— Как знать! Государь милостив и, глав-

ное, человек редкой, высокой души! — заметила Наталья Федоровна.

— Грех, в котором человек искренно раскается, не грех, отнимающий всякую надежду на спасение... — серьезно сказала графиня. — Вспомните слова писания: «Не праведных пришел я спасти, а грешных...»

Василий Васильевич недоверчиво покачал головой.

— А как звали этого Хвостова, который служил у моего мужа? — с видимым желанием переменить разговор, спросила Наталья Федоровна, заметив, что больной впал в зловещую задумчивость.

— Петр Валерьянович!

— За что же его постигла такая печальная участь?

Хрущев передал графине те сведения, которые Ольга Николаевна Хвостова получила в Новгороде и Грузине, во время своих безуспешных поисков канувшего, как ключ ко дну, сына.

— А-а-а!.. — протянула Наталья Федоровна.

В кабинет вошли Лидочка и Николай Павлович Зарудин. Разговор сделался общим.

Время шло.

Василий Васильевич Хрущев хотя медленно, но все-таки с каждым днем значительно поправлялся.

День, в который ему надобно будет явиться перед следственной комиссией, уже кончавшей дело об остальных преступниках, приближался.

Антон Антонович фон Зеeman, когда Хрущев уже почти окончательно окреп и даже стал ходить по кабинету, с полной откровенностью рассказал ему о своих хлопотах и о возложенной на него печальной обязанности представить его по выздоровлении по начальству.

Василий Васильевич принял это известие совершенно спокойно, горячо благодарил Антона Антоновича за участие и рассыпался в извинениях за причиненное беспокойство.

— Меня давит мое преступление, я и без того сам бы явился, чтобы понести наказание; мне кажется, что мне будет легче, хотя бы я был приговорен к смерти.

— Нет, этого не будет... Государь чрезвычайно милостив к осужденным... — стал было



утешать Хрущева фон Зеeman.

Тот, казалось, не расслышал его.

— Хотя бы даже и был приговорен к смерти! — задумчиво повторил он, как бы взвешивая каждое слово.

Прошло уже около двух месяцев. Василий Васильевич окончательно оправился и уже выходил в другие комнаты.

Однажды к утреннему чаю Наталья Федоровна вышла одетая в дорожное платье, села к столу и начала наскоро пить чай, приказав своей горничной приготовить ей шляпку и перчатки.

— Лошади поданы? — спросила она, когда та принесла требуемое.

— Куда вы едете так рано? — спросил Антон Антонович.

— К мужу... к графу Аракчееву.

Фон Зеeman, Лидочка и Хрущев были поражены этим ответом. Графиня, не дожидаясь и как бы избегая их расспросов, вышла из-за стола, оделась и уехала.

### XIII

## Пред судом самого себя

Граф Алексей Андреевич Аракчеев с конца ноября 1825 года, то есть с того времени, когда в Петербурге было получено известие о смерти императора Александра Павловича, находился почти безвыездно в Петербурге.

Это знал весь Петербург, и даже в придворных сферах подсмеивались, как быстро излечился он от тяжелого горя — потери своей любовницы, чуть узнав о смерти своего благодетеля-государя и почувствовал, что его власти приходит конец.

Немногие знали о своеобразном утешении его Клейнмихелем, сильно подействовавшим на «железного идеалиста», каким по натуре своей был, несомненно, граф Алексей Андреевич, и о ночной процессии ко гробу Минкиной.

Смешки, впрочем, оставались смешками, а во внутреннее «я» графа Аракчеева никто проникнуть не хотел; да если бы у кого и явилось подобное желание, то он едва ли сумел

бы — Алексей Андреевич был загадкой даже для близких к нему людей, чем объясняются многие, почти легендарные рассказы о нем современников.

Его почти постоянное присутствие в Петербурге, его почти затворническая жизнь в доме на Литейной улице, совпавшая с временем, следовавшим за неожиданною катастрофою в Таганроге, далеко, вопреки злорадствующим намекам, не объяснялись страхом со стороны графа Аракчеева потери власти.

Такого страха, прежде всего, он не мог ощущать, так как хорошо сам знал себе цену как государственного деятеля, знал расположение к себе обоих великих князей Константина и Николая Павловичей — наследников русского престола, опустевшего за смертью Благословенного, и следовательно за положение свое у кормила власти не мог опасаться ни минуты.

Печальное происшествие 14 декабря, которое он своим зорким взглядом провидел в течение десятка лет и старался предупредить, уничтожив в корне «военное вольнодумство», как он называл укоренявшиеся в среде

русского войска «идеи запада», но находя постоянный отпор в своем государе-друге, ученике Лагарпа, сделало то, что люди, резко осуждавшие систему строгостей «графа-солдата», прозрели и открыто перешли на его сторону. Звезда его, таким образом, перед своим, как мы знаем, случайным закатом, блестела ещё ярче.

Наконец, настроение Алексея Андреевича после грузинской катастрофы и пережитых треволнений было далеко не из таких, чтобы он даже мог думать о власти. Последняя тяготила его, и он совершенно искренно не раз говорил своим приближенным, что его многочисленные обязанности ему уже не по силам, что ему надо отдохнуть, удалиться от дел, и только любовь к своей родине не позволяет ему сделать этого.

— Цесаревич, великий князь Константин Павлович, мягок и добр по натуре, вспыльчив, но быстро отходчив, — говорил граф Аракчеев, — он сам всегда сознавался, что не создан для верховной власти, для тяжелой и ответственной службы русского государя, и это главная причина его отречения. Покой-

ный мой благодетель сознавался не раз в том же самом, а потому и дорожил мною, моими советами, он знал хорошо цесаревича, и его заветною мечтою было передать престол Николаю Павловичу. «Вот сильный ум и мощная рука!» — говаривал он мне про него. Брат Николай, как и ты, воплощенная служба. Таков должен быть русский царь!

К великому князю Николаю Павловичу граф Алексей Андреевич относился с восторженным благоговением. Он казался ему идеалом русского самодержца. Хладнокровный, настойчивый, прямой в своих действиях, неуклонный в достижении своей цели — все эти качества великого князя приводили в восторг Алексея Андреевича.

«Жизнь есть служба! — любил повторять граф. — Великий князь Николай Павлович, — добавлял он по обыкновению, — совершенно разделяет мое мнение. ещё в молодости, после войны двенадцатого года, раз во время царскосельских маневров он сказал мне замечательные слова, которых я не забуду пока жив. Я записал их слово в слово и выучил наизусть, как катехизис».

В то время, когда войска шли в атаку мимо государя, а я стоял рядом с его высочеством, он вдруг обратился ко мне: «Знаешь ли, Алексей Андреевич, я говорю это тебе, так как знаю, что ты совершенно поймешь меня. Здесь, между солдатами, посреди этой деятельности, я чувствую себя совершенно счастливым. Здесь порядок строгий, решительная законность, нет умничания и противоречия, здесь все одно с другим сходится в совершенном согласии. Никто не отдает приказаний, пока сам не выучится повиноваться; никто без прав друг перед другом не возвышается, все подчинено определенной цели, все имеет значение, и тот самый человек, что сегодня делал государю по команде на караул, завтра идет на смерть за него. Здесь не помогает нелепое притворство, потому что всякий должен рано, или поздно показать, чего он стоит, ввиду опасности и смерти. Оттого-то мне так хорошо между этими людьми, и оттого у меня военное звание всегда будет в почете. В нем повсюду служба, и самый главный командир тоже несет службу. Всю жизнь человеческую я считаю ничем иным, как службою: всякий

человек служит. Многие, правда, служат страстям своим, а солдат менее всего может служить страстям своим, даже наклонностям своим. Отчего на всех языках есть слово богослужение? Это не случайное явление, тут есть глубокий смысл. Человек должен весь, как есть, нести службу Богу, без лицемерия, без всяких условий. Если бы на свете каждый нес только ту службу, какая выпала ему на долю, всюду были бы тишина и порядок; и когда бы от меня зависело, подлинно, не было бы на свете никакого беспорядка, ни даже нетерпения. Посмотри, вон идет на смену караул: до обеда уже немного осталось, но ещё не пришел час, и они идут не евши, и останутся на часах не евши, пока их не сменят. И ведь никто не жалуется. Служба! Так и я стану нести свою службу до самой своей смерти и не перестану заботиться о храбром солдате».

Слезы неподдельного восторга всегда катились из глаз графа Аракчеева, когда он повторял эти слова великого князя. Со вступлением его на престол, Алексей Андреевич видел возможность для себя удалиться от дел — судьба горячо любимого им отечества была, по его

мнению, в надежных руках.

Но государь Николай Павлович, как мы знаем, ценил заслуги помощника своего покойного венценосного брата и далеко не имел желания отпустить его на отдых.

Таким образом, слухи о боязни графа за власть были более чем преувеличены.

Он не возвращался надолго в Грузино даже после того, когда после 14 декабря спокойствие столицы было восстановлено и все вошло в свою обычную колею совершенно по другим причинам.

Не государственные работы удерживали его в Петербурге, а кропотливая и тяжелая работа над самим собою, над анализом собственного «я», которое было совершенно забыто графом в течение десятков лет в шумном водовороте службы государству.

Граф Аракчеев в тиши своего угрюмого, пустынного дома и не менее угрюмого и пустынного кабинета судил самого себя.

Суд этот был, как и его суд других, строгий, неумолимый!

Алексей Андреевич весь ушел в воспоминания прошлого, в воспоминания своей част-



ной жизни, своих отношений к близким к нему людям.

На первом плане этих воспоминаний, конечно, стояла покойная Настасья Федоровна Минкина.

Эта женщина, посвятившая ему более половины своей жизни, более четверти века бывшая около него в роли преданной собаки! Чем он платил ей за эту преданность! Он давал ей кров, поил, кормил, дарил её, ласкал... но достаточно ли этого?

Над этим вопросом граф первый раз в жизни серьезно задумался.

«Я ласкал её, — продолжал рассуждать сам с собой граф, — но только тогда, когда у меня было свободное время, было желание, разве я мог разделять страсть этой огненной по натуре женщины, не естественно ли, что она изменяла мне?»

Алексей Андреевич решил этот вопрос утвердительно.

«Она обманула меня своей беременностью, она, наконец, совершила целый ряд преступлений, — граф вспомнил подробный и искренний рассказ Семидалова, — но какая бы-

ла цель этого обмана, этих преступлений?»

Он сам и отвечал на этот второй вопрос.

«Цель, несомненно, привязать меня сильнее к себе, скрыть от меня свои грехи, в которых большею частью виновата была её природа, пылкая, страстная, дикая...»

Так решил граф Аракчеев и начал припоминать все мелкие заботы, которыми окружала его эта женщина, угадывавшая его желания по взгляду, по мановению его руки... Даже устранение с его пути Бахметьевой, устранение, несомненно, преступное, но явившееся единственным исходом, чтобы избежать громкого скандала, в его глазах явилось почти доблестным поступком Минкиной... Из любви к нему она не останавливалась перед преступлениями!..

Перед духовным взором Алексея Андреевича восстал образ убитой и изувеченной Настасьи Федоровны. Разве не из-за того, что она строго исполняла его волю и блюла образцовый порядок в Грузии, она стала жертвою разнузданности холопов?

Эта мысль окончательно примирила графа с памятью покойной — он во всем обвинял

одного себя и с дрожью невыразимого отвращения припоминал ночную сцену надругания над единственным преданным ему существом — надругания, которого он был инициатором под первым впечатлением открытия, сделанного Клейнмихелем.

В тот день, когда граф пришел к такому выводу, он тотчас же сделал распоряжение возвратить в барский дом Таню, считавшуюся племянницей покойной Минкиной, сосланную им же сторяча на скотный двор. Девочке шел в то время четырнадцатый год. В том же письме Алексей Андреевич приказал взять из кладовой и повесить портрет Настасьи Федоровны на прежнее место.

Покончив с вопросом об отношениях своих с Минкиной, граф мысленно перенесся ко времени своей женитьбы и кратковременной жизни с женой.

Алексей Андреевич припомнил свою встречу с Натальей Федоровной Хомутовой в павильоне Ritter-Spiel'я на Крестовском острове, припомнил её миловидное, дышавшее невинностью личико, её почти детскую, хрупкую фигурку.

— Связался черт с младенцем! — со злобой прошептал он уже вслух.

За что, на самом деле, погубил он жизнь молодой женщины? Из-за своего каприза, чем единственно можно было объяснить этот брак. Он, один он, виноват в том, что женился на ней, и в том, что она покинула его. За истекшие почти двадцать лет Алексей Андреевич имел случай совершенно убедиться, что и живя с ним совместно, и во время долгой разлуки, графиня Аракчеева ничем и никогда не запятнала его чести, его имени. С омерзением вспомнил граф ту гнусную сплетню о Зарудине и его жене, пущенную его врагами и не подтвердившуюся ничем, и с ещё большим чувством гадливости припомнилась ему сцена в Грузине, когда Бахметьева своим сорочьим языком — Алексей Андреевич и мысленно назвал его «сорочьим» — рассказала невиннейший девический роман Натальи Федоровны и, воспользовавшись появившимся у него, мнительного и раздраженного, подзрением, в ту же ночь отдалась ему.

При воспоминании об этой безнравственной девушке из хорошего дворянского рода,

граф Аракчеев даже вздрогнул. Так гадко сделалось у него на душе.

Он, конечно, и не подозревал, что несчастная Екатерина Петровна была слепым орудием стоявшего за её спиною негодяя, поработившего её волю.

Он судил по фактам, а факты были против Бахметьевой.

И перед женой, этой второй, вызванной им в памяти, его обвинительницей, Алексей Андреевич оказался более чем неправым.

Этот-то продолжавшийся несколько месяцев процесс самоосуждения удерживал графа в Петербурге, в его доме, где он никого не принимал и откуда выезжал лишь по экстренным надобностям службы.

## XIV

### Муж и жена

В то утро, когда графиня Наталья Федоровна Аракчеева решила сделать с ней одной из известных целями, о которых Антон Антонович и Лидочка только догадывались, визит своему мужу, после восемнадцатилетней разлуки, в период которой у них не было даже мимолетной встречи, граф Алексей Андреевич находился в особенно сильном покаянном настроении.

Перед его духовным взором то и дело восставали не только те люди, которые были к нему близки, но даже и те, с которыми ему приходилось входить в те или другие продолжительные отношения. К числу последних припомнился графу и Петр Валерьянович Хвостов.

Он совершенно забыл о нем, иначе бы он давно уже облегчил его участь... Устранить его для пользы дела, дела великого — таким считал граф Аракчеев созданные им военные поселения — было необходимо, но на-

казание через меру не было в правилах Алексея Андреевича.

Он быстро начал писать что-то на лежавшем перед ним листке для памяти.

Дверь кабинета бесшумно отворилась, и на пороге её появился знакомый нам Петр Федорович Семидалов, бывший тогда дворецким петербургского дома графа.

Мягкою походкою он сделал несколько шагов и молча остановился в почтительном расстоянии от письменного стола, у которого сидел Алексей Андреевич.

Последний поднял голову и вопросительно-строгим взглядом оглядел вошедшего.

— Что надо?

— Её сиятельство графиня Наталья Федоровна Аракчеева желают видеться с вашим сиятельством!

— Что...о...о! — вскочил граф со стула, но тотчас бессильно упал на него и задумался.

Громовый удар из ясного неба не поразил был его более, чем этот доклад.

Петр Федорович в почтительном молчании стоял в своей прежней позе, не нарушая, казалось, даже дыханием задумчивости свое-

го господина.

— Где же... она? — упавшим слабым голо-  
сом спросил граф, после нескольких минут  
молчания.

Он тряхнул головой, как бы отгоняя мрач-  
ные, навязчивые мысли.

— Её сиятельство изволят дожидаться в  
приемной, — бесстрастно ответил Семидалов,  
ни одним мускулом своего лица не обнару-  
жив, что он заметил и удивился далеко  
необычному волнению графа и ещё более  
необычайной его слабости.

— Проси!

Петр Федорович так же беззвучно удалил-  
ся, как вошел.

Алексей Андреевич по уходе Семидалова  
быстро встал из-за письменного стола, тороп-  
ливо пододвинул к нему стул и нервной по-  
ходкою стал ходить по кабинету.

«Зачем?.. После стольких лет... И именно  
теперь... Что ей надо?.. Ведь мы чужие... За-  
чем я принял её?..» — мелькали в голове гра-  
фа отрывочные мысли.

«Не надо принимать...» — мысленно ре-  
шил он и уже дернул за сонетку, но оказалось



было поздно.

Дверь отворилась и на её пороге появилась графиня Наталья Федоровна.

Последняя пережила тоже далеко не легкие чувства по дороге к дому на Литейную и в те несколько минут, которые она провела в приемной своего мужа, дожидаясь результата доклада о ней графу.

Двадцатилетнего периода времени как бы не существовало: её менее чем двухлетняя совместная жизнь с графом, казалось ей, окончилась только вчера. Так живо это далекое пережитое и выстраданное ею представилось ей перед моментом свидания с человеком, именем которого, окруженным частью удивлением и уважением, а частью злобною насмешкою и даже проклятиями, была полна вся Россия и который по закону считался ей мужем.

Она не видала его без малого восемнадцать лет.

«Восемнадцать лет — это целая жизнь! — проносилось в её уме. — Да, несомненно, для неё это более, чем жизнь, это медленная смерть... Её жизнь...» — Наталья Федоровна

горько улыбнулась. Эта жизнь окончилась в тот день, когда она в кабинете своего покойного отца дала слово графу Алексею Андреевичу Аракчееву быть его женой, момент, который ей пришел на память, когда она поняла внутренний смысл бессвязного бреда больного Хрущева.

Проезжая по Исаакиевскому мосту, ей вспомнилась последняя семейная сцена с мужем в карете — та последняя капля, которая переполнила чашу её человеческого долготерпения.

Воспоминания о первой встрече с Минкиной, образ коварной Кати Бахметьевой — живо восстали перед графиней, когда она подъехала к дому на Литейной и вошла в подъезд, охраняемый почетным караулом.

Этот мрачный дом, под кровом которого она провела не менее мрачный год своей жизни, когда она вошла в него, показался ей каким-то темным, тесным гробом.

Он давил её, парализовал её волю и за минуту твердая в своей решимости говорить с графом Алексеем Андреевичем и добиться от него исполнения её желания, добиться в пер-

вый раз в жизни, она, оставшись одна в полутемной от пасмурного раннего петербургского утра, огромной приемной, вдруг струсила и даже была недалеко от позорного бегства, и лишь силою, казалось ей, исполнения христианского долга, слабая, трепещущая осталась и как-то не сразу поняла слова возвратившегося в приемную после доклада Семидалова, лаконично сказавшего ей:

— Его сиятельство вас просит!

Медленно, боязливо последовала она за Петром Федоровичем.

Он распахнул перед ней дверь кабинета.

Собрав все свои силы, Наталья Федоровна перешагнула порог этой роковой комнаты, в которой в продолжение стольких лет решалась бесповоротно участь стольких людей.

Жена очутилась лицом к лицу со своим мужем.

Граф Алексей Андреевич стоял у письменного стола, опершись на него обеими руками, в видимо деланной официальной позе.

Графиня Наталья Федоровна остановилась у порога и, чтобы не упасть, прислонилась на минуту к косяку двери.

Петр Федорович плотно затворил эту дверь, отрезав таким образом для графини отступление, о котором, к слову сказать, у неё снова мелькнула мысль.

Муж и жена несколько секунд, которые для них обоих показались вечностью, глядели друг на друга. Граф первый заметил более чем смущение Натальи Федоровны и подошел к ней.

— Чем могу служить? — необычным для него мягким тоном произнес Алексей Андреевич.

В этом тоне звучала почти нежность.

Наталья Федоровна бросила на него благодарный взгляд и почти твердой походкой приблизилась к стулу около письменного стола и села.

Граф тоже сел на свое обычное место.

— Вас, граф, вероятно, немало удивило мое неожиданное посещение после стольких лет разлуки? — начала Наталья Федоровна после некоторого молчания под вопросительным, но далеко не суровым взглядом Алексея Андреевича. — Я надеялась, что именно эта разлука сделала то, что я могу спокойно явить-

ся перед вами в роли просительницы и моя просьба будет вами исполнена, хотя бы в воспоминание тех немногих дней — они несомненно были — когда вы любили меня... То обстоятельство, что мы с вами не встречались восемнадцать лет, вы не могли, в силу вашей справедливости, приписать тому, что я умышленно избегала вас, скрывалась от вас, как женщина с нечистой совестью, нет, видит Бог, что как двадцать лет тому назад, когда мы приехали в этот день из церкви мужем и женой, так и теперь, я могу прямо смотреть вам в глаза — на совести и на репутации графини Аракчеевой не лежит ни одной темной полоски...

— Я не сомневаюсь в этом, к чему эти разговоры... — перебил почти шепотом граф. — Говорите, что вам угодно, я исполню все, что только в силах... что могу...

Алексей Андреевич сидел с опущенным взглядом. Тени внутреннего страдания бежали по его лицу.

Это состояние мужа не ускользнуло от графини. Ей стало жалко его, она поняла то внутреннее чувство, которое царило в эту минуту

в её сердце. Ей страстно захотелось чем-нибудь утешить его.

— Прежде, нежели я перейду к той просьбе, которая заставила меня решиться потревожить вас, я не могу, граф, не сказать несколько слов о том внутреннем переломе, который произошел в моем внутреннем «я» за эти долгие годы. Вы вправе, вспоминая прошлое, считать меня не только покинувшей вас женою, но и человеком, передавшимся партии ваших врагов... В этом-то заблуждении мне и не хочется вас оставить... Не подумайте, что я говорю это, чтобы склонить вас к исполнению моей просьбы, с этой стороны вы хорошо меня знаете, лезть не в моем характере... То, что я скажу вам сейчас, я скажу не как ваша жена, не как просительница, а как русская женщина, любящая свое Отечество, и мое мнение разделяется всеми истинно русскими людьми... Существует русская пословица: *«Гром не грянет, мужик не перекрестится»*, — эта пословица всецело подходит к более благоразумной части ваших врагов... События последнего времени показали, что ваша прошлая деятельность, в связи с на-

стоящею рыцарскою доблестью нашего государя, сделали то, что дуновение вихря политических страстей было остановлено в самом начале преданной армией, вы подготовили — государь довершил спасение спокойствия Империи... Это сознали многие, а вместе с ними и я...

Граф болезненно улыбнулся и низко опустил голову.

— Простите, что я задерживаю вас, но я должна была сказать вам это, я хотела сказать, я ношу ваше имя, и мне приятно заявить вам, что с недавнего времени я стала гордиться этим именем, как русская, верно-подданная моего царя. Теперь перехожу к просьбе... не к одной даже, а к двум...

— Я слушаю... повторяю... что в силах... что могу... — вставил Алексей Андреевич, подняв голову.

— Вы все можете... Государь ценит вас и знает, что вы не будете ходатайствовать без серьезной уважительной причины, он выслушает, а этого довольно — я убеждена, что моя просьба будет исполнена...

Наталья Федоровна перевела дух. Она спе-

шила и волновалась.

Ей, видимо, стоило большого труда снова перейти на спокойный тон.

— Другая же просьба зависит всецело от вас...

Граф молчал.

Наталья Федоровна подробно рассказала ему всю историю Василия Васильевича Хрущева, причину его перехода в Петербург, увлечение политическим заговором, раскаяние, жизнь в барке и, наконец, болезнь...

С каким-то почти вдохновенным красноречием она описала нравственные и физические страдания молодого, сошедшего с прямого пути безумца.

— Выхлопочите ему помилование у государя, пошлите его на Кавказ, или переведите к себе в военные поселения... Он достаточно наказан и горит искренним желанием искупить свою тяжелую вину перед царем и отечеством... Председательствуя за него, вы не покривите душою и сделаете доброе, христианское дело...

Она остановилась.

Алексей Андреевич по-прежнему молчал,



но по его лицу графиня заметила, что она произвела впечатление.

— Другая просьба касается двоюродного брата Хрущева, Петра Валерьяновича Хвостова...

— Хвостова... знаю, знаю... сегодня будет сделано распоряжение об увольнении его в отставку с чином полковника, мундиром и пенсией... — торопливо прервал её граф. — О Хрущеве я похлопочу... сделаю все, что в силах... но не решаюсь обещать... воля государя...

Алексей Андреевич встал, как бы давая знать, что аудиенция кончена.

— Благодарю вас... — с чувством сказала графиня, тоже поднявшись со стула и невольным движением протянула ему руку.

Алексей Андреевич почтительно поцеловал эту руку и также почтительно проводил до двери свою жену-просительницу.

## XV

### После свидания

Сильное и глубокое впечатление оставило у графа Алексея Андреевича свидание с женой.

Впервые он воочию убедился в нравственной силе и даже политическом смысле русской женщины и преклонился перед этим дивным образом, воплотившимся, казалось, всецело в графине Наталье Федоровне.

Тронул графа и рассказ её о молодом Хрущеве, в безыскусственности изложения получивший ещё большую силу.

Исполнение просьбы жены — граф внутренне решил это — его священная обязанность, тем более, что просьба в глазах графа была более чем основательна, — разумная милость не уничтожила благодетельных последствий разумной строгости.

Алексей Андреевич решил тотчас ехать к государю. Он встал из-за стола и уже протянул руку к звонку, как вдруг опустил руку, сел за стол и задумался.

Хотя государь Николай Павлович был, несомненно, расположен к нему, хотя он был любимцем императрицы Марии Федоровны, знавшей, как привязан был к нему её покойный сын, но все же граф Аракчеев хорошо понимал, что ему теперь придется разделить влияние на ход государственных дел с новыми, близкими государю людьми, людьми другой школы, другого направления, которые не простят ему его прежнего могущества, с которыми ему придется вести борьбу, и ещё неизвестно, на чью сторону станет государь.

Невольно перед духовным взором графа восстал незабвенный для него, как и для всей России, образ государя Александра Павловича — ехать к нему с просьбой, подобной настоящей, с покаянием по делу Хвостова, было бы легче — он не задумался бы ни на минуту.

Вспомнились графу недавние торжественно страшные дни, произведшие не на него одного глубокое впечатление, а на всю Россию — время продолжительного печального кортежа с прахом усопшего императора от Таганрога до Петербурга.

Расскажем, кстати, о подробностях этого

небывалого в русской истории печального кортежа, прошедшего почти всю Россию. Начальником кортежа был назначен государыней Елизаветой Алексеевной граф Василий Васильевич Орлов-Денисов.

Порядок шествия во всю дорогу был следующий:

1) Исправник или заседатель уезда в санях, и за ними 6 сотских верхами в черных кафтанях.

2) 2 эскадрона кавалерии, при бригадном генерале, ехавшем всю дорогу верхом.

3) Коляска с духовным протоиереем отцом Федотом, держащим икону, и камердинером Анисимовым с серебряным ковчегом.

4) Колесница в 8 лошадей под траурными попонами, ведомых уланами. Кучером был постоянно Илья Бойков. На крыльях стояли по каждую сторону по одному дежурному флигель-адъютанту. Подле колесницы верховые ординарцы и бригадные командиры верхом.

5) Коляска графа Орлова-Денисова.

6) Коляска полковника Соломки.

7) Эскадрон гвардии.

В каждой епархии на границе встречал архиерей с духовенством того уезда и сменял духовенство предшествовавшей губернии с отпением панихиды. При приезде тела на станцию, гроб вносили в церковь, и архиерей служил панихиду; на другой день была утренняя и архиерейская обедня. Духовенство с архиереем ехало впереди до первой стоящей на дороге церкви, где, не снимая гроба с колесницы, служили литию; на станции архиерей встречал шествие, и вносили гроб в церковь тем же порядком. При гробе на ночь оставались два флигель-адъютанта и дежурные караула. На границе каждой губернии останавливались в поле, и губернатор с адъютантством одной губернии передавал церемониал губернатору другой, который и провожал его через свою.

В городах войска выстраивались шпалерами, и где была артиллерия, во время следования процессии производилась пальба. Дворянство, купечество, мещанство и цехи с значками шли попарно; в колеснице народ обыкновенно отпрягал лошадей и вез на себе.

До 10 часов позволялось всем приклады-

ваться и служить панихиды, а после церковь запиралась и оставались при теле дежурные и священники. Золотую корону носил обыкновенно во время процессии князь Николай Григорьевич Волконский с двумя ассистентами из дворян; ордена несли дворяне, также при ассистентах, все в траурных мантиях и шляпах.

Припомнилось графу Алексею Андреевичу, как он мысленно с тяжелой безысходною грустью переживал этот кортеж, чувствовал приближение к столице дорогого ему, как и всей России, праха незабвенного государя.

Особенно горькое чувство шевельнулось в его душе при воспоминании о ближайшем времени, когда при въезде в Новгород команду над процессией принял по высочайшему повелению он сам.

23 февраля, утром, у заставы встретил он тело. Граф был со всем своим штатом. Кортеж был растянут на большое пространство, и чтобы передовые тронулись, были даваемы знаки ракетой. У каждой церкви по улицам служили литии; тут также для остановки передовых и для продолжения хода пускали ра-

кеты. Катафалк в Софийском соборе был отлично устроен Стасовым. Алексей Андреевич несколько дней вперед сам делал репетиции монахам, чиновникам и солдатам, как подойти к гробу и прикладываться. При выступлении из города он хотел стать на колесницу, но флигель-адъютанты не допустили его.

С тяжестью в сердце вспомнил он и теперь это непривычное для него препирательство у дорогого ему праха.

Граф сел на дроги в головах у тела.

Перед Ижорой, в селе Бабине, а прежде того в Клину, вскрывали гроб и осматривали тело, которое найдено в порядке.

Императрица Мария Федоровна выехала навстречу в Тосну.

28 февраля шествие прибыло в Царское Село. Государь Николай Павлович, великий князь Михаил, принц Прусский и принц Оранский выехали навстречу за пять верст.

Государь бросился на гроб и долго обнимал его, потом пешком проводил до дворца.

Флигель-адъютанты окружали гроб, а за государем и принцами шли: генерал-майор князь Никита Волконский, Н. И. Шениг и он,

граф Аракчеев.

Тело до 6 марта простояло в дворцовой церкви, затем перевезено было в Чесьму, а на другой день в Казанский собор, откуда через четыре дня в Петропавловскую крепость.

Это было 12 марта 1826 года.

«Так недавно... — мелькнуло в голове Алексея Андреевича. — Всего менее двух недель — сегодня 24 марта... Если бы он был жив — он не опасался бы, как теперь, за исполнение его просьбы государем...»

Граф позвонил и приказал подать себе парадную форму.

Графиня Наталья Федоровна вышла из кабинета мужа, а затем и из дома и села в экипаж тоже не без внутреннего волнения — последствия свиданья её с мужем — но волнение это было скорее радостное.

Она почувствовала свою нравственную победу над мужем, а для идеалистки Аракчеевой это было почти удовлетворением за все пережитое и выстраданное.

Это пережитое и выстраданное не было, таким образом, по её мнению, бесплодным — оно дало всход даже в душе железного графа,



не говоря уже о других.

Наталья Федоровна «по-своему» торжествовала. Мы умышленно подчеркнули слово по-своему, так как в этом торжестве не было и намека на удовлетворенное тщеславие, на эгоизм. Это торжество, как и все действия, поступки и даже мысли Натальи Федоровны были торжеством, радостью исключительно за других, а не за себя.

Графине думалось, что граф, в душе которого она успела тронуть им самим забытые струны любви к ближнему, сам найдет в их гармонических звуках себе утешение в далеко невеселой, одинокой своей жизни.

Радовалась графиня и малейшему отсутствию сомнения, что Алексей Андреевич исполнит её просьбу относительно Хрущева и Хвостова и будет ходатайствовать за первого у государя. В благополучном результате такого ходатайства она тоже не сомневалась.

Ей вспомнился рассказ Василия Васильевича о несчастной матери — Ольге Николаевне Хвостовой, лишившейся своих обоих детей. Она живо вообразила себе ту радость при встрече с сыном, которая наполнит сердце

старушки, разделяла заранее с нею эту радость.

К Василию Васильевичу Хрущеву графиня чувствовала почти материнскую нежность. Перспектива его участия холодила её сердце. Она сама бы не подала голоса за его безнаказанность — он совершил преступление и должен понести соответствующую кару, но эта кара не должна была, по её мнению, лишить его возможности на деле доказать боготворимому им теперь царю свое чистосердечное раскаяние в участии в гнусном злодействе.

Разжалование в солдаты и ссылка на Кавказ с правом выслужиться — казалось ей именно тем соответствующим наказанием для вовлеченного в преступление другими несчастного юноши, павшего так низко от безнадежной любви, не разделенной страсти к девушке, — страсти, которую он хотел заглушить, окунувшись в омут страстей политических.

Таковы были мысли Натальи Федоровны по дороге от Литейной до 6 линии Васильевского острова.

Дома её встретили, конечно, расспросами.

Она подробно рассказала о своем свидании и о данном им ей обещании.

Прошло несколько дней.

Антон Антонович представил совершенно выздоровевшего Хрущева в следственную комиссию и для обитателей коричневого домика потянулись дни томительной неизвестности о судьбе Василия Васильевича.

Граф Аракчеев не подавал также вести.

Наконец, через три недели узнали, что Василий Васильевич Хрущев, разжалованный в рядовые, отправлен в полк, находящийся в Грузии.

Вскоре было получено от него письмо, полное благодарностей и надежд на возможность загладить свой грех, как продолжал он называть свое преступление — перед царем и Отечеством.

Почти одновременно с этим получено было Натальей Федоровной от графа Алексея Андреевича лаконичное письмо, в котором он уведомлял её, что ему удалось исполнить её просьбу относительно её протеже.

*«Полковник Хвостов уехал в Москву»,*

— стояла не менее лаконичная приписка.

## XVI

### Патриархальный уголок

**Н**евдалеке от дома Ольги Николаевны Хвостовой, на том же Сивцевом Вражке, жила издавна известная почти всей Москве того времени одинокая старая дева Ираида Степановна Погорелова, всегда окруженная толпой разношерстных приживалок.

В тот год, когда в доме Хвостовой произошло известное читателям кровавое романтическое происшествие, Ираиде Степановне было далеко более шестидесяти лет.

Дом её был небольшой, старинный, построенный на дубовых подклетьях. Подклетьями назывались деревья в естественном виде, с обрубленными только сучьями и вершинами, но нисколько не тесанные и не отделанные, сложенные на поверхности земли клетками, одно на другое, в вышину от земли на сажень, что заменяло фундамент. Естественно, что таким образом сооруженные дома, имея такое под накатом свободное движе-

ние воздуха, переживали столетия.

Дома такого типа и до сих пор, хотя очень редко, как остаток седой старины, встречаются в Белокаменной столице.

К одному из углов переднего фасада дома было пристроено крыльцо с сенями и с лестницей, ступеней в пятнадцать, над которым спускался далеко выдававшийся вперед тесовый навес. Тесовая крыша дома, с большим слуховым окном, круто и высоко поднималась над домиком.

Кругом дома был расположен просторный двор, поросший летом травой и кругом обнесенный службами, то есть амбарами, погребами, кухней, избами для дворовых и разного рода клетушками. К одной стороне двора примыкал сад.

Весь дом состоял из комнат, очень просторных, деливших его на восемь равных частей. Из сеней входили в переднюю или лакейскую, там зал, далее гостиная. Из гостиной дверь вела в спальню, из спальни в девичью, с выходом на заднее крыльцо, другая дверь из гостиной вела в две боковые комнаты, занятые «благородными», как называла Ираида

Степановна своих приживалок. В восьмую комнату дверь была из лакейской и её занимал Карп Карпович, крепостной человек Погореловой и её главный управляющий.

В холодные зимы приятным теплом охватывало всякого, кто входил в переднюю, но ещё теплее было в спальне Ираиды Степановны, где обыкновенно она сидела по целым дням, одетая почти всегда в ситцевом капоте на вате, с ост-индским клетчатым платком на плечах и таким же платком на голове.

Сидела она на диване, что-то в роде турецкого, но довольно жестком, обитом самым простым полосатым тиком, стоявшем возле лежанки из старинных изразцов, на которой стояли бутылки с закисавшим уксусом домашнего приготовления. Перед старушкой стоял круглый дубовый стол без полировки и лака, на белых кленового дерева ножках самой простой работы. На столе лежала серебряная с чернью табакерка и носовой ост-индский платок такого же качества, как на голове и на плечах. На стене, с одной стороны дивана, висели на гвозде большие карманные серебряные часы-луковица.

Кровать Ираиды Степановны стояла у противоположной лежанке стены; несколько отступя от неё, над кроватью высоко поднимался ситцевый, подбитый крупными узорами пестрый полог, утверждённый на четырех столбах, с подбором в виде широкой оборки наверху. Под всеми четырьмя точеными ножками старинной кровати подставлены были жестяные тарелки с водой. Мера эта была принята от клопов, чтобы они не могли по ножкам вползать на ложе. Другой небольшой столик, старинного красного дерева комод с откидной крышкой, или, лучше сказать, с конторкой и десятка два разной величины образов, в серебряных вызолоченных ризах и без риз, с теплившейся перед ними висячей лампадкой в углу, да несколько кресел, довершали все убранство спальни.

Зала и гостиная меблированы были старинною тяжеловесною мебелью красного дерева, зеркалами в таких же рамах и лампами в углах на высоких подставках.

Ираида Степановна была высокого роста, сухого сложения, лицо её было продолговато, но не сухощаво, её небольшие карие глаза вы-

ражали природное добродушие.

Жизнь она вела пунктуально регулярную. Вставала рано, часов в семь утра, пила чай и покопошившись в своем комоде или в сундуках, садилась на свой диван.

Карп Карпович, управляющий Ираиды Степановны, был высокого роста, имел большой, довольно красный нос, седые волосы и небольшие серые умные глаза, ходил солидною поступью, говорил плавно и авторитетно, и вообще, вся наружность его была благовидна. Одевался он в сюртук серого сукна, всегда опрятно, и высокие сапоги носил поверх панталон. Обращение его с Ираидой Степановной было почтительное, но с примесью некоторой фамильярности, или, лучше сказать, уверенности, что она без него обойтись не может. Все дворовые и крестьяне чтили его как барина. Впрочем, доверия своей барыни он во зло не употреблял и вел хозяйство исправно, часто отъезжал в принадлежавшую Погореловой тамбовскую вотчину. Крестьянам и дворовым и в вотчине, и в Москве, всем было хорошо, все жили, что называется, как у Христа за пазухой.



В половине двенадцатого часа Ираида Степановна смотрела на часы, кликала девку и приказывала идти к повару сказать, чтобы припускал жаркое. В 12 часов обедали, в 5 часов кушали чай, в 8 часов ужинали.

В полдень Карп Карпович сам приходил не то что доложить, что кушать подано, а просил пожаловать в зал кушать.

В зал выходила Ираида Степановна, собирались все её «благородные» и садились за стол.

Карп Карпович, продев в петлю борта своего сюртука салфетку, сам подавал кушанье с достоинством, не как официант, или лакей, а как радушный хозяин. Разнеся блюдо и отдав его буфетчику, он становился к окну и прислонившись к стоявшему у стены столу, заложив ногу на ногу и сложив руки, разговаривал с Ираидой Степановной о новостях, о соседях, о ближайших видах на урожай в имении, или шутил с «благородными», но всегда в меру и с достоинством.

Карп Карпович был грамотный. С малолетства жил всегда при господах и при отце Погореловой состоял в должности земского. Кро-

ме книг священного писания, он читал много книг и светских, какие, разумеется, попадались под руку. По большей части это были романы иностранных писателей в плохих переводах, которыми тогда была наводнена русская книжная торговля.

Одним словом, Карп Карпович в умственном развитии, в умении держать себя и в обращении с выше и ниже себя поставленными ничуть не отличался от тогдашнего общества дворян средней руки.

Такие личности, как он, могли быть только завещаны нам прошедшим столетием, когда умственное образование для большинства самих дворян заключалось только в грамотности; естественно, что всякий дворовый мальчик, который готовился для домашнего письмоводства, живший постоянно в барском доме, в умственном и нравственном развитии шел в уровень с детьми своих господ. Как для тех, так и для других учителями были, если не старый длиннополый земский, то приходский дьячок.

Каждую зиму из тамбовской вотчины Погореловой приезжал в Москву староста и кро-

ме денежного дохода привозил свинину, откормленную всякую домашнюю птицу, масло, пшено, крупу и все это в большом количестве. Разумеется, все это поедалось Ираидой Степановной с «благородными» и её московскою дворнею, отчего все окружавшее её было довольно, весело, счастливо, каталось, как сыр в масле, и, несмотря на то, что по кончине «барыни» они должны были воспользоваться заранее написанными отпускными на волю, молили искренно Бога о продлении её жизни.

Крестьяне тамбовской вотчины жили зажиточно. Староста Тит был очень умный и богатый мужик, но не без хитрости и плутовства проходил свое служение. Вместе с оброком он привозил приходо-расходные книги для проверки, которые велись подобным же, ему плутом, земским Степаном.

Карп Карпович просматривал книги, и хотя по книгам все, отчеты были верны, исправно подведены итоги и всякие концы; плутней были припрятаны, но всегда находилось что-нибудь, дабы придрататься к старосте с тем, чтобы его посечь. Тит, выезжая ещё из там-

бовской вотчины, знал уже, что его посекут; но ведь на это барская воля. Барская же воля в этом случае основывалась не на уликах в плутовстве, а в убеждении, что староста Тит уже непременно плурует, а потому надобно его поучить на будущее время.

И вот, когда все отчеты сданы, привезенные запасы приняты и старосту надобно отпустить, перед отъездом его Ираида Степановна приказывала принести в лакейскую розог, выходила туда сама и в присутствии своем матерински учила Тита не плутовать.

Получив розог пятнадцать, Тит вставал, приводил в порядок свой костюм, потом подходил к своей старой барыне, низко кланяясь, целовал ей руку на прощание, благодаря при том, что его поучили.

Посекши Тита, Ираида Степановна возвращалась на свой диван у лежанки так же спокойно, ничуть не взволнованная, как пошла, и, посмотрев на часы, добродушно приказывала «припускать жаркое».

Среди благородных приживалок Ираиды Степановны особенно выделялась одна дворянка, Зоя Никитишна Белоглазова, девушка

лет тридцати с небольшим, но казавшаяся моложе, с великолепными золотистыми волосами и задумчиво печальным взглядом прекрасных глаз, порой блестящих злобным огоньком.

Интересна судьба этой девушки.

Её привез года за два до времени, к которому относится наш рассказ, староста Тит вместе с живностью из тамбовской вотчины. По его рассказам, он нашел её полузамерзшую на почтовом тракте, верстах в двадцати от Тамбова, и, усадив на одни из саней обоза, привез прямо к своей «старой барыне».

Этот подвиг человеколюбия не освободил Тита от ежегодного «ученья», но бездомную скиталицу Ираида Степановна приютила у себя и вскоре к ней привязалась, как к родной.

## XVII

### По наследству

**М**ы уже заметили, что Ираиду Степановну Погорелову знала вся Москва, дворянская, чиновная и даже купеческая, знала и любила.

Происходило это не потому, что она держала открытым свой дом, любила гостей и сама была отзывчива на приглашения. Напротив, Погорелова жила очень уединенно, была домоседкой и кроме церковных служб по воскресным и праздничным дням, не посещала никого, а между тем, со всех концов Москвы приезжали к ней, но приезжали поодиночке, хотя всегда встречали истинно русское хлебосольство.

«Фриштыки» Ираиды Степановны, как своеобразно называла завтрак Настасья Карповна, памятливы чуть ли не до сих пор старожилкам первопрестольной столицы.

Они и без гостей, и при гостях происходили в девичьей. Там на большом белом липовом столе, накрытом простою, но ослепитель-

ной белизны скатертью, в изобилии подавались: творог с густыми сливками, пироги и ватрушки, яичницы разные, молочные, глазунья и прочее, молочная каша и тому подобное.

Не из-за хлебосольства и завтраков ездили к Ираиде Степановне — к ней ездили за пищей духовной, за утешением в неприятности, в горе, в несчастьи.

Никто лучше её не умел утешить и подкрепить человека даже тогда, когда положение его казалось ему безвыходным. Её спокойная, плавная речь действовала магически на расшатанные нервы, её логические доводы были неотразимы, а её практический ум всегда находил выход из неприятно сложившихся обстоятельств, выход такой простой и возможный, что люди, которым давала свои советы Погорелова, подчас долго ломали себе голову, почему такая простая мысль не появилась ранее у них. Они забывали, что отчаяние, в которое впадают слабые люди, парализует способность мышления.

Подчас Ираида Степановна давала и не одни советы и утешения — некоторые из обра-

щавшихся к ней получали и нечто более существенное, для чего Погорелова открывала свою заветную «конторку».

Происходило это, впрочем, в редких, исключительных случаях. Нельзя было сказать, чтобы Ираида Степановна была скупа, нет, она была только рассудительно бережлива.

У неё был племянник — сын её покойной любимой сестры, которого она считала своим прямым и единственным наследником, каким он был и по закону, а потому и берегла копейку, считая её не своей, а «Аркаши», как она звала Аркадия Петровича Савина, оставшегося в детстве сиротой после одного за другим умерших родителей и когда-то воспитывавшегося в московском корпусе, и воскресные и праздничные дни проводившего у Ираиды Степановны, боготворившей мальчика. Рассудительность Погореловой взяла верх даже над этой привязанностью — она сама решила, что Аркаше надо «служить», в полном смысле этого слова, на Кавказе, а не баловаться в московских и петербургских гостиных. Она посылала ему деньги, но далеко не в обильном количестве.



«Умру — все его будет, для него и берегу. В зрелых летах он на деньги и смотреть иначе будет — они и принесут ему пользу, а мальчику много денег — одна погибель», — говаривала старушка.

Повторяем, она не была скупа, но рассудительно бережлива, а потому необходимо было, чтобы обстоятельства пришедших к ней за помощью были таковы, что эта помощь действительно могла принести существенную пользу, поднять пошатнувшегося человека на ноги, а не оказать лишь временную поддержку, отсрочить неизбежный конец.

В первом случае она давала, не стесняясь суммою, во втором она отказывала, порой даже в резкой форме.

— Знаешь, чай, батюшка, меня, — отвечала в тех случаях Ираида Степановна, если разговаривающий был мужчина, или же заменяя слово «батюшка» словом «матушка», если имела дело с собеседницей, — я милостыни не подаю, да ты, чай, и не возьмешь её; милостыня — один вред, получил человек, истратил, и опять просить надо, а там повадится, попрошайкой сделается, от работы отобьется,

лентяя да праздношатая хуже нет. Тебе дать денег, все одно, что в окно швырнуть, а на это у меня их нет, да и деньги не мои — племянника... в них я отчет должна дать Богу.

— Да помогите уж, голубушка, Ираида Степановна, я поправлюсь, уж я знаю... — пробовал было возразить проситель, но Погорелова сурово останавливала его.

— Ничего ты не знаешь, я лучше тебя твои дела знаю... так ты мне зря не болтай, слушай.

За этим следовал какой-нибудь разумный совет.

Замечательно то, что Ираида Степановна никогда на самом деле не ошибалась ни в людях, ни в настоящем положении их дел, и поддержка, оказываемая ею, всегда приносила пользу и деньги возвращались ей с благодарностью, хотя на них не было никакого документа.

— На что мне твое «заемное письмо», с глазу на глаз даю, между нами Бог! — возражала Погорелова на предложение расписки.

И надо сказать, к чести того времени, что не одна Ираида Степановна практиковала та-

кой способ кредита, и эти «божьи долги» никогда не пропадали.

Много дворянских семейств спаслись от разорения, много московских купеческих фирм пошло в гору с легкой руки Погореловой.

Слава об этой легкой руке гремела по Москве.

Близкая соседка Погореловой Ольга Николаевна Хвостова была её давнишней и задушевной приятельницей. Не раз Ираида Степановна обращалась к ней за более крупными суммами, которых не имела в своем распоряжении, но которые были нужны для поддержки того или другого лица, могущего поправить свои дела при своевременной помощи, и никогда не встречала отказа. Возвращенные деньги Погорелова в тот же час отправляла к Хвостовой.

После несчастья с сыном Ольга Николаевна в доме Погореловой находила тот живительный бальзам утешения, который необходим был ей, гордой и не склонной к откровенной беседе с окружавшими её домашними, не исключая и Агнии Павловны Хрущевой.

Свою душу открывала она одной Погореловой и раза два в неделю непременно «фриштыкала» у соседки и часа два проводила с ней в интимной беседе с глазу на глаз.

Что говорили они в это время — было тайною, но Ольга Николаевна выходила из дома Ираиды Степановны, как и другие, искавшие там утешения, с легким сердцем и спокойствием на душе.

После второго обрушившегося на Ольгу Николаевну несчастья — бегства её любимой дочери, осиротевшая мать также нашла утешение в доме Погореловой, но уже у постели больной Ираиды Степановны.

Старушка слегла недели за две до кровавого происшествия в саду Хвостовой, слегла не вследствие какой-нибудь болезни, а вследствие ослабления всего организма.

Никакие доводы о необходимости немедленной помощи не могли убедить старушку послать за врачом, к помощи которого она не прибегала никогда в жизни, лечась только домашними средствами.

— И что, матушка, идти против Божьей воли — умереть определено, так умирать на-

до! — говорила она в ответ на предложение пригласить доктора.

Почувствовав себя плохо, она пригласила священника, исповедывалась и приобщилась святых тайн, а затем выразила желание видеть Ольгу Николаевну Хвостову.

Домашние тотчас же послали за ней.

Она не замедлила явиться.

— Это вы... — сказала больная слабым голосом. — Я просила вас! Чувствую, что умираю.

— Полноте, что за мысли, ещё как поправитесь... — пробовала утешить её Хвостова.

— Нет, я знаю, поэтому и попросила вас; по завещанию я сделала, простите, без вашего согласия, вас полную распорядительницей моей воли... это так и должно быть, так как есть должники, которые должны не мне, а вам, вы давали деньги.

— Зачем об этом говорить.

— Как не говорить... дело прежде всего. Все оставляю племяннику Аркаше. Остальных тоже не забыла, все будут довольны. Об одном только хотела я переговорить с вами, если вы захотите исполнить волю умирающей.

— Исполню с благоговением, — отвечала Ольга Николаевна, под впечатлением серьезности тона просьбы.

— Есть у меня тут девушка Зоя, хорошая, честная девушка, оставила я ей по завещанию три тысячи рублей, но куда она денется, не знаю, очень меня беспокоит её судьба. Ежели здесь останется, приедет племянник, человек молодой, а у ней много в глазах... этого... плотского... как я опасуюсь...

Старушка остановилась.

— Чего же вы хотите? — спросила Хвостова.

— Возьмите её к себе, приютите, любимица она моя, так в воспоминание обо мне сделайте это доброе дело... девушка она хорошая... ласковая... вам будем в утешение, как и мне была.

Ираида Степановна видимо уставала и снова остановилась.

— Что ж, я с удовольствием, я теперь совсем одна, и если она хорошая девушка, то это мне будет, на самом деле, утешением.

— Именно утешением... — проговорила больная. — Зоя такая девушка, с которой и по-

говорить приятно. Одно не надо, спрашивать её о прошлом, задумается и замолчит. Видно, тяжело, очень тяжело её прошлое.

— Я приму это к сведению.

— Значит, вы исполните мою просьбу относительно Зои... тогда я умру спокойно.

— Конечно, но что за мысли... вы поправитесь и ещё будете жить долгие годы.

— Нет, не утешайте... я скоро умру... — серьёзным тоном возразила Погорелова.

Предчувствие её сбылось... Через неделю её не стало.

Ираида Степановна умерла тихо и лежала в гробу с той же добродушной улыбкой на устах, с которой встречала тех, которые нуждались в её нравственном подкреплении.

Похороны, на которые покойная по завещанию оставила тысячу рублей, приказав из этой суммы оделить и нищих, были совершенны с особенною помпой, тем более, что Ольга Николаевна ассигновала оставленную тысячу рублей исключительно на бедных города Москвы, а самые похороны устроила на свой счет, как душеприказчица.

Зоя Никитишна, по воле покойной и в си-

ду любезного приглашения Ольги Николаевны Хвостовой, переехала к ней.

Обе они не знали, что в этом были только слепыми орудиями судьбы.

## XVIII

### Манифест 1823 года

Летом 1823 года, московский архиепископ, впоследствии митрополит Филарет, находясь в Петербурге для присутствования в синоде, просил временного увольнения в свою епархию.

Министр духовных дел князь Александр Николаевич Голицын объявил ему на это открыто Высочайшее соизволение и в то же время секретно Высочайшую волю исполнить, прежде отъезда, особое поручение государя.

Вслед за тем ему было передано подлинное письмо цесаревича великого князя Константина Павловича 1822 года и повелено написать проект манифеста о назначении наследником престола великого князя Николая Павловича, с тем, чтобы акт этот, оставаясь в



тайне, пока не настанет время привести его в исполнение, хранился в московском Успенском соборе с прочими царственными актами.

Мысль о тайне тотчас же родила в уме архиепископа Филарета вопрос: каким же образом при наступлении эпохи восшествия на престол, естественно имеющего совершиться в Петербурге, сообразить это действие с манифестом, хранящимся в Москве?

Он не скрыл своего недоумения от государя, и последний вследствие того соизволил, чтобы снимки с составленного акта хранились также и в Петербурге: в государственном совете, синоде и сенате, что и было включено в самый проект.

Вручив последний князю Голицыну, архиепископ Филарет, как уже уволенный в Москву, просил позволения откланяться и был допущен пред государем на Каменном острове и вместе с тем получил повеление дожидаться возвращения проекта для некоторых в нем поправок.

Филарет, заботясь о вверенной ему тайне, слышал, что продолжение пребывания его в

Петербурге, после того, как всем уже было известно, что он уволен, возбуждает вопросы любопытства, просил позволения исполнить высочайшую волю при проезде через Царское село, где мог остановиться под видом посещения князя Голицына.

Так и сделалось.

Филарет нашел у князя возвращенный проект; некоторые слова и выражения были в нем подчеркнуты; стараясь угадывать, почему они не соответствовали мыслям государя, он заменил их другими.

Манифест, вышедший, таким образом, из-под пера архиепископа Филарета, был следующего содержания:

*«Божьею милостию мы, Александр Первый, император и самодержец всероссийский и прочее. Объявляем всем нашим верным подданным. С самого вступления нашего на всероссийский престол непрестанно мы чувствуем себя обязанными перед Вседержителем Богом, чтобы не только во дни наши охранять и возвышать благоденствие возлюбленного нами отечества и народа, но желая предуготовить и*

обеспечить их спокойствие и благосостояние после нас, чрез ясное и точное указание преемника нашего сообразно с правами нашего императорского дома и с пользами империи, мы не могли, подобно предшественникам нашим, рано провозгласить его по имени, оставаясь в ожидании, будет ли благоугодно неведомым судьбам Божьим даровать нам наследника в прямой линии. Но чем далее протекают дни наши, тем более поспешаем мы поставить престол наш в такое положение, чтобы он ни на мгновение не мог остаться праздным.

Между тем, как мы носили в сердце нашем сию священную заботу, возлюбленный брат наш, цесаревич и великий князь Константин Павлович, по собственному внутреннему побуждению, принес нам просьбу, чтобы право на то достоинство, на которое он мог бы некогда быть возведен по рождению своему, передано было тому, кому оно принадлежит после него. Он изъявил при сем намерение, чтобы таким образом дать новую силу дополнительному акту о наследовании пре-

стола, поставленному нами в 1820 году, и им, поколико то до него касается, непринужденно и торжественно признанному.

Глубоко тронуты мы сею жертвою, которую наш возлюбленный брат, с таким забвением своей личности, решился принести для утверждения родовых постановлений нашего императорского дома и для непоколебимого спокойствия Всероссийской империи. Призвав Бога в помощь, размыслив зрело о предмете, столь близком к нашему сердцу и столь важном для государства, и находя, что существующие постановления о порядке наследования престола, у имеющих на него право, не отъемлют свободы отрешить от сего права в таких обстоятельствах, когда за сим не предстоит никакого затруднения в дальнейшем наследовании престола, — с согласия августейшей родительницы нашей, по дошедшему до нас наследственно верховному праву главы императорской фамилии, и по врученной нам от Бога самодержавной власти, мы определили: во-первых — свободному отрече-

нию первого брата нашего, цесаревича и великого князя Константина Павловича от права на всероссийский престол быть твердым и неизменным; акт же сего отречения, ради достоверной известности, хранить в московском Большой Успенском соборе и в трех высших правительственных местах Империи нашей: в святейшем синоде, государственном совете и правительствующем сенате; во-вторых — вследствие того, на точном основании акта о наследовании Престола, наследником нашим быть второму брату нашему, великому князю Николаю Павловичу.

После сего мы останемся в спокойном уповании, что в день, когда Царь царствующих, по общему для земнородных закону, воззовет нас от сего временного царствия в вечность, государственные сословия, которым настоящая непреложная воля наша и сие законное постановление наше, в надлежащее время, по распоряжению нашему, должно быть известно, принесут верноподданническую преданность свою назначенному нами наследствен-

ному императору единого, нераздельного Престола Всероссийской Империи, Царства Польского и Княжества Финляндского. О нас же просим всех верноподданных наших, да они с тою же любовью, по которой мы, в попечении о их непоколебимом благосостоянии полагали высочайшее на земле благо, принесли сердечные мольбы к Господу Нашему Иисусу Христу о принятии души нашей, по неизреченному Его милосердию, в царствие Его вечное».

В том же году, 25 августа, император Александр Павлович прибыл в Москву и 27-го придал архиепископу упомянутый манифест, подписанный в Царском Селе 16-м числом того же месяца.

Он был в запечатанном конверте, с собственноручною подписью государя:

*«Хранить в Успенском соборе с государственными актами до востребования моего, а в случае моей кончины открыть московскому епархиальному архиерею и московскому генерал-губернатору в Успенском соборе прежде вся-*

*кого другого действия».*

На следующий день посетил архиепископа граф Алексей Андреевич Аракчеев и, осведомись, получены ли им известные бумаги, спросил, когда они внесутся в собор?

Филарет отвечал, что 29 числа, в повечерии дня тезоименитства государя, он будет лично совершать всенощное бдение в Успенском соборе и при вступлении в алтарь по чину службы, прежде её начатия, воспользуется этим временем, чтобы положить запечатанный конверт в ковчег к прочим актам, не открывая, впрочем, никому, что это значит.

Мысль его была, чтобы, по крайней мере, те немногие, которые будут в алтаре, заметили, что к государственным актам приобщено что-то неизвестное и чтобы от этого остались, в случае кончины государя, некоторые догадки и побуждение вспомнить о ковчеге и обратиться к вопросу: нет ли в нем чего на этот случай?

Граф Алексей Андреевич ничего не ответил и вышел, но вскоре опять возвратился с отзывом, что государю не угодна ни малейшая огласка.

29 августа, когда в соборе были только протопресвитер, сакелларий и прокурор синодальной канцелярии с печатью, архиепископ вошел в алтарь, показал им печать, но не надпись принесенного конверта, положил его в ковчег, запер, запечатал и объявил всем трем свидетелям, к строгому исполнению, высочайшую волю, чтобы о совершившемся никому не было открываемо.

Он не сомневался, что существование манифеста, по крайней мере, известно князю Дмитрию Владимировичу Голицыну, которому, в качестве московского военного генерал-губернатора, надписью на конверте поручалось вскрыть его в свое время, но не решился объяснить с князем по этому предмету, не имея на то полномочий.

Позже оказалось, что генерал-губернатору ничего не было сообщено и что о новом акте, положенном к прочим актам в Успенском соборе, он узнал только уже после кончины императора Александра Павловича от самого Филарета.

По подписании манифеста и положении подлинника в Успенском соборе, списки, с



него написанные, как и подлинник рукою князя А. Н. Голицына, были посланы и оставлены в означенные в нем места, с собственно-ручными надписями государя, подобными той, которая была на конверте с подлинником.

Рассылка этих конвертов при переходах по канцеляриям не могла остаться без огласки, но содержание конвертов, где, по красноречивому выражению архиепископа Филарета, «как бы в гробе хранилась погребенная царская тайна, скрывавшая государственную жизнь», было известно только трем избранникам.

Публика, даже высшие сановники, ничего не знали, терялись в соображениях, в догадках, но не могли остановиться ни на чем верном.

Долго думали и говорили о загадочных конвертах; наконец, весть о них, покружась в городе, была постигнута общею участью: ею перестали заниматься.

Не знал о манифесте и тот, чья судьба им решалась. Тайна была сохранена в целости.

## XIX

### Присяга в Москве

Опасность болезни императора Александра Павловича огласилась и в древней первопрестольной столице.

27 ноября 1825 года — в тот день, когда Петербург уже присягал новому государю, в Москву прибыло известие несколько утешительное о состоянии здоровья Александра Павловича, но это был последний луч угасающей надежды.

28 числа вечером, к архиепископу Филарету пришел ко всеобщей ода один из его знакомых и на вопрос: «Отчего он печален?» отвечал:

— Разве вы не знаете, уже с утра говорят, что мы лишились государя!

Когда Филарет опомнился от первого испуга, ему показалось странным, что его так долго оставляет в неведении московский военный генерал-губернатор, долженствовавший, по его мнению, знать всю важность открывающихся обстоятельств.

Утром 29-го он пригласил к себе одного из первых московских сановников, князя Сергея Михайловича Голицына и отправился с ним к князю Дмитрию Владимировичу Голицыну.

Последний ещё не имел никакого официального известия о кончине государя.

Архиепископ начал говорить ему о затруднительности настоящего положения дел:

— Цесаревич Константин в начале 1822 года написал к государю письмо о своем отречении от наследия престола; до половины 1823 года не было составлено о том государственного акта и последовавший, наконец, манифест о назначении на престол второго брата остался в глубокой тайне, которая была распространена и на самое хранение манифеста. Случится может, что цесаревич, не зная о нем и считая отречение свое не получившим окончательного утверждения, согласится на принятие престола, тогда Москва может получить из Варшавы манифест о воцарении Константина Павловича прежде манифеста из Петербурга о вступлении на престол Николая Павловича.

При этом разговоре обнаружилось, что ге-

нерал-губернатор не знал совершенно о существовании акта в Успенском соборе.

Он хотел было тотчас же идти в собор, чтобы удостовериться в существовании пакета, но архиепископ воспротивился этому, заявив, что из этого может возникнуть молва, какой нельзя предвидеть, и даже клевета, будто только теперь что-то подложено к государственным актам, или что положенное подменено.

Окончательно решили, в случае получения манифеста из Варшавы, не объявлять о нем и не приступать ни к какому действию, в ожидании манифеста из Петербурга, который укажет истинного монарха.

Вечером того же числа открылись ещё большие затруднения. В Москву приехал Мантейфель, адъютант графа Милорадовича, присланный из Петербурга с частным письмом от графа к московскому военному генерал-губернатору до рассылки ещё сенатского указа.

Граф Милорадович уведомлял князя Голицына, что в Петербурге совершена присяга императору Константину, что первым принес

её Николай Павлович и что непременно воля великого князя есть, чтобы она была принесена и в Москве, без вскрытия пакета, положенного в 1823 году для хранения в Успенском соборе.

При таком неожиданном известии генерал-губернатор счел необходимым узнать сперва мнение обер-прокурора общего собрания московских департаментов сената, князя Павла Павловича Гагарина, которого должность была тогда облечена особыми полномочиями.

— Присягая покойному государю, — отвечал Гагарин, — мы присягали вместе и тому наследнику, который назначен будет. Теперь мы не имеем ввиду никакого акта, которым он назначал себе наследника: следовательно, долг наш — обратиться к коренному закону 1797 года, а по этому закону, при беспотомственной кончине императора, престол переходит к старшему после него брату.

Кроме того, Гагарин предложил собрать утром следующего дня сенат, постановить в нем, в силу указанного закона, определение о присяге Константину Павловичу и тотчас же

принести её в Успенском соборе.

Архиепископ Филарет, к которому генерал-губернатор приехал после беседы с Гагариным и привез письмо Милорадовича, заметил, что это частное извещение не может, в деле такой государственной важности, быть принято за официальное.

Генерал-губернатор со своей стороны находил, что когда присяга принесена уже в Петербурге, то откладывать её в Москве было бы неблагоприятно и, может быть, даже небезопасно для общественного спокойствия.

Филарет продолжал настаивать, что для государственной присяги в церкви необходим и акт государственный, без которого и без указа из синода духовному начальству неудобно на это решиться.

Тогда Голицын рассказал о своем свидании с Гагариным и о предположении созвать сенаторов в чрезвычайное собрание, добавив, что если сенат не решится ни на какое действие, то он, генерал-губернатор, думает привести к присяге, по крайней мере, губернаторских чиновников.

Архиепископ возразил, что такая мера бу-

дет не только далека от точности официальной, но неприлична, и даже может возбудить сомнение в народе, особенно, если не присягнет вместе и сенат.

Наконец, когда генерал-губернатор потребовал, чтобы присяга была совершена хотя в том случае, если сенат постановит о ней определение и оно будет прочитано в Успенском соборе, Филарет не нашел возможным отказать в этом и принять на свою ответственность последствия этого отказа.

Духовенство было вызвано в Успенский собор на молебен, обыкновенно совершаемый 30 ноября в честь святого Андрея Первозванного, а генерал-губернатор обещал о решении сената дать знать архиепископу в 11 часов утра в Чудов монастырь.

Утром, 30 числа, в 10 часов, сенаторы съехались по особым повесткам.

Курьера из Петербурга с официальным известием все ещё не было.

Генерал-губернатор лично объявил собранию о содержании письма графа Милорадовича, а обер-прокурор предложил заготовленное заранее определение о принесении при-

сяги императору Константину.

Один из сенаторов, Ртищев, начал было выражать некоторые сомнения.

Князь Голицын остановил его замечанием, что дело это не такого рода, по которому могло бы произойти разногласие.

Другой, князь Долгорукий, требовал предъявления подлинного письма Милорадовича, чему препятствовали, однако, разные конфиденциальные его подробности.

Сенаторы подписали определение и все вместе пошли в собор, а генерал-губернатор послал сказать об этом в Чудов монастырь.

Через несколько минут печальным благовестом в Успенский колокол дано было столице церковное извещение о преставлений императора.

Кремль кишел народом, между которым ещё прежде разнеслась молва, что произошло нечто важное, и что для этого созвано чрезвычайное собрание сената.

В соборе князь Гагарин прочел во всеуслышание, при открытых царских дверях определение сената, и архиепископ Филарет, которому выпал странный жребий быть храните-



лем светильника, спрятанного под спудом, привел всех к присяге.

В тот же день, вскоре после принесения присяги, пришел из Петербурга указ сената от 27 ноября.

Этот указ, свидетельствуя, что распоряжения в одной столице согласовались со сделанными в другой, окончательно рассеял все сомнения, какие могли ещё оставаться.

Около трех недель продолжалась в Москве полная уверенность, что на всероссийский престол вступил император Константин Павлович. Его именем давались все указы, его имя поминалось в церквах.

Только трое лиц: архиепископ Филарет, князь Голицын и князь Гагарин с минуты на минуту ждали новых важнейших известий из Петербурга, хорошо понимая, что такой акт первостепенной важности, как манифест 1823 года об изменении престолонаследия, не может остаться лежать в ковчеге Успенского собора.

Они и не ошиблись — он, действительно, увидал свет.

18 декабря было получено в Москве изве-

стие о вступлении на престол императора Николая Павловича и о происшествии 14 декабря. Того же числа подлинный манифест 1823 года с приложением к нему был вынут из ковчега, распечатан и всенародно прочитан в Успенском соборе.

Вторичная присяга совершилась в Москве с тем же благоговением, как и первая.

Москва, узнавшая во всех мельчайших подробностях перипетии неслыханной в летописях истории борьбы из-за отречения от власти, происходившей в течение этих дней в недрах царственной семьи, чисто русским сердцем оценила это самоотвержение и подчинение долгу двух великодушных братьев и каждому из них с сердечною готовностью и искренностью принесла пред алтарем свои верноподданнические чувства.

## XX

### В доме Хвостовой

Несколько часов петербургских политических безумств, не нашедших себе ни малейшего отзвука в Москве, отразились лишь роковым образом на частной жизни некоторых московских домов, родственники которых, более или менее близкие, оказались замешанными в гнусном злодействе.

К числу таких домов принадлежал и дом Ольги Николаевны Хвостовой, в котором, как мы знаем, жила Агния Павловна Хрущева — несчастная мать не менее несчастного сына.

Обеспечив щедростью своей троюродной сестры своего любимого сына, отправив его в Петербург в блестящий гвардейский полк, Агния Павловна была в совершенном восторге и ждала лишь известий об успехах своего Васи в обществе и по службе.

Через год-через два, думала она, он придет в отпуск, окруженный ореолом петербуржца-гвардейца, и будет блистать в московских гостиных.

Так мечтала мать.

Василий Васильевич в неделю-две присылал ей длинные письма, которые вечером читались вслух в гостиной Ольги Николаевны торжествующей матерью.

В них молодой человек подробно описывал свои занятия, знакомства, развлечения петербургской жизни, и тон этих писем был умышленно таков, что в нем не звучала ни одна грустная нотка прошлого.

Это все более и более успокаивало Агнию Павловну, серьезно побаивавшуюся сначала, чтобы блажь к кузине, как она называла чувство сына к Марье Валерьяновне, не оставила бы на жизни и карьере её любимца серьезный след.

— Видимо, выздоровел... совсем выздоровел... Слава Тебе, Господи! — шептала она про себя, ложась спать под впечатлением прочитанного письма из Петербурга.

При этих чтениях присутствовала и Зоя Никитишна, к которой, к слову сказать, Ольга Николаевна и Агния Павловна успели очень быстро и сильно привязаться. Она внесла относительную жизнь в осиротелый после отъ-

езда молодого Хрущева дом Хвостовой.

Внимательно, но с какой-то непонятной для присутствующих грустью, слушала она петербургские вести, сообщаемые Василием Васильевичем, а однажды даже поразила Хрущеву и Хвостову истерическим припадком, прервавшим чтение одного из таких писем.

В этом письме Василий Васильевич описывал свое знакомство в доме фон Зеемана с Зарудиным, Кудриным и графиней Натальей Федоровной Аракчеевой.

Обе старушки были в страшном недоумении.

— И с чего это с ней случилось?.. Кажется, ничего не было особенного в письме?.. — соображали они.

Когда Зоя Никитишна успокоилась, они обе осторожно приступили к ней с вопросами.

— Вы знаете этих новых знакомых Васи? — спросила Агния Павловна.

— Каких знакомых? — как будто не сразу поняла Зоя.

— А вот этих, о которых он пишет.

— Нет... Как же я могу знать их... я ни разу

не была в Петербурге, — спокойно ответила Белоглазова.

— Что же на тебя так повлияло?.. Из-за чего с тобой сделалось дурно? — задала вопрос Ольга Николаевна.

— Ей Богу, не знаю, ваше превосходительство... Простите, что испугала...

— Я не об этом... Я думала, что именно содержание письма... — смущенно, как бы начала оправдываться в высказанном подозрении Хвостова. — Может быть, Аракчеев... Он много сделал зла.

В глазах Ольги Николаевны блеснули слезы.

— Кто этот Аракчеев? — наивно спросила Зоя Никитишна.

— Ты не знаешь Аракчеева?

— Нет.

Наступил декабрь 1825 года.

От Василия Васильевича около месяца уже не было писем. Агния Павловна, писавшая сыну каждую неделю, а порой и чаще, ходила, как опущенная в воду.

— Заболел... умер... — то и дело твердила она Ольге Николаевне.

Та сначала успокаивала её, но затем, когда молчание Хрущева сделалось на самом деле подозрительным, стала беспокоиться и сама.

Беспокойство увеличилось, когда до Москвы долетела весть о происшествии 14 декабря.

Семейства, сыновья или родственники которых служили в гвардии, заволновались и потянулись в генерал-губернаторский дом узнать о судьбе своих близких.

Агния Павловна до того растерялась, что отпустить её справляться самой о сыне было невозможно, и Ольга Николаевна Хвостова лично поехала к князю Голицыну.

Последний, знавший хорошо её покойного мужа, принял её более чем любезно, внимательно выслушал и распорядился навести справку эстафетой.

— Через несколько дней вы получите, ваше превосходительство, самую точную справку... — отпустил он её из своего кабинета.

Эти несколько дней для совершенно упавшей духом Агнии Павловны и Ольги Николаевны показались целой вечностью.

Наконец, генерал-губернаторский курьер

привез Ольге Николаевне Хвостовой письмо, запечатанное траурной сургучной печатью с княжеским гербом.

Письмо было от генерал-губернатора.

Хрущева, Хвостова и Зоя Никитишна сидели в гостиной за работой.

Когда лакей подал на серебряном подносе так, казалось, давно ожидаемый пакет, то Ольга Николаевна и Агния Павловна боязливо переглянулись и побледнели, как полотно.

Им показалось, что ожидание известия легче того момента, когда оно уже получено, и вот сейчас... все кончено...

Дрожащими руками сломала Хвостова сургучную печать, вынула письмо и, надвинув очки, начала читать его про себя.

— Читай вслух! — простонала Агния Павловна.

Ольга Николаевна, погруженная в чтение, казалось, не слыхала этого крика наболевшего сердца матери.

Вдруг крупные слезы неудержимо посыпались из её глаз.

— Что случилось... с ним?.. — снова с видимым усилием выкрикнула Хрущева.



Ольга Николаевна окончила чтение, бережно сложила письмо, положила его в конверт и, вынув носовой платок, вытерла слезы.

Агния Павловна сидела перед ней, как будто в столбняке, она поняла, что над её головой должен разразиться удар, и, казалось, боялась шевельнуться под занесенной уже над ней десницей роковой судьбы.

Ольга Николаевна медленно встала с дивана и подошла к креслу, на котором продолжала сидеть, не шевелясь и глядя куда-то в пространство, Хрущева.

— Агния... приготовься... — положила ей Хвостова руки на плечи, — не надо отчаянием оскорблять... Провидение... Это страшный грех!..

— Он убит? — спросила беззвучно одними губами Хрущева.

— Да! — чуть слышно отвечала Ольга Николаевна.

Тяжелый вздох вырвался из груди матери. Она схватилась за сердце и откинулась на спинку кресла.

Наступило томительное молчание. Слышно было только тяжелое дыхание Агнии Пав-

ловны, сухими глазами смотревшей На Хвостову.

— Защищая царя? — после долгой паузы спросила она.

— Нет! — скорее угадала по губам, нежели услышала она ответ Хвостовой.

Из груди Хрущевой вырвался неистовый крик. Она как-то моментально вытянулась и сползла с кресла. Раскрытые полные ужаса глаза остановились.

В ней сказалась русская мать, для которой измена сына тяжелей его смерти.

Почти окоченевшую Агнию Павловну отнесли в её спальню. Закаленная несчастиями, Ольга Николаевна не потерялась и распорядилась послать за доктором.

Явившийся Гофман заявил, что Хрущеву разбил паралич и что надежды нет.

— Конечно... все кончено... она без ум и без язык...

— Умрет? — спросила Хвостова.

— Не теперь... недель... другой... — отвечал Карл Карлович.

Доктор ошибся только на неделю. Три недели Агния Павловна пролежала полумерт-

вая, без языка, не приходя в сознание, и, наконец, умерла после глухой исповеди и причастия.

Все три недели, почти бессменно, дни и ночи ходила за ней Зоя Никитишна.

Такое самоотверженное человеколюбие девушки заставило Ольгу Николаевну ещё более привязаться к ней — она полюбила её, как родную дочь.

После похорон Хрущевой, тело которой опустили в фамильный склеп Хвостовых на кладбище Девичьего монастыря, в доме Ольги Николаевны стало ещё пустынное, ещё сиротливее.

Прошло более двух месяцев со дня смерти Агнии Павловны, когда на её имя было получено письмо.

Ольга Николаевна была поражена, узнав руку Василия Васильевича, за упокой души которого она не раз уже служила панихиды.

В письме к матери он каялся в своем преступлении и писал, что надеется тяжелою солдатскою службою загладить свой грех и беззаветной преданностью царю и отечеству доказать свое искреннее бесповоротное ис-

правление.

Дня через два после этого письма прислано было на имя Хвостовой от князя Голицына письмо, в котором излагалась точная справка о судьбе корнета гвардии Василия Васильевича Хрущева.

«Поздно... — пронеслось в голове Хвостовой. — Впрочем, она умерла не от известия о смерти сына, а от известия о его преступлении... Она там будет молиться за него и Господь по молитве матери даст ему силу совершить подвиг исправления до конца...»

Василий Васильевич в том же письме восторженно описывал графиню Наталью Федоровну Аракчееву, её участие во время его болезни, её хлопоты за него перед её всесильным мужем и просил мать молиться за неё.

Ольга Николаевна тотчас же записала в свое поминание в отделе «о здравии» имя «Наталия».

Она рассказала содержание письма Зое Никитишне и, рассказывая о доброте графини Аракчеевой, случайно посмотрела на Белоголазову.

Лицо последней исказилось такой болез-

ненной злобой, что Хвостова прервала свою речь на полуслове.

— Что с тобой опять, Зоя? — не выдержала старуха.

— Ничего... у меня изжога... не знаю с чего... — ответила та, закрыв лицо руками.

Когда она опустила руки, выражение, поразившее Ольгу Николаевну, исчезло.

На дворе стоял великий пост — объяснение было вероятно, но Хвостова все-таки сомнительно покачала головой.

«Она знает её... Она лжет, что не была в Петербурге! — пронеслось в её голове. — Тут какая-то тайна!»

«Что мне за дело до чужой тайны?» — остановила самое себя Ольга Николаевна.

В тот же вечер она написала Василию Васильевичу письмо, полное нежных утешений, скрыв от него, что причиной смерти его матери было полученное известие о его преступлении.

Жизнь в доме Хвостовой после этих эпизодов снова вошла в свою обычную печальную колею.

Злой рок, казалось, утомился сыпать уда-

ры на голову многострадальной Хвостовой.

Прошло несколько дней.

Курьер генерал-губернатора снова появился в доме Ольги Николаевны с письмом от князя Дмитрия Владимировича Голицына.

На этот раз курьер привез неожиданную радость.

Князь писал, что по полученным им известиям, Петр Валерьянович Хвостов, награжденный чином полковника, уволен в отставку с мундиром, пенсионом и уже выехал из Петербурга. При письме была приложена копия с высочайшего приказа.

В тот же день вечером пришло письмо и от самого Петра Валерьяновича, который писал уже с дороги в Москву.

Непривычная радость, видимо, подействовала сильнее на крепкую духом Хвостову, она разрыдалась до потери сознания, но вскоре, впрочем, оправилась и стала готовиться к встрече дорогого гостя.

Дня через два, ранним утром, дорожная карета въехала в ворота дома на Сивцевом Вражке и через минуту, считавшийся мертвым сын был в объятиях своей матери.

Петр Валерьянович постарел до неузнаваемости — два страдальческих года не прошли бесследно.

## XXI

### Татьяна Борисовна

В то время, к которому относится наш рассказ, племянница Настасьи Федоровны Минкиной, которую только один граф Алексей Андреевич продолжал звать «Таней» и «Танюшей», для всех остальных уже сделалась Татьяной Борисовной.

Ей шел семнадцатый год, но на вид она казалась старше.

Высокая, с не по летам развитыми грудью и торсом, она отчасти напоминала свою тетку, хотя далеко уступала ей в красоте.

Темно-каштановая толстая коса спускалась далеко ниже пояса — Татьяна Борисовна заплетала волосы в одну косу и почти всегда носила русский костюм, который очень шел к её круглому, чисто славянского типа лицу цвета, что называется, «кровь с молоком».

Лучшим украшением этого лица все-таки

были большие, иссиня-серые глаза с зеленоватым отливом, делавшимся заметнее в минуты волнения их обладательницы.

С летами своевольная шаловливая девочка угомонилась, но все же воспитание её, отличавшееся столь резкими переходами из барских хором на скотный двор и обратно, не осталось без влияния на характер и нравственную физиономию молодой девушки.

По окончательном удалении от государственных дел, граф Алексей Андреевич сам занялся её образованием, но успел лишь выучить её русской грамоте и начальной арифметике. Законом Божьим занимался с ней грузинский священник, отец Иван.

К шестнадцати годам образование её было окончено, и граф предоставил её самой себе, давая ей книги из своей библиотеки. Библиотека эта не отличалась выбором нравственных сочинений, книги давались без разбора, и беспорядочное чтение в связи с формирующимся физическим развитием поселили в уме и сердце Татьяны Борисовны такой хаос мыслей и чувств, что она не в силах была в них разобраться.



Она чувствовала лишь сначала какую-то неопределенную неудовлетворенность, то хандрила по целым дням, то делалась неестественно шумна и весела; все это сопровождалось капризами и подчас отчаянными выходками — остатками своевольного детства.

На Татьяну Борисовну, как выражались дворовые села Грузина, «находило» — она то убегала в лес даже в суровую осень и пропадала там по целым дням, пока, по распоряжению графа, посланные его не находили её сидящей под деревом в каком-то оцепенении и не доставляли домой, то забиралась в собор и по целым суткам молилась до изнеможения, и тут уже никакие посланные не в состоянии были вернуть её в дом, пока она не падала без чувств и её не выносили из церкви на руках, то вдруг, выпросив у графа бутылку вина, пила и пила вином дворовых девушек, заставляла их петь песни и водить хороводы, сама принимала участие в этих забавах, вдруг задумывалась в самом их разгаре, а затем начинала неистово хохотать и хохотала до истерического припадка.

При малейшем возражении и отказе со

стороны графа, она поднимала такую бурю, бросалась на пол, билась руками и ногами и так неистово кричала, что Алексей Андреевич кончал тем, что исполнял каприз «взбалмошной девчонки», как он обзывал, и то не в глаза, Татьяну Борисовну.

Граф Алексей Андреевич хорошо понимал причину этих выходов своей любимицы. Он, умудренный житейским опытом, ясно видел, что Татьяну Борисовну пора выдавать замуж, но во что бы то ни стало старался отогнать эту для него неприятную мысль, опровергая это внутреннее свое сознание чисто деланными искусственными рассуждениями и убеждениями самого себя вопреки действительно-го положения дела, что «Танюша ещё совсем ребенок».

Цыганская кровь, между тем, кровь матери, как уверяли сестры Минкиной, клокотала, как говорится, во всю в этом ребенке.

Сердце девушки просило любви, требовало страсти.

Граф настойчиво закрывал на это глаза и продолжал уверять и себя, и окружающих:

— Малолеток ещё, просто балуется!..

Такое упорное отрицание очевидности происходило от странного характера привязанности графа к этой девушке. Мы уже заметили, что это чувство было старчески-эгоистическое. Граф не мог не только вообразить себе, что он останется в Грузии без Танюши, но ещё более не мог допустить, что кто-либо другой завладеет ею и отнимет её у него. Ему доставляло удовольствие исполнять её капризы, ухаживать за ней во время её припадков злобы, ссориться и мириться с нею, трепать её по свежей щечке и целовать в как бы из мрамора выточенный лоб, гулять с нею под руку по аллеям грузинского сада, чувствовать трепетание молодой груди и иногда прерывистое, полное нетронутой страсти дыхание молодой девушки.

Это не была, таким образом, привязанность отца, не была и ревность любовника, каким не мог быть для свежей молодой девушки одряхлевший от болезни и ударов судьбы Алексей Андреевич, но все же в этой привязанности было какое-то плотское чувство, которое остается всегда в натуре устаревших «женолюбцев», каким всю жизнь был

граф Аракчеев.

Чувство это доходило до того, что граф почти бесповоротно решил в своем уме, что лучше он лишится её, чем отдаст её своими руками другому. Это было чувство скупца, дрожащего над своими сокровищами, лежащими совершенно без пользы для него самого в его сундуках.

Граф мучился и в каждом новом лице, появлявшемся в его грузинском доме, особенно молодым, видел этого «другого», собирающегося отнять у него его сокровище.

Поэтому-то граф не любил новых лиц, нарушавших его уединение, и хотя любезно, но холодно принимал некоторых офицеров военных поселений, приезжавших к нему по старой памяти «на поклон».

Быть может, это происходило и потому, что эти явки «на поклон» напоминали ему былое его могущество и горечь настоящего положения «опального».

Кружок графа состоял из немногих лиц: священник отец Иван, Федор Карлович фон Фрикен, продолжавший и после падения графа сохранять к нему чисто сердечную привяз-

занность, домашний врач графа Семен Павлович Орлицкий, и два-три офицера из тех, которые, зная слабость Алексея Андреевича, даже беглым взглядом не обращали внимания на Татьяну Борисовну.

И эти гости, впрочем, собирались не часто, и, в общем, жизнь в Грузине была томительно-однообразно скучна.

Граф был угрюм, и это настроение сообщалось гостям. Лишь изредка тучи на лбу грузинского отшельника рассеивались, и он добродушно шутил со своими гостями, особенно с молодыми офицерами. Любимым коньком разговора Алексея Андреевича было современное военное воспитание.

— У вас в корпусах нынче все вежливости да нежности, — говаривал он, — все «Вы», да «Вас»; а в наше время, бывало, отдерут в субботу правого и виноватого и тогда отпустят домой. Зато учились хорошо и годились на всякий род службы.

Когда граф был в таком благодушном настроении, то офицеры с ним спорили довольно бесцеремонно.

Эти споры обыкновенно происходили за

обедом.

Обеды эти были прекрасны — граф любил поесть хорошо, и особенно любил угостить — черта гостеприимства, унаследованная им от отца.

Во время обеда за стулом графа стоял казачок и летом отгонял мух опахалом из павлиньих перьев.

Летом зачастую обеденный стол накрывался в саду, у бюста императора Павла Петровича, против которого оставалось незанятое место и во время обеда ставилась на стол каждая перемена кушанья; в конце обеда подавался кофе, и граф Аракчеев, взяв первую чашку, выливал её к подножию императорского бюста, после же этого возлияния он брал уже другую чашку.

На личности домашнего врача Алексея Андреевича — Семене Павловиче Орлицком — мы остановимся несколько дольше, так как он сыграл в грузинской жизни графа хотя небольшую, но все же некоторую роль.

Семен Павлович был красивый, высокого роста мужчина, светлый шатен, с серьезными, вдумчивыми серыми глазами.

В описываемое нами время ему было лет под сорок.

За последнее время могущества графа Орлицкий был объездным врачом в поселениях полка короля Прусского. Этот полк Алексей Андреевич по этой причине особенно любил и проживал по неделям в особо предназначенной для него связи в 3-й поселенной, роте у Ложитовского моста, выстроенного производителем работ Алексеем Федоровичем Львовым. Здесь граф разговаривал с бабами, слушал их сплетни, заходил к поселянкам в отсутствие хозяев.

Возвращаясь раз осенью из бывших саперных рот близ мызы графа Сперанского мимо мызы, занимаемой графом, Семен Павлович взглянул в окно и увидал, что Аракчеев не только машет ему рукою, но и стучит в оконную раму.

«Беда, — подумал Орлицкий, — вероятно, какой-нибудь недосмотр с моей стороны или со стороны фельдшера».

Он перепугался, да и нельзя было не перепугаться при тогдашних строгостях, но делать нечего, надо было явиться.

Очистив свою обувь от грязи, он вошел по заднему крыльцу в приемную залу. Не прошло нескольких минут, как к нему вышел дежурный адъютант и спросил:

— Что вам угодно?

Орлицкий рассказал, в чем дело.

Адъютант пошел сейчас же доложить графу и вскоре возвратился.

— Граф приказал вам ждать! — сказал он, а затем тихо добавил: — Все ли у вас в порядке, так как граф прогуливался ещё рано утром и заходил в некоторые мызы, где вы, может, не были, и больным не было дано помощи.

Дверь кабинета отворилась, и из неё вышел Алексей Андреевич, с довольным, веселым видом, кивая головой Орлицкому.

— Я, братец ты мой, был сегодня у тебя, желал с тобой поближе познакомиться, но жаль, что не застал тебя дома.

«Слава Богу, — подумал про себя Семен Павлович, — а то быть бы мне на гауптвахте», — и вслух добавил:

— Вышел по службе, ваше сиятельство!

— Знаю, знаю... слышал, что ты поселян бережешь и о них заботишься, служи, как



служишь, и я тебя не забуду. Прощай!

По возвращении домой с облегченным сердцем, Семен Павлович узнал из доклада денщика, что вскоре после его ухода из дома, часов в шесть утра, граф, никем незамеченный, зашел к нему и спросил:

— Дома ли лекарь?

— Никак нет-с, ваше сиятельство, — отвечал денщик, — так как барин мой давно уже уехал и ранее сумерек не возвратится.

— Ты, братец, врешь. Вероятно, твой барин и дома не ночевал, а у кого-нибудь в карты играет.

— Никак нет-с, ваше сиятельство, барину некогда в карты играть.

— А что у вас там, в мезонине? — спросил граф.

— Аптека.

— Веди меня туда.

Алексей Андреевич застал там засаленного аптекарского ученика и снова спросил об Орлицком. Получив такой же ответ, как и от денщика, граф сказал:

— Как же ты, братец, лжешь, когда денщик мне передал, что лекарь и дома не ночевал!

— Денщик не прав, ваше сиятельство, ибо лекарь уже давно уехал, и по его рецепту я приготавливаю лекарство, — отвечал засаленный аптекарский ученик.

Граф вообще не любил щеголей, полагая, что подобные люди плохие работники и занимаются более своей персоной, нежели делом.

Поблагодарив денщика за найденный уже так рано порядок в комнатах, Алексей Андреевич отправился дальше.

Несколько времени спустя пришлось Орлицкому посетить одну больную крестьянку, которая его спросила:

— Помните, ваше благородие, когда вы с неделю тому назад проезжали здесь мимо, взглянули в окно, и я вам кланялась?

— Очень хорошо помню, но что же?

— А больше ничего, что в это время стоял за моею спиной граф и спросил, кому я так низко кланялась? «Нашему лекарю, ваше сиятельство! Дай Бог ему доброго здоровья, он нас лечит и бережет!..»

Этот маловажный случай был причиною посещения графом квартиры Орлицкого и по-

служил причиной его дальнейшего фавора.

По возвращении из заграницы, граф Алексей Андреевич попросил как милости, чтобы ему в домашние врачи командировали Семена Павловича.

Просьба была исполнена.

Орлицкий с женой, красивой, статной молодую женщиной, поселился в Грузии и уже жил года два до времени нашего рассказа.

## XXII

### Взрыв страсти

Семен Павлович Орлицкий отличался серьезностью и даже некоторой угрюмостью, составлявшей, видимо, не последствие лет, ни даже усиленных занятий, а бывшей свойством его характера.

Эта черта была особенно симпатична в докторе графу Алексею Андреевичу, характер которого тоже, как известно, не отличался игривостью. Они иногда по целым часам играли, как говорится, «в молчанку», изредка перекидываясь лаконичными фразами, и такое время препровождения им обоим, видимо, ка-

залось приятным.

Граф Аракчеев, конечно, не мог допустить и мысли, что этот угрюмый, строгий, нелюбимый даже окружающими человек, является героем романа, и даже серьезного романа, так ревниво охраняемой им — Тани.

Не подозревал возможности стать героем романа молодой девушки и сам Семен Павлович.

Если бы за несколько дней до рокового момента кто-нибудь бы выразил Орлицкому лишь подозрение возможности его связи с Татьяной Борисовной, он взглянул бы на такого человека, как на сумасшедшего — так неестественна, даже омерзительна показалась бы ему эта нелепая мысль.

А между тем, все это совершилось, и совершилось с такою невообразимою быстротою, что Семен Павлович сам не мог хорошенько дать себе отчет в случившемся, и без воли, без мысли был подхвачен потоком нахлынувшей на него страсти, страсти девушки, долго сдерживаемой, и тем с большею силою вырвавшейся наружу.

Но расскажем все по порядку.

Томительное однообразие грузинской жизни, мертвящая скука, царившая в графском доме, доведившая Татьяну Борисовну до описанных нами безумных выходок, заставила её, наконец, наброситься на чтение переводных французских романов, которые она и стала поглощать без разбора с невероятною быстротой.

Чтение это не осталось без влияния и открыло ей новый мир, мир плотской любви, как раз попавший в тон её страстной натуры.

Она поняла причины её необъяснимого до сих пор томления, и образ мужчины стал неотступно носиться перед её духовным взором.

С трепетным волнением она читала и перечитывала, заучивала наизусть сцены и картины свиданий героев и героинь, подчас даже не прикрытые дымкой приличия — и восприимчивая её натура быстро всасывала в себя развращающие соки этих описаний.

Она начала искать себе «героя», и выбор её пал на Семена Павловича Орлицкого, мужская красота которого подходила ко многим романическим описаниям — его угрюмый, се-

рбезный вид не оттолкнул молодой девушки, а напротив, раздражал её страсть, и она в своих мечтах даже установила причину этой угрюмости, этого нелюдимства в семейном несчастье доктора, окружив его ореолом мученика законного брака.

«Он не ведает страсти, — думала она, — я введу его в её капище... Со мной, только со мной поймет он жизнь и даст жизнь мне...»

Это было почти дословное повторение слов одной из героинь прочтенного Татьяной Борисовной романа.

Но как овладеть человеком, сделать его против воли «героем романа»? Вот вопросы, которые предстояло разрешить молодой девушке.

Из романов она уже знала много средств к этому, но томные, красноречивые взгляды, вызывающие улыбки, технику которых Татьяна Борисовна изучала даже перед зеркалом, не помогали.

Угрюмый доктор, пользовавший молодую девушку от приключавшегося нездоровья, казалось, не замечал их, и его холодно-равнодушный тон при посещениях выводил из себя

пылкую девушку.

На решительный шаг, ввиду постоянного присутствия кого-либо из прислуги при визитах Орлицкого в её комнату, она не решалась.

Все героини французских романов имели своих наперсниц, которые помогали им в устройстве любовных свиданий. Татьяна Борисовна решила, что и ей необходима наперсница.

Исключительно к ней приставленная горничная — молодая девушка Настя — показала ей совершенно подходящей для такой роли.

Она стала готовить её к ней.

Это было нетрудно: несколько небольших подачек в виде ленточек, старых платьев и мелких денег сделали Настю преданной, верной своей госпоже собачкой.

Когда Татьяна Борисовна увидела, что на созданную ею наперсницу можно положитьсь, она начала пускаться с ней в откровенности.

— Настя, голубушка, ты кого-нибудь любишь? — спросила она её раз, когда они поздним вечером, перед отходом ко сну, были

вдвоем в комнате Татьяны Борисовны.

Настя потупилась и покраснела.

— Любишь, любишь!.. — радостно захлопала в ладоши Татьяна Борисовна, заметив смущение девушки. — Милочка Настенька, расскажи, кого, как?..

— И на что вам, барышня, о нашей мужицкой блажи знать приспичило? — вместо ответа спросила Настя.

— Какая там блажь, Настя, это любовь, понимаешь, любовь, чувство, которым живет все в мире, и которое повелевает всеми, от царя до нищего, перед ней все равны и все ничтожны, — разразилась Татьяна Борисовна слово в слово заученною тирадою из романа. — Понимаешь?

— Понимаю... — скорее из угодливости, нежели искренно отвечала девушка.

— А если понимаешь, то должна понимать также, что рассказ о любви очень интересен, о ней целые книжки пишут...

— Пишут... это об нашей-то... — сомнительно покачала головой Настя.

— Все равно, обо всякой... вообще о любви... — заметила Татьяна Борисовна. — Так



расскажи же... Мне не хочется спать...

Татьяна Борисовна окончила раздеваться и легла в постель.

— Садись здесь на постели и рассказывай...

— Я, барышня, и так, стоя...

— Говорю, садись...

Настя села на край постели и шепотом начала передавать Татьяне Борисовне о своем романе с поваренком Сергеем...

Молодая девушка слушала её с пылающим лицом.

— Ты что же за него замуж не выходишь? — спросила она.

— Граф не позволит, ему девятнадцать только... а мне уже двадцать второй... Его сиятельство скажет, не пара, и только нам сильно достанется... Уж мы так...

— То есть как так?

Настя ещё более покраснела.

— Говори, говори...

Горничная заговорила ещё тише, совсем наклонившись к Татьяне Борисовне.

Та, видимо, жадно ловила каждое её слово.

— И я тоже люблю, Настя, — сказала она по окончании рассказа.

— Вы, барышня!

— Да, и знаешь кого?

— Недомекнусь... кого же здесь вам... любить... Верно, из приезжих.

— Нет, он живет здесь...

— Здесь? — с недоумением повторила Настя.

— Да, здесь... Я люблю Семена Павловича. Настя даже вскочила с места.

— Лекаря... буку?..

— Он несчастлив... оттого и мрачен...

— Зверь... — решительным тоном сказала Настя.

— Зверя-то и приручить... — проговорила молодая девушка опять фразою из романа. — Ты мне поможешь? — заискивающим тоном продолжала она.

— Я?!

— Да, ты...

— Что же я могу?..

— А я вот сейчас... как все заснут, заболую и пошлю тебя за ним... Он придет, а ты уйдешь...

— Что вы, барышня?.. Ночью... с ним вы с глазу на глаз останетесь... И не страшно?

Настя наклонилась к Татьяне Борисовне и что-то озабоченно зашептала.

«Пустяки...» — решила молодая девушка.

— А как граф узнает, что я в этом деле вам потворщица... не миновать мне конюшни... — испуганно заметила Настя.

— А как он это узнает?.. Заболеть что ли я не могу... а ты перепугаться и побежать за доктором...

— Отчего, скажет, меня не разбудили... ведь вы знаете, что он с вами, как с сырым яйцом носится...

— Мне ли не знать, надоел до одури...

— Вот то-то и оно-то...

— Скажешь, беспокоить не осмелилась... Сделай, голубушка, как я говорю... если меня любишь... Иначе, сейчас же убегу... до утра...

— С нами крестная сила... Ведь октябрь к концу идет, на дворе холодина такая... сырость...

— Все равно... Умирать, так умирать... а так жить я не могу... слышишь, не могу...

Татьяна Борисовна схватилась за голову.

— Слышу-с, барышня, слышу-с... Будь по-вашему... сделаю... себя не пожалею, а сде-

лаю... Только не дело вы затеваете... Скажет он все графу... помяните мое слово... Тем все и кончится...

— Небось... не скажет... тоже не из железа, чай, истукан он...

— Истукан, верное слово сказали, истукан...

— Посмотрим...

Часа два ещё говорила с Настей Татьяна Борисовна и, наконец, послала её убедиться, все ли заснули в графском доме. Настя вернулась через несколько минут.

— Все, барышня, кажись, спят, тихо!

— Так ступай!

— Ох, барышня, не отложить ли?! — покачала головой Настя.

— Ступай! — уже нетерпеливо, с сердцем крикнула Татьяна Борисовна.

Настя вышла не спеша, продолжая качать головой.

Татьяна Борисовна осталась одна и стала вслушиваться в окружающую тишину.

«Будь что будет... — мелькнуло в её голове. — Не истукан же он, на самом деле...»

Она откинула одеяло и оглядела себя с са-

модовольным видом. Высокая девственная грудь от переживаемого волнения страсти, распаленной рассказами горничной, колыхалась под тонким полотном сорочки, обнаженное плечо и полная рука, казалось, были изваяны из розового мрамора и покрыты тем мелким пухом, который делает сходство плеча молодой девушки с нежным персиком.

Надо было быть на самом деле истуканом, чтобы устоять против этого чарующего соблазна.

Татьяна Борисовна натянула одеяло на себя и продолжала прислушиваться... Щеки её пылали горячечным румянцем, глаза сверкали лихорадочным блеском — она была несомненно больна, больна избытком здоровья.

В голове её носилась во всех подробностях та сцена французского романа, которую она решила повторить с Семеном Павловичем. Там тоже был доктор и молодая жена старого барона, которую он держал взаперти.

Татьяна Борисовна не знала, что её тетка Настасья Минкина собственным умом дошла до почти подобной же сцены, которую она, как припомнит читатель, проделала с Егором

Егоровичем Воскресенским.

Наконец послышались шаги. Татьяна Борисовна узнала тяжелую походку доктора и торопливую — Насти.

Молодая девушка замерла и даже как-то съежилась в ожидании. Ей вдруг сделалось страшно.

Дверь отворилась, и в комнату вошел Семен Павлович со своим обыкновенным серьезно-угрюмым видом.

Настя, отворив ему дверь, тотчас плотно затворила её и осталась в соседней комнате.

Татьяна Борисовна лежала не шевелясь, с устремленными в одну точку глазами.

— Заболели... чем?.. — отрывисто спросил Орлицкий.

Больная не отвечала.

Семен Павлович положил ей руку на голову.

— Жар! Жажда есть?.. Дайте руку...

Татьяна Борисовна высвободила правую руку из-под одеяла и молча подала её доктору.

Тот стал слушать пульс, глядя на вынутые часы.

Он не заметил искрящихся зеленым огнем глаз молодой девушки, неподвижно устремленных на него.

— Жар, сильный жар... — повторил как бы про себя Орлицкий. — ещё где чувствуете боль?

— Здесь! — указала, освободив левую руку, на грудь Татьяна Борисовна.

Семен Павлович бесстрастно откинув одеяло, наклонился к груди молодой девушки, чтобы выслушать её.

Вдруг больная обхватила его за шею горячими руками стала покрывать его лицо, глаза, губы страстными поцелуями.

Ошеломленный неожиданностью, Орлицкий с силой отшатнулся от постели, но руки Татьяны Борисовны точно окостенели и она всем туловищем повисла на шее Орлицкого, продолжая целовать его с бешеной страстью.

Слабый полусвет лампы освещал её огнем пылавшее лицо с блестящими, уже совершенно зелеными глазами, её колыхавшуюся страстью роскошную грудь.

В глазах Семена Павловича вдруг сверкнул огонь ответной страсти... Руки против его во-

ли обхватили талию молодой девушки.

Их губы слились во взаимном поцелуе...

Настя сладко вздремнула в соседней комнате. Её разбудил Орлицкий.

— Иди спать! Татьяне Борисовне лучше, — сказал он.

Голос его дрожал.

«И впрямь, он не истукан!» — ухмыляясь, думала она, провожая из-дому Семена Павловича.

## XXIII

### Отрезвление

Вернувшись к себе после совершенно неожиданного по своим последствиям визита к внезапно заболевшей Татьяне Борисовне, Семен Павлович Орлицкий без мысли, как подкошенный, упал, не раздеваясь, на диван в своем кабинете и заснул, как убитый.

Только на утро все происшедшее ночью живо восстало в его памяти, и холодный пот выступил на его лбу.

Сначала ему показалось, что это был страшный сон, но увы, он вскоре должен был



отбросить это утешительное предположение — то, что совершилось, была ужасная действительность.

Он сделался любовником воспитанницы графа Аракчеева, восемнадцатилетней молодой девушки!

Семен Павлович стал припоминать подробности ночного приключения, и ужас его поступка ещё более усилился в его глазах.

«Она было просто в горячечном бреде, а я негодяй воспользовался этим её болезненным состоянием!» — думал он, и волосы его при этой мысли поднимались дыбом.

Он и не подозревал, что это свидание было заранее обдуманно и устроено по плану одного из романов из графской библиотеки.

«Что делать теперь? Как вести себя?» — возникали в его голове вопросы, возникали и оставались без ответа.

Какая-то двойственность появилась в его мыслях. С одной стороны, голос рассудка говорил, что ему следует бежать из этого дома и более никогда не встречаться с жертвой его гнусного преступления, какую считал он Татьяну Борисовну, а с другой, голос страсти, бо-

лее сильный, чем первый, нашептывал в его уши всю соблазнительную прелесть обладания молодой девушкой, рисовал картины её девственной красоты, силу и очарование её молодой страсти, и снова, как во вчерашнюю роковую ночь, кровь бросалась ему в голову, стучала в висках, и он снова почти терял сознание.

Никакие рассуждения не помогали — Семен Павлович понял, что, несмотря на его лета, его без вспышек настоящей страсти прошедшая молодость давала себя знать сохранившимися жизненными силами, которые, вопреки рассудку, деспотически подчиняли его себе. Он понял, что он весь во власти вспыхнувшей в нем поздней страсти к Татьяне Борисовне и от воли последней будет зависеть его дальнейшее поведение, даже его жизнь, пока пробужденная ею страсть не утомится сама собою всеисцеляющим временем.

Тогда только наступит отрезвление, которое безуспешно призывать голосом рассудка.

«Будь что будет!» — решил он и отправился с обычным утренним визитом к графу.

Первая, кто встретила его, была Татьяна Борисовна. Она, видимо, поджидала его и поздоровалась без малейшего смущения. Он казался смущеннее, чем она, и с усилием заставил себя взглянуть ей в глаза. Эти глаза смеялись, и вся она дышала какой-то особой свежестью и ещё большей привлекательной красотой. Так, по крайней мере, показалось ему.

— Сегодня после обеда в зеркальной беседке, — успела шепнуть она ему.

Он кивнул головой, и в этой голове мелькнула последняя мысль о его бессилии перед этой девушкой, являющейся олицетворением прелести греха, — он почувствовал себя подхваченным быстрым течением и отдался ему, так как бороться у него не было сил.

Зеркальная беседка находилась в глубине грузинского сада и в прежнее время была свидетельницей многих мимолетных романов графа с приглянувшимися ему дворовыми девушками. Искусно сделанным механизмом украшавшие стены зеркала поворачивались на шарнирах и открывали ряд картин соблазнительного содержания. В описываемое нами время её уже не посещал Алексей Андреевич

и, только исполняя каприз Тани, отдал ей от неё ключ. Она любила уединяться в этой беседке, не подозревая секрета зеркал, который, конечно, не открыл ей старый граф.

Беседка была приспособлена для свиданий — её-то и избрала Татьяна Борисовна.

Прошло несколько месяцев. Угар страсти в Семене Павловиче прошел, наступило отрезвление.

Семен Павлович с ужасом думал о роковой связи, которая с минуты на минуту могла быть открыта графом Алексеем Андреевичем, хотя и не прежним властным распорядителем служащих, но все же могущим путем личного письма к государю погубить такую мелкую сошку, как полковой лекарь, да ещё и за несомненную вину, за безнравственность.

Эта мысль стала отравлять ему часы свиданий в зеркальной беседке, свиданий, к слову сказать, порядком надоевших Орлицкому, и потерявших обаятельную прелесть новизны. Сорокалетний возраст давал себя знать...

Случай выручил его из беды сравнительно легко.

Сплетня грузинской дворни о «дохтуре» и

барышне или «ведьминой племяннице», как втихомолку звали грузинские дворовые и крестьяне Татьяну Борисовну, дошла до графа. Он понял её только в том смысле, что между Орлицким и Танюшей начинаются «шуры-муры» и, конечно, тотчас принял решительные меры, особенно когда пойманные им на лету несколько взглядов Татьяны Борисовны на доктора подтвердили основательность этой сплетни.

В один прекрасный день Татьяна Борисовна была отправлена в Новгород, в Свято-Духов монастырь, к игуменье Максимилиане Петровне Шишкиной, под предлогом обучения рукоделью, а Орлицкий был отозван в Петербург.

Граф сухо простился со своим бывшим любимцем, но не сказал ему ни слова.

Так окончился мимолетный грузинский роман угрюмого врача.

Семен Павлович благословляет судьбу, что так сравнительно благополучно расстался с графом Алексеем Андреевичем, и вместе с своею женою, добродушной, ничего не подозревавшей женщиной, далекой от грузинских

сплетен, уехал в Петербург.

Граф через Федора Карловича фон Фрикена предложил врачу новгородского госпиталя, Ивану Ивановичу Азиатову, которого граф Алексей Андреевич знал ранее и часто у него пользовался, и даже был крестным отцом его сына, занять место Орлицкого, но тот уклонился и просил поблагодарить графа за оказанную честь.

Несмотря на это, через несколько дней в Новгород приехал Орлицкий и явился к Азиатову, с которым был сослуживцем по военным поселениям.

— Поздравляю тебя, ты назначен состоять при графе Аракчееве, — были его первые слова, — а мне предписано принять от тебя госпиталь. Вот тебе предписание медицинского департамента с приложением высочайшего приказа, распорядись, как знаешь.

— Я в Грузино не поеду, — отвечал Азиатов, — ты сам знаешь, какое там житье... Приезжай завтра в госпиталь и вручи мне бумаги в конторе.

— Прощай, брат, завтра увидимся, — ответил Семен Павлович и уехал.

Иван Иванович не знал, с чего начать, но подумав немного, поехал, хотя уже довольно поздно, к генерал-лейтенанту Данилову и, рассказав в чем дело, просил его превосходительство уволить его хотя на четыре дня в Петербург, на что тот и согласился, хотя выразил мнение, что все хлопоты отделаться от графа ни к чему не поведут, тем более, что высочайший приказ уже состоялся, но все-таки приказал снабдить билетом.

На другой день, прибыв в контору госпиталя, Иван Иванович уже застал там Орлицкого, который и вручил ему бумаги, а Азиатов сообщил ему, что он ещё вчера уволен генерал-лейтенантом Даниловым в Санкт-Петербург на 4 дня и до его возвращения приказал приготовить все необходимое для сдачи госпиталя и, передав свою должность, отправился в Грузино.

Он прибыл туда около шести часов вечера и остановился в доме для приезжающих, так называемой «гостинице». С полчаса спустя, пришел грузинский полицеймейстер господин Макариус и передал доктору желание графа видеть его сейчас же, так как чай уже

подан.

Одевшись, против обыкновения, в мундир, он отправился в главный дом и застал графа за чайным столом.

— Что это у тебя, братец, новый мундир что ли, что приехал в мундире? — встретил его Алексей Андреевич.

— Никак нет, ваше сиятельство, но был назначен состоять при особе вашей, долгом счел явиться, — отвечал Азиатов и сообщил графу о переданном ему предписании медицинского департамента и высочайшем приказе.

— Не думал я, чтобы государь так скоро исполнил мою просьбу. Спасибо Якову Васильевичу Виллие за его дружбу ко мне, больному старику. Вы уже совсем из Новгорода?

— Никак нет; а ежели ваше сиятельство позволите, то мне нужно бы предварительно побывать в Петербурге по некоторым домашним обстоятельствам.

— Хорошо, но пожалуйста поторопись, ибо Орлицкий от меня уже отчислен.

— Слушаю-с, ваше сиятельство, но позвольте мне доложить, что на условиях, пере-



данных мне Федором Карловичем Фрикен, я служить у вас не могу. Вы даете мне 2500 рублей ассигнациями и квартиру, но это для меня недостаточно, так как все припасы у вас в Грузине дороже. Я имею теперь уже двоих детей и содержу двух старух, так что из определенного вашим сиятельством жалованья ничего отложить не могу, и совесть упрекала бы меня, что я, в угождение вашему сиятельству, жертвую благосостоянием своего семейства. Прибавьте же 500 рублей, и я готов остаться у вас до гробовой доски, побережь вас, сколько хватит знания и опытности, готов пользоваться и крестьян ваших по деревням, как мой предместник.

— Ты, брат, в Новгороде избалован, — сказал граф, — впрочем, здесь рассуждать нечего, у тебя высочайший приказ, а это свято.

— Я это очень хорошо понимаю, но какая вашему сиятельству охота иметь при себе врача, которому вы доверяете свою жизнь, против его воли и желания. Я обязан у вас служить, но 1 октября подам в отставку и все-таки вашему сиятельству придется искать себе другого врача.

Граф, видимо, расстроился, нахмурил брови и сказал в нос:

— Ступай в свой флигель и явись к утреннему чаю — тогда потолкуем. Покойной ночи.

Алексей Андреевич ушел в кабинет.

Не спав почти всю ночь, Азиатов явился к графу в шесть часов утра и застал его с чайником в руке, так как после трагической смерти Настасьи Федоровны он редко кому доверял готовить чай, разве только приедем дамам или Татьяне Борисовне, которой в то время уже не было.

Походив по комнате с четверть часа и поглядывая на явившегося доктора с какою-то насмешливой и язвительной улыбкой, он наконец спросил:

— Хорошо ли ты обдумал вчерашний разговор?

— Как же, ваше сиятельство, но, к сожалению, я должен вам объявить, что, несмотря на ваше ко мне благодеяние и ласки, я у вас долее сентября остаться не могу. Извините мой дерзкий отказ, но я говорю от души, как отец семейства.

Граф переменялся в лице. Он был, видимо,

тронут этим ответом.

— Не ожидал я этого от тебя, любезный кум, — сказал граф и начал ходить по комнате и после некоторого раздумья спросил:

— Кто же назначен на ваше место в Новгороде?

— Орлицкий.

— Какой Орлицкий?

— Ваш бывший врач, Семен Павлович.

— Гм! Гм! Где же в настоящее время ваш госпиталь?

— В порожних строениях бывшей фабрики.

— Как? Следовательно, стена об стену с Духовным монастырем?

— Точно там.

Граф несколько минут оставался в раздумье и затем проговорил вполголоса:

— Этому не бывать.

— Знаете ли вы, за что я просил удалить господина Орлицкого? — обратился он к Азатову.

— Слышал кое-что, но мне что-то не верится.

— Но это так, и потому я отправил Татьяну

в Духов монастырь, а теперь предстоит им опять случай видеться и возобновить прежние отношения, но этому никогда не бывать. Я хотел их разлучить, но ваше сиятельство соединило их опять. Шутить, что ли, надо мной, стариком, хотят?

Граф, по-видимому, был вполне уверен, что все грузинские сплетни должны быть известны и медицинскому департаменту, который, чуждый, конечно, всем грузинским происшествиям, назначил Орлицкого в Новгород, а Азиатова в Грузино.

— Позвольте мне теперь отправиться, так как я уволен только на четыре дня, и господин Орлицкий ждет меня в Новгороде, — сказал Азиатов.

— Подождите немного, зайдите в библиотеку, там найдете разные новые модели и рисунки, — заметил граф и ушел в свой кабинет.

Через час доктор был позван к Алексею Андреевичу, который, вручая ему письмо к Якову Васильевичу Виллие, просил передать поклон.

Азиатов тотчас же отправился в Петербург и на другой день явился в медицинский де-

партамент к дежурному генералу и в департамент военных поселений. Везде он получил один и тот же вопрос.

— Вы из Грузина?

— Точно так.

— Хорошо, что исполнили так скоро волю государя.

Около двух часов Иван Иванович явился к Якову Васильевичу Виллие.

— Вы из Грузина?

— Точно так.

— Совсем переехали?

— Никак нет.

— Пожалуйста, поторопитесь, так как вы знаете, что граф без врача долго оставаться не может.

— Граф теперь здоров, просил передать вашему превосходительству свой дружеский поклон и вручить это письмо.

Яков Васильевич прочел письмо, взял свое увеличительное стекло, прочел вторично и задумался.

— Вы говорите, что граф здоров, но мне кажется, что он сошел с ума.

— Не думаю, так как при моем выезде вче-

ра вечером я ничего особенного не заметил.

— Знаете ли вы содержание письма?

— Никак нет.

— Граф просит меня об одной милости у государя — оставить вас на прежнем месте в Новгороде, обещая уже более не беспокоить государя о назначении ему врача. Скажите, пожалуйста, что за причина столь быстрого и крутого поворота? Может быть, вы сами умоляли графа остаться в Новгороде?

— Я и подумать не смел! — ответил Азиатов и рассказал историю с Татьяной Борисовной.

Яков Васильевич улыбнулся.

\* \* \*

Азиатов возвратился прямо в Новгород и вступил в прежнюю должность, а Орлицкий был назначен в Чугуевский госпиталь.

Граф Аракчеев пригласил к себе вольно-практикующегося врача, но вскоре его уволил и обращался к врачу военных поселений К. П. Миллеру и иногда к Азиатову.

Жизнь «грузинского отшельника» сделалась ещё более томительно одинока.

# ЧАСТЬ ШЕСТАЯ

## Кровавые дни

### I

#### На почтовой станции

Зима 1830 года отличалась чрезвычайно лютыми и продолжительными морозами.

В один из вечеров конца ноября месяца к почтовой станции Московского тракта недалеко от города Тихвина подъехал дормез, запряженный четверкой почтовых лошадей, и из него вышли две тепло закутанные с головы до ног женские фигуры.

Торопливо взобрались они на ступеньки крыльца станционного домика и в первой же комнате были встречены выбежавшей на звон колокольчика старушкой, благодушной, маленькой, со сморщенным в виде печеного яблока лицом, — женой станционного смотрителя Петра Петровича Власова — Софьей Сергеевной.

— Матушка, Наталья Федоровна! Добро пожаловать! — заволновалась старуха. — Толь-

ко не знаю, где мне вас поместить; пожалуйста уже к нам в горницы, потому для приезжих комната четвертый день занята и как освободить её ума не приложу... Такая беда стряслась, что жалости достойно!..

— Что такое, что случилось? — заволновалась одна из приезжих.

— Проходите, проходите, матушка, в горницу... Все расскажу по порядку... Может, советом мне поможете, что делать... Ум хорошо, а два лучше... Свой-то я на старости лет растеряла...

Софья Сергеевна отворила дверь, ведущую в квартиру смотрителя...

Приехавшая была графиня Наталья Федоровна Аракчеева со своей служанкой Ариной. Последняя, крепостная графини, ещё девочкой служила в доме Хомутовых и после смерти матери Натальи Федоровны была взята последней в качестве горничной.

Графиня ехала из своего имения близ Тихвина в Москву гостить к фон Зеemannу.

Антон Антонович уже более года, как вышел в отставку и переехал с женой и сыном в первопрестольную столицу, где получил весь-



ма видный пост по администрации.

Вскоре после переезда в Москву фон Зеemannов туда перебрались и Николай Павлович Зарудин со своим неизменным старым другом Андреем Павловичем Кудриным. Последних побудили расстаться с невской столицей, кроме перехода на службу в Москву Антона Антоновича цели масонского общества, совершенно прекратившегося в Петербурге и в небольших остатках ещё продолжавшего влачить свое существование в Белокаменной. Для поддержки и возможного развития дела и перебрались с берегов Невы на берега реки Москвы наши оба беззаветно преданные делу масонства приятели.

Наталья Федоровна Аракчеева была в душе очень довольна этим перенесением центра её симпатий из Петербурга в Москву, так как первый навевал на неё грустные воспоминания прошлого, и она с удовольствием выехала из него в свое новгородское имение, с тем, чтобы никогда в него не возвращаться.

Гостить она ездила теперь в Москву, город, ничем не связанный с её прошлым, и по душевности, простоте и радушию его обитате-

лей пришедшийся совершенно по душе графине.

Коричневый домик по 6-й линии Васильевского острова стоял с закрытыми, заколоченными досками ставнями и один в Петербурге остался немым свидетелем многолетних драм, разыгравшихся в нем в течение четверти века.

Мы застали графиню Аракчееву на почтовой станции Московского тракта, ехавшую уже третий раз в Москву и на этот раз рассчитывавшую пробыть в ней довольно продолжительное время, уступая усиленным просьбам Антона Антоновича и Лидии Павловны.

Пока с помощью своей горничной Наталья Федоровна разоблачалась от массы платков и шалей, буквально окутывавших её с головы до ног, Софья Сергеевна прерывающимся от волнения голосом рассказала ту беду, которая стряслась над ними дня четыре тому назад.

— В это же время, матушка Наталья Федоровна, — говорила жена смотрителя, знакомая давно с Аракчеевой, она знала, что та не любила, чтобы её титуловали «графиней» или «сиятельством», — мороз был ещё сильнее,

чем сегодняшней, дня четыре уже будет тому назад, да и темней было, не в пример, чем теперь, слышу я кто-то на крыльцо вбежал, отворил дверь и шасть в горницу. Выбежала я так же, как и к вам, со свечей, глядь — барыня в салопике[7] налегке и с ребеночком на руках стоит у порога и дико озирается... — Что вам, голубушка? — спрашиваю я, а она как зальется слезами да затрясется всем телом — меня мороз по коже подрал... Я без разговоров её ввела в горницу для приезжающих, усадила на диван, водицы испить дала, ну, она и успокоилась... Ребеночек у неё в легонькое одеяльце завернут был, ознобился, видно, на морозе, не шелохнется... Хотела я было у неё его взять, да не дает и таким диким взглядом меня окинула, что я попятилась... Поврежденная... грешный человек, про неё подумала.

Старушка приостановилась.

— Что же дальше? — спросила Наталья Федоровна, присевшая к столу, на котором Арина уже поставила вынутый из сундука чайный прибор, а сама побежала на кухню распорядиться самоваром. — Да вы присядьте...

Софья Сергеевна села на другой стул, сто-

явший около стола.

— Да кое-как я её опять успокоила, ребеночка она сама уложила на диван, с полгода ему, не более — девочка, крикнул он, да так пронзительно, что сердце у меня заохлодело... она его к груди, да, видно, молока совсем нет, ещё пуще кричать стал... смастерила я ему соску, подушек принесла, спать вместе с ней уложила его, соску взял и забылся, заснул, видимо, в тепле-то пригревшись... Самоварчик я соорудила и чайком стала мою путницу поить... И порассказала она мне всю свою судьбу горемычную... Зыбина она по фамилии...

— Зыбина! — перебила рассказчицу графиня и в её уме мелькнуло какое-то смутное воспоминание...

— Зыбина, матушка, Зыбина... имение тут у её мужа верстах в двенадцати, только не в вашу сторону, а в противоположную... С год они из чужих краев вернулись, ну и изверг же муж у неё, у несчастной, все как есть дочиста прожил, что за ней было, а денег была уйма — триста тысяч, сын у неё в Париже воспитывается, в чужие руки басурманам его

отдал, и с собой взять запретил, как назад в Россию они ехали. Здесь она девочку-то и родила, а супруг-то её закрутил, да запил, любовниц из дворовых завел, ночь не спит, пьет напропалую, а днем дрыхнет. Любовниц своих жену поносить заставляет... Не вытерпела она, сгрубила ему, так он её из дому выгнал с грудной девочкой... Она пешком к матери в Москву пробирается, да окоченела вся и зашла к нам... А мать-то её, как она говорит, богатая, пребогатая... Хвостова, по фамилии.

— Хвостова! — вскрикнула Наталья Федоровна. — А как зовут её, эту несчастную!..

— Марья Валерьяновна...

При произнесении этого имени в голове графини разом восстали уже совершенно определившиеся воспоминания. Она поняла, что в соседней комнате находится та самая Марья Валерьяновна Хвостова, которая была предметом безумной и безответной любви Василия Васильевича Хрущева, желавшего утопить эту несчастную любовь в мутных волнах политического заговора и поплатившегося за это почти четырехлетним пребыванием на Кавказе под тяжелою солдатскою лямкой.

Наталья Федоровна недавно узнала, что по ходатайству её уже теперь «опального» мужа, молодой Хрущев был прощен, произведен в офицеры и находился в настоящее время на службе в военных поселениях.

Узнала это она от него самого, приезжавшего к ней в имение и со слезами на глазах благодарившего её за свое спасение. Прошедшие лета и перенесенные невзгоды изменили и состарили Василия Васильевича до того, что Наталья Федоровна с трудом узнала его.

Рассказ Софьи Сергеевны приобрел для неё, в силу этого, ещё больший интерес.

— Продолжайте, продолжайте... — почти подавленным от волнения шепотом произнесла графиня.

Жена смотрителях удивлением взглянула на неё.

— А вы разве, матушка, её знаете?

— Слышала... Знала её родственника... Но что же дальше... Почему она до сих пор у вас... Заболела?..

— Заболела бы — не беда... Как-нибудь выходили бы... Хуже — совсем рехнулась... Я уже, прости мое согрешение, раскаиваюсь,

что её задержала, сказала ей, что авось проезжие господа до Москвы её по пути доставят, пешком идти куда же, не ближний свет, в мороз, да с ребенком... Переждите, я говорю, денек другой... — Денег у меня, говорит, нет и сама не знаю как до Москвы доберусь, — отвечает она... — Мне-то, говорю, ваших денег не надо, накормлю и напою и даже малость помочь могу, потом отдадите, да и проезжий иной добрый человек, тоже войдет в ваше положение. Вот и уговорила на свою голову...

— Чем же на свою... Я с удовольствием доставлю её в Москву... — сказала Наталья Федоровна. — И даже сама завезу к её матери...

— То-то и оно-то, что теперь поздно, она сама не нынче-завтра умрет, потому второй день не ест, не пьет и все качает мертвого ребенка... Прислушайтесь-ка... Просто за эти три дня мне всю душу своим заунывным пением вымотала.

Из соседней комнаты действительно слышались заунывные звуки.

— Да, уж удружила мне старуха постоялицу, кажется, на свой бы счет в Москву её отправил... И жалко-то, и тяжело... — вмешался

в разговор вышедший из соседней комнаты  
станционный смотритель — благообразный  
старик, одетый в вицмундир. — Здравствуйте,  
матушка Наталья Федоровна... Лошадок сей-  
час запрягать прикажете?

Он расшаркался по-военному перед графиней Аракчеевой и почтительно поцеловал протянутую ему руку.

— Нет, никаких там лошадей, я переночую... Если только не стесню вас...

— Какое там стеснение, для вас сами в чулан уйдем, все горницы предоставим.

— Зачем же это?.. Я, если можно, в этой комнате...

— Это я так, к слову... Устроим, устроим... — отвечал смотритель.

— Когда же умер ребенок? — обратилась Наталья Федоровна к Софье Сергеевне.

— Да в ночь же, как она пришла, жар у него начался, горлышко, видимо, схватило, а к утру он и преставился...

— Что же она?..

— Тут-то с ней и попритчилось. Как увидела она, что девочка-то её умерла, схватила она её, прижала к своей груди и ну качать, да



убаюкивать... Я её и так, и сяк уговаривать... Ангельская-де душа за неё молиться будет перед алтарем Всевышнего, грех и убиваться о них, великий грех, потому радоваться надо, если кого в младенческих летах Господь к себе призывает, тягостей жития этого нести не приказывает... Куда тебе! Глядит на меня глазами, ничего, видимо, не понимает, и даже улыбается... Улыбка такая, что хоть слезами от неё обливайся и то впору...

— Несчастливая! — воскликнула графиня. — Но что же делать, надо её все-таки увезти к матери... Как же быть с ребенком?..

— Не отдаст... нечего и думать, я уж не раз приступалась... Куда тебе... так прижмет к себе, что хоть руки ей ломай и кричит не своим голосом, пока не отойдешь... Я уже её и оставила, и мужа к ней не допустила... мужчина, известно, без сердца, силой хотел отнять у неё... Я не дала, а теперь, грешным делом, каюсь... Пожалуй, сегодня или завтра все же его послушаться придется... Не миновать...

— Известно, баба... волос дорог, а ум короток. Не дело безумной потакать, мертвого младенца столько дней не прибранного дер-

жать... Наедет кто-нибудь из властей... Ох, как достанется... А кому?.. Все мне же, а не бабе... Баба что... дура... для неё закон не писан... а моя так совсем об двух ярусах... Сегодня же отниму у неё трупик и отвезу к отцу в имение. Пусть хоронит, как знает...

— Оставьте, я постараюсь уговорить её, — поспешила вступиться Наталья Федоровна, — проводите меня к ней. А если нельзя уж будет, так я её и с её мертвым ребенком до Москвы доведу, а там доктора, мать её, авось, Бог даст, придет в себя и поправится. Ведите меня к ней, Софья Сергеевна, — добавила она, встав с места и направляясь к двери комнаты.

— Голубушка, родимая, и впрямь, может, вы уговорите, — быстро сорвалась с места Софья Сергеевна и, забежав впереди графини, отворила дверь комнаты для приезжающих.

Наталья Федоровна остановилась в дверях, пораженная представившейся ей картиной.

## II

### Безумная

Картина, которая представилась глазам графини Натальи Федоровны Аракчеевой, была, на самом деле, полна холодящего душу ужаса.

На диване с обитым коричневым сафьяном и сильно потертым сиденьем и спинкою красного дерева, полуосвещенная стоявшей на столе нагоревшей сальной свечой, сидела молодая женщина, одетая в темно-коричневое шелковое платье, сильно смятое и поношенное, на руках у ней был ребенок, с головой закутанный голубым стеганым одеяльцем, обшитым кружевами.

Исхудалое лицо женщины с большими, широко раскрытыми глазами, совершенно лишенными проблеска мысли, было полно такого невыразимого нечеловеческого страдания, что невольно при взгляде на него сердце обливалось кровью и слезы лились из глаз.

Никто в этой худой, не по летам состарившейся женщине не узнал бы гордой красави-

цы-девушки — Марьи Валерьяновны Хвостовой, какую мы знали её около десяти лет тому назад.

Много эти годы должны были принести ей невзгод и треволнений, мук и страданий, чтобы положить такие резкие черты безысходного отчаяния на это все ещё до сих пор красивое, но с оступевшим от непрерывных ударов судьбы выражением, лицо. Когда-то роскошные волосы стали жидки и в них даже проби- валась преждевременная седина. Теперь они были даже растрепаны и жидкими прядями падали на лоб.

Грустная и красноречивая повесть чита- лась на этом лице и во всей фигуре сидевшей женщины.

И действительно, то, что наскоро передала графине о судьбе молодой женщины Софья Сергеевна, была одна сплошная неприкра- шенная правда.

Менее года длилось семейное счастье Ма- рьи Валерьяновны с Евгением Николаевичем Зыбиным, если можно назвать счастьем непрерывно продолжавшийся около года угар чисто животной страсти со стороны её

мужа, на которую она отвечала такою же страстью, но источником последней была далеко не одна плотская сторона молодой женщины: она привязалась к нему искренно и беззаветно, не только телом, но и душою. Это, увы, составляет высокое, но часто гибельное для женщины свойство неиспорченной женской натуры, не способной отдаваться без любви, без чувства, подчиняясь одной чувственности, которая для большинства мужчин всю жизнь исполняет должность любви.

Угар страсти, естественно, должен был окончиться, а вместе с ним окончились и счастливые дни для Марьи Валерьяновны. Это совпало с рождением сына-первенца, — сына, названного, по настоянию матери, в честь отца Евгением.

Жена перестает быть желаемой любовницей мужа и делается для него ненужной обузой, её ласки тяготят его, и он ищет рассеяния на стороне; средства его или даже жены позволяют ему это в широких размерах. Такова печальная участь всех жен беспринципных негодяев, в душе которых нет места ни чистому чувству любви, ни понятию о святости

брака, а вся жизнь их в конце концов дряблого организма зиждется на похоти и только на одной похоти...

Эта участь постигла и Марию Валерьяновну Зыбину.

Евгений Николаевич вдруг резко изменился в отношении своей жены, стал зол, раздражителен и порой бросал на неё полные ненависти взгляды. Переход этот показался резким только одной Марье Валерьяновне, так как, на самом деле, охлаждение к ней мужа шло постепенно, и он сначала принуждал себя ласкать её, старался забыться под её ласками, но это принуждение себя сделало то, что он стал к ней чувствовать физическое отвращение и головой бросился в омут разврата и кутежей, чтобы найти то забвение, которое он почти в течение целого года находил в страсти к своей молодой жене.

Забвение нужно было Евгению Николаевичу: образ человека, имя которого он носил, не переставал преследовать его, лишь только он оставался наедине с самим собою, мертвые глаза смотрели ему в глаза и в ушах отдавался протяжный вой волков...

Евгений Николаевич дрожал, обливаясь холодным потом. Около полугода со времени женитьбы этот страшный кошмар наяву, казалось, совершенно оставил его — он забыл о прошлом в чадуге страсти обладания красавицей-женой, но как только эта страсть стала проходить, уменьшаться, в душе снова проснулись томительные воспоминания, и снова картина убийства в лесу под Вильной рельефно восставала в памяти мнимого Зыбина, и угрызения скрытой на глубине его черной души совести, казалось, по временам всплывшей наружу, не давали ему покоя.

Он старался забытья, переезжая с места на место, но всюду привозил с собой своего рокового спутника, свое внутреннее «я», требовавшее его к ответу за содеянное им преступление.

Он снова начал прибегать к спасительному вину, искать сильных, заглушающих этот внутренний голос, ощущений в игре в карты и рулетку, и в оргиях с женщинами, которых цинизм граничит с грацией, и в беспутстве которых есть своего рода поэзия, поэзия низменных душ.

Это женщины, поцелуй которых — медленный, но смертельный яд, а объятия полны сладострастия могильного холода. В обладании этими живыми нравственными трупами заключается высшая прелесть и незаменимое наслаждение для нравственно умерших людей.

Мы не будем описывать перипетий той многолетней драмы, которую пережила Марья Валерьяновна, окончившейся полнейшим её разорением, приездом в отечество и изгнанием из дома мужа, предававшегося безобразным оргиям в кругу своих многочисленных крепостных любовниц.

Это могло бы составить многотомный, совершенно отдельный роман, построенный на идее самоотверженного долготерпения русской женщины.

Наталья Федоровна Аракчеева несколько минут стояла, как пригвожденная к месту. На неё даже на минуту напало раскаяние, что она пришла сюда, — так невыносимо тяжело было созерцание этой страдальицы, — но это было только на минуту. Мысли о том, что она, может быть, спасет эту несчастную и доста-



вит её к её матери, наполнили душу графини тем радостным чувством, которое для доброго человека является лучшим вознаграждением за доброе дело, и она, мысленно укорив себя за мгновенную слабость, также мысленно возблагодарила Бога, что он привел её в этот дом одновременно с пребыванием в нем Марьи Валерьяновны.

Софья Сергеевна, между тем, тихо подошла к сидевшей, сняв лежавшими около подсвечника щипцами нагар со свечи.

— Вот вы теперь и можете ехать к мамаше, барыня одна приехала, добрая, да ласковая, беретя вас доставить в Москву, знает вашу маменьку и ваших родственников...

Марья Валерьяновна повернула свое лицо к говорившей, но взгляд её совершенно безучастно скользнул по Софье Сергеевне, — она, видимо, ничего не слыхала, или не поняла, что та говорила ей, продолжая укачивать ребенка, напевая какие-то заунывные на самом деле, но выражению жены станционного смотрителя, выматывающие всю душу мотивы.

Софья Сергеевна повторила сказанную

фразу и указала рукой на приблизившуюся к больной Наталью Федоровну.

Марья Валерьяновна, казалось, внимательнее вслушалась в сказанное ей, — в глазах её блеснуло сознание.

— К мамаше, да, к мамаше, поедем!

Она заторопилась и даже встала с дивана...

— Не сейчас, завтра, теперь уж скоро ночь... — сказала Наталья Федоровна. — Я вас доведу и хотя не знаю лично вашей мамаше, но много слышала о ней и о вас от моего знакомого Василия Васильевича Хрущева.

— Василия Васильевича... Хрущева... Basile... — как бы припомнила несчастная женщина и горько улыбнулась, покорно снова садясь на диван.

Сознание исчезло так же быстро, как возвратилось, и больная снова затянула свою задушевную песенку.

В голове Наталья Федоровны мелькнула мысль, которую она решила привести в исполнение.

Пробыв ещё несколько минут около Марьи Валерьяновны, совершенно как бы не замечавшей их присутствия, графиня шепнула Со-

фье Сергеевне:

— Пойдемте, мне нужно с вами переговорить...

Обе женщины перешли в другую комнату, где на столе уже кипел самовар.

— Вот что я придумала, Софья Сергеевна, — начала графиня. — Надо заставить её заснуть покрепче и во время сна взять трупик и заменить его сшитой из тряпок куклой... тогда можно завтра её увезти, а трупик отвезет ваш муж в имение этого Зыбина и сдаст ему, сказав, что графиня Аракчеева повезла его сумасшедшую жену к матери, а трупик приказала ему похоронить... так пусть и скажет: графиня Аракчеева, этот титул и это имя ещё до сих пор страшны для негодяев...

— Слушаю-с, это все сделать можно, а вот как заставить её заснуть, не спит все ночи, я и сама подумывала украсть у ней трупик во время сна и наблюдала за ней... не спит.

— Со мной есть, сонные капли, я ведь сама часто страдаю бессонницей... Дайте ей их в чаю... выпить чаю уговорить её, я думаю, можно...

— Это можно, я ей дала утром сегодня пря-

мо с ложечки, целую чашку выпила и кусочек булки съела, только сама ни до чего не дотрагивается, боится из рук ребенка выпустить...

— Так вот и теперь напоите её чайком, с этими капельками... Она устала от бессонных ночей и на неё они скоро подействуют...

Наталья Федоровна приказала подать себе саквояж и скоро разыскала в нем пузырек, из которого и накапала в налитую Софьей Сергеевной чашку чаю тридцать капель.

— Идите, милая, напоите её... — сказала графиня.

Жена зрителя взяла чашку и отправилась в комнату, а Наталья Федоровна стала пить чай.

Минут через десять Софья Сергеевна вернулась с опорожненной чашкой.

— Ну, что? — спросила её Наталья Федоровна.

— Слава Богу, все выпила... Я ей и подушки на диване поправила, в случае если в самом деле подействуют капли-то ваши, чтобы удобнее ей лечь было... Только мне что-то не верится... не заснет...

— Если выпила, так заснет непременно... Эти капли отлично действуют... — заметила графиня.

Софья Сергеевна присела к самоварчику, пришел и Петр Петрович, по приглашению Натальи Федоровны тоже присевший к столу.

Все трое стали пить чай и рассказывать Наталье Федоровне о своем житье бытие.

— Не житье, а собачья травля, каждый норовит тебя обидеть, обляять, с кулаком так к морде и лезет, — жаловался смотритель на приезжающих.

Арина на таком же, как и в первой комнате, диване, приготавливала постель для своей барыни.

Вдруг из соседней комнаты послышался стук от падения чего-то на пол.

Софья Сергеевна, со свойственной её возрасту быстротой, вскочила из-за стола и бросилась в соседнюю комнату.

Через несколько минут она возвратилась, держа в руках завернутый в одеяльце труп умершей девочки.

— Спит, крепко-прикрепко, как сидела, так и свалилась на подушки, и ребенка из рук вы-

ронила, он на пол и упал...

— Я говорила, что заснет... — заметила Наталья Федоровна.

— Вижу, матушка, что правы вы, уж извините, что усумнилась, наше дело тёмное, неучёное...

Тотчас же ребенка в соседней комнате, спальне хозяев, положили на столик под образа, а Софья Сергеевна смастерила из старых чистых тряпок такого же размера куклу, набила её сеном и, завернув в одеяльце, бережно положила около спавшей крепким сном Марьи Валерьяновны.

Сделав всё это, все успокоенные заснули.

Наутро больная проснулась позже всех, взяла положенную куклу и стала качать, не заметив подмена.

Лошади были запряжены и Наталья Федоровна, повторив Петру Петровичу инструкцию, как поступить с мертвой девочкой, уехала и увезла с собою несчастную Марью Валерьяновну, которая покорно дала себя одеть в салоп, закутать и даже положила на это время на диван свою драгоценную ношу, хотя беспокойным взглядом следила, чтобы её у

ней не отняли.

### III

## Она жива!

**Ф**он Зееманы поселились в Москве на Тверской улице.

Они наняли довольно большой дом особняк, одноэтажный, окрашенный серой краской, с зеленой железной крышей и такого же цвета ставнями на семи окнах по фасаду, с обширным двором, куда выходил подъезд с громадным железным зонтом к которому вели ворота с деревянными, аляповато выточенными львами, окрашенными, как и самые ворота, в желтую краску.

Такие же дома ещё изредка встречаются и теперь в отдаленных переулках Москвы, на Тверской же их исчез давно самый след.

Жизнь фон Зееманы вели в Москве хотя и не настолько обособленную, как в Петербурге, что было бы уже совершенно противно вековым уставам гостеприимства Белокаменной, но все же довольно уединенную — Антон Антонович, ссылаясь на служебные занятия,

а Лидия Павловна на детей, которых кроме знакомого нам Антона Антоновича II, было ещё двое: сын Николай, названный в честь Зарудина, и дочь Наталья — в честь Натальи Федоровны Аракчеевой. Оба последние ребенка были также крестники Николая Павловича и графини.

По-прежнему, таким образом, в гостиной фон Зееманов собирался интимный кружок, состоявший из Николая Павловича Зарудина и Андрея Павловича Кудрина, да приезжавшей гостить Натальи Федоровны Аракчеевой. Изредка забегал на огонек, что было в обычаях Москвы того времени, кто-нибудь из московских знакомых, всегда радушно принимаемый хозяином и хозяйкой.

В конце ноября 1830 года фон Зееманы ждали из Тихвина Наталью Федоровну Аракчееву, обещавшую приехать, как мы уже знаем, на долгую побывку. Извещенные письмом о времени её выезда, они ждали её с нетерпением, тем более, что за несколько дней перед этим случилось обстоятельство, положительно ошеломившее фон Зееманов, Зарудина и Кудрина.



Однажды вечером оба приятеля явились к фон Зееманам чрезвычайно взволнованными.

— Знаете ли, кого мы сейчас видели? — были первые слова вошедшего в гостиную Николая Павловича.

— Кого?.. — почти в один голос спросили Антон Антонович и Лидия Павловна.

— Катю Бахметьеву...

Ошеломленные этим именем и фамилиею давно уже считавшейся мертвою несчастной девушки, и муж и жена фон Зееманы молча и пытливо взглянули на сообщившего эту странную вестъ Зарудина.

— Вы, может быть, думаете, что я сошел с ума, — ну, так знайте же, что не далее, как час тому назад, я лицом к лицу встретился с Екатериной Петровной Бахметьевой на Кузнецком мосту... Я всегда говорил, что она жива, вот и вышло по-моему...

— Перестань, не волнуйся, быть может, ты ошибся, я себе доверять не могу, я видел её в Петербурге лишь несколько раз и то мельком, — заговорил Кудрин. — Сходство, положим, есть, но ведь мы спрашивали кучера и

он нам сказал другую фамилию и имя.

— Кто же ей мог помешать выйти замуж? — горячо протестовал Зарудин. — Но я её хорошо знаю и помню! Это она, несомненно, она...

— Но, позвольте... — заговорил Антон Антонович. — Прежде всего здравствуйте, а потом садитесь и расскажите толком, где и как повстречались вы с воскресшей из мертвых Бахметьевой, которую давно уже, чай, обглодали невские раки...

— Разве ты не помнишь, что тело её не было найдено... — снова, не переставая волноваться, заговорил Николай Павлович. — Я тогда же говорил, что я уверен, что она жива, и вот сегодня я её встретил, наверное, лицом к лицу...

— Где, как? — в один голос снова спросили фон Зееманы.

Николай Павлович, несколько успокоившись и усевшись в кресло, рассказал им, что идя к ним, они с Кудриным проходили по Кузнецкому мосту; вдруг у одного из магазинов остановились парные сани и из них вышла молодая дама, которая и прошла мимо них в

магазин. Эту даму Николай Павлович разглядел очень пристально, так как свет из окон магазина падал прямо на её лицо и готов прозакладывать голову, что это была не кто иная, как Екатерина Петровна Бахметьева.

— Я был тоже поражен сходством, хотя не решусь утверждать, что это была действительно она, — добавил Андрей Павлович. — К тому же, почти убежденный уверениями Зарудина, я обратился к кучеру с вопросом, кто эта барыня? «Полковница Хвостова», — отвечал кучер. Как её, братец, зовут? «Зоя Никитишна», последовал ответ. Из этого я заключаю, что это была не она и Николай ошибся. Она действительно могла переменить фамилию, выйдя замуж, но имя и отчество, как известно, при браке не меняются...

— Какой ты чудак, Андрей Павлович! Она по воле Аракчеева должна была исчезнуть с лица земли, ну и исчезла Екатерина Петровна, а появилась Зоя Никитишна, малый ребенок и то поймет, так это ясно... Трудно что ли было Аракчееву достать ей другой паспорт, достал же он Шумскому все бумаги, да ещё дворянские...

— Хвостовы тоже дворяне.

— Да ведь она, конечно, замужем... а на таких у нас дворяне не женятся...

— Зарудин, пожалуй, и прав, — заметил Антон Антонович, — но в сущности, что нам теперь до этого за дело — жива или не жива Екатерина Петровна Бахметьева, да притом ещё замужняя? Что может изменить она в строе жизни Николая Павловича?.. Тогда дело другое, а теперь, по-моему, нет основания волноваться... Прошло пятнадцать лет, нельзя же теперь перетряхивать старые истории.

Николай Павлович удивленно-вопросительным взглядом окинул фон Зеемана, но через мгновение на его устах появилась горькая улыбка; он встал и, подойдя к Антону Антоновичу, подал ему руку.

— Ты прав, дружище; я все ещё прежний старый фантазер, пятнадцать долгих лет не угомонили меня.

На его глазах навернулись невольные слезы, и он отвернулся, чтобы скрыть их.

Разговор перешел на другие темы, но все вообще решили, что передадут рассказ об этой загадочной встрече с Бахметьевой Ната-

лье Федоровне Аракчеевой, как только она приедет в Москву.

Ждать пришлось недолго. Через несколько дней после этого разговора в ворота дома, занимаемого фон Зееманами, въехал дормез, из которого вышли графиня Наталья Федоровна, Марья Валерьяновна Зыбина и Арина, подерживавшая последнюю.

Это было под вечер. Антон Антонович был дома, и оба супруга выбежали навстречу приезжей с радостными восклицаниями, но оба и остановились в недоумении при виде исхудалой донельзя молодой женщины с блуждающими бессмысленно глазами, прижимающей к своей груди какой-то завернутый в одеяло предмет.

— Вы удивляетесь, друзья мои, видя меня не одну... Но позвольте Арине проводить эту несчастную в мою комнату, а я вам тотчас расскажу в коротких словах её страшную историю и объясню появление у вас со мною... — заговорила Наталья Федоровна.

Антон Антонович и Лидия Павловна не замедлили исполнить желание графини Аракчеевой.

Последняя, между тем, сбросив с себя платки и салоп, прошла прямо в гостиную и тут тотчас же немедля рассказала во всех подробностях встречу свою с Марьей Валерьяновной на почтовой станции, рассказ жены смотрителя и положение больной, почти умирающей женщины.

— У неё в Москве мать... Она только один день переночует здесь, а завтра я поеду к Хвостовой...

— К Хвостовой? — в один голос спросили фон Зееманы.

— Да, к Хвостовой... Насколько я могла добиться от несчастной, в минуты, когда на неё дорогой находило нечто вроде сознания, её мать зовут Ольгой Николаевной и она живет в собственном доме на Сивцевом Вражке.

— Странное совпадение! — заметил Антон Антонович.

— А что такое?

Лидия Павловна опередила мужа в рассказе о странной встрече Николая Павловича Зарудина с дамой на Кузнецком, в которой он признал Екатерину Петровну Бахметьеву, и которая, по справкам у кучера, оказалась пол-

ковницею Зоей Никитишной Хвостовой.

— Очень может быть, что это жена её сына — он при отставке произведен в полковники, — равнодушно заметила Наталья Федоровна. — Что же касается до того, что это не кто иная, как Катя Бахметьева, то это вздор, я узнаю в этом пылкое воображение Николая Павловича...

Она старалась казаться спокойной, между тем, как это имя заставило нахлынуть на неё целый ряд далеких воспоминаний и усиленно забиться её сердце, но она переломила себя.

— Если это жена её сына, то я, наверное, завтра увижу её и разочарую Николая Павловича... Надеюсь, что вы не сердитесь на меня, что я без спросу решилась привезти несчастную сюда, чтобы иметь время подготовить не менее несчастную мать к роковой встрече с безумной, еле живую дочью...

— Что ты, тетя Таля... наш дом всегда был и будет твоим домом, и разве кроме хорошо, доброго и умного, ты можешь что-нибудь сделать... — с искренней наивностью сказала Лидия Павловна.

Графиня Аракчеева улыбнулась и крепко поцеловала молодую женщину.

— Позволь и мне поцеловать тебя за эти твои слова! — сказал Антон Антонович, привлекая к себе жену. — Тетя Таля лучшая женщина в мире...

— Уж вы скажете, — с ясной улыбкой пригрозила ему пальцем Наталья Федоровна.

Удалившись к себе, чтобы переодеться с дороги, она позаботилась, чтобы больную устроили удобно и покойно в одной из отведенных для её приезда комнат и только тогда вышла к вечернему чаю.

В столовой уже сидели Зарудин и Кудрин. До позднего вечера проговорили они, передавая друг другу новости: Наталья Федоровна — петербургские, а остальные — московские, и на разные лады обсуждали случай с дочерью Хвостовой, Марьей Валерьяновной, и встречу с полковницей Хвостовой, которая, как продолжал уверять Николай Павлович, была не кто иная, как Екатерина Петровна Бахметьева.

— Ведь в эту несчастную женщину, в Марью Валерьяновну, был влюблен Василий Ва-



сильевич Хрущев, ещё до её рокового замужества, — заметила Наталья Федоровна, видимо, с целью переменить разговор, и передала присутствующим свое свидание с возвращенным с Кавказа и помилованным бывшим заговорщиком.

— Он служит теперь в военных поселениях...

— Тяжелая теперь там служба... Хуже, чем при графе, — вставил Кудрин. — Вот ругали, ругали человека, а отстранили, ещё хуже пошло...

Гости разошлись около полуночи.

## IV

### Полковница Хвостова

Прошедшие четыре года внесли много перемен в дом Ольги Николаевны Хвостовой.

Радость, говорят, молодит, и это всецело оправдалось на старушке Хвостовой. Приезд сына, которого она в течение двух лет считала мертвым, положительно влил в её скорбную душу живительный бальзам, вдохнул в неё прежнюю силу и энергию.

По дому вновь стал раздаваться её властный распоряжающийся голос.

Она окружила своего воскресшего из мертвых сына нежными заботами и попечениями. Он, впрочем, и нуждался в этих заботах: двухлетнее заключение в крепости тяжело отразилось на без того и ранее далеко не крепком здоровье Петра Валерьяновича.

Первое время по приезде в Москву он чувствовал себя довольно бодрым, сделал визиты, выезжал в гости, в клуб, но эта бодрость была, увы, непродолжительной. Это мнимое

здоровье поддерживалось исключительно возбужденной нервной системой в первое время по освобождении из тягостного и, главным образом, совершенно безвинного — так, по крайней мере, думал сам Хвостов — заключения.

Вскоре разбитый этим заключением организм не выдержал — Петр Валерьянович стал прихварывать, сперва на короткое время, а затем нездоровье становилось продолжительнее.

Прошел год. Однажды, возвратившись с одной из зимних загородных прогулок, совершенной в большом обществе, Петр Валерьянович, видимо, не поберегся дорогой, простудился и слег в постель.

Призванные врачи определили начало тифозной горячки. Ольга Николаевна была в отчаянии и просиживала дни и ночи у постели больного сына. Её сменяла Зоя Никитишна, также усердно, с нежною заботливостью исполнявшая роль сиделки.

Когда кризис миновал и консилиум врачей решил, что опасность прошла и больной, хотя медленно, но начнет поправляться, Бело-

глазова даже убедила Хвостову пожалеть себя и предоставить ей одной уход за дорогим выздоравливающим.

— Я моложе вас и крепче! — говорила Зоя Никитишна. — Посмотрите, на кого вы стали похожи; в эти шесть недель вы исхудали до неузнаваемости, и еле ходите. Отдохните, если не для себя, так для вашего сына, которому неприятно будет, что его болезнь так страшно отразилась на вашем здоровье.

Ольга Николаевна, действительно, была страшно слаба и послушалась рассудительного совета Зои.

— Уж не знаю, как мне и благодарить тебя, — заметила она. — Дай Бог царство небесное, место покойное Ираиде Степановне, что оставила мне тебя в наследство, лучше ты мне родной дочери.

На глазах старухи навернулись слезы — она вспомнила свою Мери, которую она силою своего железного характера навсегда вычеркнула из своего сердца и не ответила ни строчки на присланные её дочерью письма из заграницы.

— Какая там благодарность — мне самой

его, как родного, жаль! — ответила Зоя Никитишна и стала с этого дня почти одна дежурить у постели выздоравливающего Хвостова.

Выздоровление, как и предвещали доктора, шло медленно.

Больной был очень слаб и находился почти все время в полузабытьи.

Белоглазова аккуратно давала ему лекарства, переменяла компрессы, подносила питье и с нежною внимательностью следила за каждым движением больного.

Эта внимательность была искреннею и это ухаживание за сыном хозяйки не было жертвой со стороны Зои Никитишны, отплатой Ольге Николаевны за приют и ласки. Белоглазова, действительно, полюбила Петра Валерьяновича, как родного, и даже пожалуй ещё сильнее, но в этом последнем она боялась сознаться самой себе, понимая, какое громадное расстояние лежит между ней, приживалкой его матери, и им, хотя больным, хилым, некрасивым, но все же богатым женихом, с положением в московском аристократическом обществе, женихом, на которого плотоядно смотрели все московские маменьки,

имеющие дочек на линии невест.

Петр Валерьянович со своей стороны в течение года жизни в Москве в отставке с радующимся, а за последнее время даже с нежностью относился к предупредительной Зое Никитишне, любил, когда она ему читала после обеда газеты, книги, а он дремал в большом вольтеровском кресле, стоявшем в одном из углов гостиной, и даже не раз Белоглазова замечала устремленные на неё его внимательные, пытливые взгляды.

Сохранившаяся красота хотя уже далеко не молодой девушки произвела на него свое впечатление. Ему нравилась в ней порой её сосредоточенность, даже угрюмость, указывающие, что и её жизнь не прошла совершенно гладко, что и у ней в прошлом были сильные бури, испытанные несчастья, а это, казалось ему, сродство их судьбы поневоле влекло его к ней, хотя он не высказывал ни малейшего любопытства, не старался сорвать завесу с тайны прошлого Белоглазовой. Но что эта тайна существовала, он был глубоко убежден и она-то влекла его к ней, вызывала симпатии.

Что касается до других девушек, московских невест, маменьки которых наперерыв старались поймать богатого жениха Хвостова в свои сети, то он, к огорчению и первых, и вторых, не обращал на них никакого внимания и не шел в обществе далее обыкновенной вежливости. Он понимал хорошо, что там ищут не его самого, а его имя и деньги, так как он, разбитый и нравственно, и физически, не мог представлять из себя идеала для молодой девушки, до его души же, до его внутренних качеств им было мало дела. Они были слишком мелки для того, чтобы даже понимать его. Понять и полюбить его могла только женщина, испытавшая горе, людскую несправедливость, понявшая, как и он, чего стоит эта показная сторона людского общества. Такой женщиной была, по его мнению, эта «приживалка Зоя», в глазах которой он порой читал, хотя и не ясно, целую пережитую ею жизненную драму.

Перед болезнью он уже почти любил её, хотя сам хорошенько не мог дать себе отчета в этом чувстве.

Ничего этого не подозревала Зоя Ники-

тишна — ей даже не приходила в голову мысль о взаимности, ей достаточно было, что она открыла в своем сердце источник чистой, бескорыстной любви, она была этим неизмеримо счастлива и ей не было даже дела, разделяется ли это её чувство — в нем самом она находила полное удовлетворение.

Когда Петр Валерьянович опасно заболел, она совершенно искренно пришла в отчаяние и всеми силами старалась помочь вырвать его из когтей смерти; она спасала в нем, быть может, даже не самого его, а свое чувство.

Это чувство было дороже ей самой её жизни, оно очищало её, оно возвышало её в её собственных глазах, и под его обаянием она забывала порой свое страшное прошлое.

Прошло ещё несколько недель, и поправление здоровья Петра Валерьяновича стало идти заметнее.

Он был ещё слаб, но уже в полном сознании. От него не укрылась та заботливая внимательность, которою окружила его Зоя Никитишна, а Ольга Николаевна, кроме того, с восторгом передавала ему почти ежедневно о



самопожертвовании Зои, недосыпавшей ночей и недоедавшей куска за время опасного периода его болезни.

Больной начал смотреть на свою красивую сиделку взглядом, полным искренней благодарности, в котором порой блестели даже слезы.

Зоя Никитишна краснела под этими взглядами и казалась, с залитым ярким румянцем лицом, как будто моложе и красивее.

Дни шли за днями. Больной стал уже сидеть на постели, и однажды, когда Зоя Никитишна подала ему лекарство, он принял его и вдруг нежно взял её за обе руки.

Она не отняла их.

— Чем могу я вознаградить вас за спасение моей жизни! — с какой-то особой серьезною вдумчивостью сказал он.

— Какая там награда... Я сама так счастлива, что вы поправляетесь... — сконфуженно пробормотала она и хотела было высвободить свои руки из его рук.

Петр Валерьянович, несмотря на сравнительную слабость, крепко держал их и вдруг начал покрывать эти руки горячими поцелуя-

ми.

— Что вы, что вы, стою ли я этого? — растерянно говорила Зоя Никитишна, стараясь, но безуспешно, высвободить свои руки.

Вдруг она почувствовала на этих руках две упавшие горячие слезы.

Вся кровь бросилась ей в голову, она наклонилась к нему совсем близко и прошептала:

— Вы плачете... Отчего?

— От счастья! — восторженно произнес он. — От счастья, что встретил женщину, которую люблю всей душой и которая достойна этой любви...

Он привлек её к себе.

Их губы слились в горячем поцелуе.

— Боже мой, Боже мой, что я сделала! — воскликнула она через мгновение, вырвав у Петра Валерьяновича свои руки и закрыв ими лицо.

— Что же ты такое сделала? — перешел он на сердечное ты. — Разве невеста не может поцеловать своего жениха?..

— Невеста! — горько улыбнулась она. — Разве я смею даже думать об этом! Вы не зна-

ете меня, я совсем не то, что вы думаете, я скверная, гадкая...

— Ни слова... Я не хочу знать твоего прошлого, я знаю тебя второй год такую, как ты есть, и такую я люблю тебя.

— Но ведь я... — начала было Зоя Никитишна, подойдя к Петру Валерьяновичу.

— Говорю, ни слова... — зажал он ей рукою рот и снова привлек к себе.

Она села на край кровати.

Он, не давая ей сказать ни слова, начал говорить о их будущем.

— Но что же я... быть может, ты не хочешь... не любишь меня?.. — вдруг перебил он самого себя.

— Я?! — тоном вопроса и упрека отвечала Зоя Никитишна и уже сама крепко поцеловала его.

— Значит, любишь, а больше ничего мне знать не надо, слышишь ли, ничего!..

Они решили, до окончательного выздоровления Петра Валерьяновича, ничего не говорить Ольге Николаевне.

Счастье, говорят, лучшее лекарство — это лекарство подействовало на Хвостова, он стал

поправляться и крепнуть не по дням, а по часам.

Когда он в первый раз встал с постели и вышел в гостиную, для Ольги Николаевны был настоящий праздник.

Она с восторгом смотрела на сидевшего в кресле сына и бросилась обнимать присутствовавшую при первом выходе больного Зою Никитишну.

— Тебе, тебе обязана я этим счастьем... Чем награжу я тебя!.. — воскликнула старуха.

Зоя смущенно молчала.

— Она спасла мне жизнь, — сказал Петр Валерианович, вставая с кресла и подходя к Белоглазовой. — Я посвящу ей её остаток — вот её награда! Матушка, позвольте представить вам мою невесту.

Ольга Николаевна сначала в недоумении отступила.

— Мы любим друг друга... — продолжал Хвостов, и в голосе его была такая мольба по адресу матери, не разрушать даже, малейшим колебанием его счастья, что старуха торжественно подняла руки.

Хвостов и Белоглазова упали на колени.

Благословение совершилось.

Через месяц, в приходской церкви святых Афанасия и Кирилла, на углу Афанасьевского переулка, совершилось скромное венчание Петра Валерьяновича Хвостова с Зоей Никитишной Белоглазовой, неожиданно, даже для самой себя, ставшей полковницей Хвостовой.

## V

### Роковая встреча

Почти три года промелькнули незаметно. Внезапная, неожиданная, скромная свадьба Петра Валерьяновича, конечно, поразила москвичей и в особенности москвичек, к числу которых принадлежали рассерженные маменьки и разочарованные дочери.

Толки о позорном, из ряда вон выходящем «messalianse» — как московские матроны называли брак полковника Хвостова с приживалкой своей матери — возбудили много сплетен в обществе, но прошло несколько месяцев, явилась новая московская злоба и «молодых» Хвостовых оставили в покое.

Наряду с этими сплетнями московское об-

щество далеко не отшатнулось от жены Хвостова, так как, по «достоверным московским источникам», фамилия Белоглазовых оказалась хотя и захудалым и бедным, но все же дворянским родом, а таинственное, известное одной Зое Никитишне её прошлое не набрасывало на неё в глазах москвичей такой тени, из-за которой они могли бы подвергнуть её остракизму.

Впрочем, ни Петр Валерьянович, ни Зоя Никитишна не были особенно озабочены возникшими об их свадьбе толками и не особенно радовались сыпавшимся к ним приглашениям после сделанных ими официальных послебрачных визитов.

Оба они, по возможности, избегали общества, особенно Зоя Никитишна, что казалось странным после такой долгой затворнической жизни, которую она вела сперва у Погореловой, а затем у Ольги Николаевны.

Муж, сам склонный к домоседству, был доволен такими наклонностями жены, приписывал их свойству её нелюдимого характера, но заметил, что она всегда необычайно смущалась при представлении ей новых лиц и

как-то боязливо на них взглядывала.

О последнем обстоятельстве Петр Валерьянович даже как-то раз сказал ей:

— Точно ты всегда ждешь какой-то неприятной встречи.

— Я... нет... С кем же?.. — как-то растерянно ответила Зоя Никитишна. — Это просто я одичала за эти годы... — поспешила она поправиться.

Он удовлетворился этим объяснением и не заметил её смущения.

Петр Валерьянович угадал: она действительно каждый день, каждый час ждала встречи, и это отравляло всю её жизнь, а с замужеством при все же некоторой обязанности хотя изредка появляться в обществе, такая встреча сделалась ещё возможнее.

Это отравляло её семейное счастье, и складка грусти ещё чаще стала появляться на её красивом лице.

Какой же встречи боялась она? С кем? Почему?

Она боялась встречи с людьми, которые знали её далекое прошлое, которые знали её не Зоей Никитишной Белоглазовой, а — чита-

тель, вероятно, догадался — Екатериной Петровной Бахметьевой.

Она боялась разоблачения этого прошлого, которое представлялось ей одним сплошным тяжелым кошмаром, и о котором она хотела забыть, хотела страстно, безумно, но... не могла.

Сознание, что такая встреча может случиться, тяжелое предчувствие, что она должна случиться, отравляло, повторяем, каждую минуту её безотрадного существования в качестве приживалки у Ираиды Степановны и в доме Хвостовой и продолжало отравлять и тогда, когда она в этом последнем доме стала равноправной с Ольгой Николаевною хозяйкой.

С этого времени мучения этого страха встречи даже увеличились, а предчувствие обратилось в какую-то роковую уверенность, что вот-вот сейчас войдет кто-нибудь из тех — петербургских — которые знают её позор, догадывались о её преступлениях, которые молчат только потому, что считают её мертвой, которые даже, вероятно, довольны, что такая худая трава, как она, вырвана из по-



ля.

Она жива — и этого довольно, чтобы они смело бросили в неё камень.

И они будут правы!

За свое прошлое Екатерина Петровна — как теперь мы будем называть её — не находила себе ни малейшего оправдания.

А настоящее?

Разбившая там, в этом далеком омерзительном прошлом, окончательно две жизни — Хомутовой и Зарудина, буквально убившая свою мать, разве теперь она не разбила жизни любящему и любимому ею человеку — её мужу. Если все откроется, то брак её, совершенный под чужим именем, не будет действительным.

Какой позор!

Он не перенесет его! Он, доверившийся ей, не хотевший выслушать уже срывавшегося с её губ признания, подумавший, что услышит исповедь падшей девушки, прошлое которой он мог исправить всепрощающим чувством любви, он не допускал и не допускает, вероятно, и мысли, что его жена... самозванка, преступница.

И роковое предчувствие её сбылось.

Встреча с Зарудиным на Кузнецком мосту поразила, как громом, Екатерину Петровну.

Подготовленность к подобной встрече инстинктивным её ожиданием далеко не умила совершившегося факта.

Ожидая и опасаясь, она все же надеялась, что это не совершится, что эта чаша пройдет мимо неё.

Но чаша не прошла — факт совершился.

Зарудин в Москве, тот самый Зарудин, который, когда-то давно первый зажег в её сердце чистое чувство, — этот чудный цветок, загдохший потом так быстро в грязном репейнике жизни. Он может, следовательно, встретиться с нею в обществе, в гостиной... узнать её... Он уже и узнал её — она видела это по выражению его пристального взгляда — и тогда... всё кончено!

Она вошла в магазин и бессильно опустилась на первый попавшийся стул.

— *Madam se trouve mal!* — воскликнул француз-хозяин и приказал подать посетительнице стакан воды.

Екатерина Петровна жадно сделала

несколько глотков и немного успокоилась.

Она умышленно пробыла в магазине дольше, сделав даже совершенно ненужные покупки и, боязливо озираясь, вышла на улицу и села в сани.

— Пошел домой... Скорей! — приказала она кучеру. Сани помчались.

Подъезжая к дому, кучер несколько попридержал лошадей и, обернувшись к Екатерине Петровне, добродушно заметил:

— Два господина какие-то у магазина видно в вас обознались, спрашивали меня, как зовут мою барыню... Я сказал...

Бахметьева промолчала.

«Узнал, узнал!» — замелькало в её голове. Она вспомнила пристальный взгляд Николая Павловича и чуть снова не лишилась чувств.

Домой она приехала совершенно больная.

— Что с тобой, ты бледна, как смерть? — заметил Петр Валерианович. — Чего-нибудь испугалась?.. Понесли лошади!

— Нет... Не знаю сама с чего мне в магазине ещё сделалось вдруг дурно... И теперь страшно кружится голова и тошнит.

— А-а-а!.. — успокоенный, почти радостно

воскликнул он.

Заветною мечтой Петра Валерьяновича было иметь ребенка, но Бог не посылал ему этой радости. Теперь в голове его мелькнула мысль о возможности осуществления этой надежды.

— Ты поди приляг! — с нежной заботливостью посоветовал он.

— Я сама думаю это сделать... Ты не беспокойся... это пройдет... пустяки...

— Я... ничего... я даже рад!..

Он лукаво подмигнул ей.

— Рад!.. А... — догадалась она. — Нет, кажется, не то...

— А может быть!

Она не отвечала и поспешила уйти в свою комнату. Войдя к себе, она заперла дверь и буквально упала на кушетку. Надежда, высказанная её мужем, ножом вонзилась в её сердце и окончательно доконала её.

— Если б он знал причину её нездоровья?.. И он узнает! Какое горькое разочарование готовит она ему, этому доброму, хорошему, любимому ею человеку...

Она лежала недвижимо, с устремленными

в одну точку глазами. Перед ней неслись с поразительною рельефностью страшные картины её прошлого.

После памятного, вероятно, читателям последнего визита к графине Наталье Федоровне Аракчеевой в доме матери последней на Васильевском острове и после обещания графини Натальи Федоровны оказать содействие браку её с графом Алексеем Андреевичем, Екатерина Петровна, довольная и радостная, вернулась к себе домой.

Её судьба, казалось ей, совершенно была обеспечена.

Граф Аракчеев, несомненно, исполнит волю своей оскорбленной жены, исполнит, положим, не по своему желанию, а из боязни придворного скандала, но что ей за дело до того, по воле ли графа или против его воли, она сделается графиней Аракчеевой.

Лишь бы сделаться ею, а там она сумеет поставить себя и в петербургском обществе, и в доме своего мужа!

План, намеченный и наполовину исполненный при содействии её дорогого кузена Сергея Дмитриевича Талицкого, таким обра-

зом, близился к блистательному осуществлению.

Екатерина Петровна вспомнила о Талицком.

«Бедный, погиб и не дождался торжества своей Кати и своего! — мелькнуло в её голове. — И чего его понесло на эту проклятую войну!?»

Она искренно пожалела о нем. В ней шевельнулась чисто животная к нему привязанность, ей недоставало его теперь для полноты благополучия.

В тот же вечер, когда она возвратилась из коричневого домика на шестой линии, горничная Екатерины Петровны доложила ей, что её спрашивает какая-то старушка из Грузина.

Бахметьева велела впустить её.

В гостиную, где сидела молодая девушка, с низкими поклонами вошла знакомая нам наперсница Настасьи Федоровны Минкиной — Агафониха.

— Здравствуйте, кралечка моя ненаглядная, здравствуйте, красавица моя писаная! — нараспев начала старуха.

— Что тебе? — усталилась на неё Бахметьева.

— Да вот, барышня моя добрая, приплелась я из Грузина сюда в Питер, да и подумала: дай зайду, поклонюсь ангелу-барышне Екатерине Петровне...

— А ты почему меня знаешь?

— Как мне вас не знать, ведь я из Грузина, около этой змеи подколодной, колдуньи Настасьи проживала... Тоже наслышалась, что в вас наш сиятельный граф души не чает... любит вас превыше всех...

Екатерина Петровна самодовольно улыбнулась.

— Наша-то ведьма со злости рвет и мечет, иссохла вся... да ничего не поделает, видно... Хороша-то, хороша, да супротив вас, красавицы писаной, ничего не стоит... Известно, хамово отродье...

Наглая лесть старухи звучала в ушах Бахметьевой чудной музыкой.

Та продолжала:

— Вот бы вам, королева моя аметистовая, быть графинею, не чета вы настоящей графине Наталье Федоровне — кожа ведь да кости

одни, ни подставной — нашей Настасьи... И будете, бриллиантовая, будете, чует мое старушечье сердце, что будете...

Это пророчество хитрой старухи, так совпадавшее с положением дела и с искренним желанием Бахметьевой, окончательно подкупило её в пользу Агафонихи. Она стала поить её чаем и оставила у себя пока погостить...

— Благодарствуйте... Отдохну у вас, душой отдохну, уж мне в эту ведьмину берлогу, к Настасье-то, и возвращаться не хочется... — заявила старуха.

— И не возвращайся... — милостиво разрешила Бахметьева.

Если бы она только знала, какие от этого приглашения будут для неё роковые последствия.



## VI

### Наедине с прошлым

**В**изит к графине Аракчеевой и появление в её доме Агафонихи — первое, что пришло на память Екатерине Петровне Бахметьевой, когда она осталась наедине со своим прошлым.

Это были ещё отрадные моменты её жизни — моменты золотых грез и надежд.

Но вдруг все изменилось... Светлый горизонт покрыла черная зловещая туча и распространила вокруг неё тот непроницаемый мрак, который вот уже пятнадцать лет, как не может рассеяться. Её нравственное зрение свыклось с этим мраком и различает окружающие предметы... Эту сплошную тучу перерезывают порой лучи света, лучи искреннего раскаяния в прошлом, лучи светлой надежды на будущее, но мрак, страшный мрак этого прошлого борется с этими проблесками света, и в этой борьбе, кажется, сгущается вокруг неё ещё сильнее, ещё тяжелей ложится на её душу, давит её, и со дня на день невыносимее

становится жить ей, особенно, когда гнетущие воспоминания так ясно и рельефно встают перед нею, как теперь...

Прошло два дня, как в квартире её появилась Агафониха. Был поздний зимний вечер. Она сидела в своей спальне и читала какую-то книгу.

Екатерина Петровна силится теперь припомнить, какую именно и... не может. Роковые события, совершившиеся во время этого чтения, совершенно изгладили из её памяти и название книги, и её содержание.

Она все-таки напрягает память, как бы желая этим назойливым напряжением отдалить от себя дальнейшие воспоминания... но нет, они идут, надвигаются...

Вдруг за дверью послышались тяжелые шаги нескольких человек, мужские шаги... Дверь отворилась и в комнату вошли трое неизвестных ей людей... Один из них, с гладко выбритым плутоватым лицом — остальные его звали Петром Федоровичем.

Это имя крепко засело в памяти Екатерины Петровны Бахметьевой.

Она помнит, что при неожиданном появ-

лении этих людей она вскочила, выронила книгу. Книга упала на пол корешком и раскрылась.

— Кто вы? Что вам надо?

— Кто мы, милая барышня, вам того и знать не следует... а что нам надо, о том доложимся... Не спешите... — отвечал бритый человек.

— Но как вы смели ворваться ко мне в дом?.. Я крикну о помощи...

— Не трудитесь, не надрывайтесь... все равно никто не услышит, в доме только одна Агафониха, да и та из наших, совсем глухая...

У Екатерины Петровны как тогда, так и теперь упало сердце: она поняла, что ей расставлена западня, что она во власти этих людей... Она бессильно опустилась в кресло.

— Что же вам надо? — почти простонала она.

— Достаньте-ка, барышня, бумажки, да черкните на ней, что я вам скажу...

— Зачем?

— Любопытна больно... делай, коли велют... — с угрожающим жестом заявил другой бородатый мужчина с зверским лицом.

— Да, барышня, уж вы делайте, что я вам скажу, а то хуже будет, да нам и некогда... лошади у дома ждут... Не будете делать — худо вам будет, ох, худо...

— Лошади... худо... — почти бессознательно повторила Бахметьева. — Хорошо... я напишу.

Она подошла к конторке, стоявшей в спальне, достала листок бумаги и, взяв перо, обмакнула его в чернильницу.

— Что же писать?.. — обратилась она, чуть слышно, к бритому человеку.

— Пишите: прошу никого не винить в моей смерти...

Она дописала до последнего слова.

— Смерти!.. — повторила она и бросила на своего мучителя умоляющий взгляд.

От этого взгляда он потупил взор и яркая краска залила его лицо.

— Да... смерти... — глухо повторил он. — Так надо... Будет она или не будет, там увидим... Пишите...

Последнее приказание он отдал деланно резким голосом. Еле державшаяся на ногах Бахметьева с трудом написала это роковое

СЛОВО.

— Подпишитесь...

Она исполнила и это, но далее ничего не помнит — она лишилась чувств.

Екатерина Петровна и теперь силится припомнить, что происходило после этого, но в её уме мелькают только смутные, отрывочные воспоминания.

Она помнит, что в её спальне появилась Агафониха и начала с помощью мужчин одевать её.

«Ты снеси её одежонку-то на реку...» — вспомнилась ей отрывочная фраза, сказанная Агафонихе одним из неизвестных, кажется, бритым. Далее она ничего не помнит.

Она очнулась и увидела себя лежащую на кровати, покрытой ситцевым одеялом, сшитым из разных лоскутков, нарезанных треугольниками.

И теперь живо представляются ей эти лоскутки и некоторые из рисунков, в особенности один — разноцветным горошком.

Деревянный, ничем не оклеенный потолок комнаты, очень маленькой и очень узкой, был низок и черен.

Екатерина Петровна сообразила, что она в крестьянской избе: на стенах наклеены были лубочные картины, в углу стоял киот с образами, отделанными блестящей фольгой, свет лампы, горящей перед ними, еле освещал окружающий мрак.

На дворе выл ветер и снег резкими порывами засыпал маленькое оконце — видимо, была вьюга.

Всё это сообразила тогда Бахметьева и теперь припоминала с поразительной точностью.

В полуоткрытую в её комнату дверь виднелся мерцающий свет лучины, а за тонкой стеной слышались голоса.

Один из них она узнала — это был тот самый, который заставил её написать роковую записку.

Другой голос был грубый.

— Что ж, здесь с ней и покончить?.. Сам говорил в Рыбацком... Река под боком... Навяжем камень, да в прорубь и аминь её душеньке... — говорил второй голос.

Екатерина Петровна и теперь, как тогда, вся похолодела.

— Погоди, чего горячишься... Тебе что за печаль... жива ли она будет или умрет? — отвечал первый голос.

— Мне-то, Петр Федорович, наплевать... Только чтобы за труды полностью...

— Об этом не беспокойся, все, что обещано, получишь, хоть сейчас...

— Это будет по-божески!

До слуха Бахметьевой долетел шелест ас-сигнаций.

— Теперича в расчете... Пообождать... может, прикажете её и в прорубь, али с одним хозяином управитесь...

— Пообожди...

Через минуту дверь в комнату, где лежала очнувшаяся Екатерина Петровна, отворилась и при мерцающем свете она увидела вошедшего к ней бритого человека, которого называли Петром Федоровичем.

Он плотно притворил дверь и даже запер её на крючок.

Мрак в комнате ещё более сгустился, только слабый свет лампы освещал лицо вошедшего, приблизившегося к её кровати.

Бахметьева положительно замерла от

страха.

И теперь при воспоминании об этом моменте холодный пот выступил на её лбу и волосы поднялись дыбом.

Она глядела на вошедшего полными ужаса, широко раскрытыми глазами.

— Ну-с, барышня, потолкуем... — начал Петр Федорович Семидалов — это был он, как, вероятно, уже угадал читатель. — По душе потолкуем. Велено мне вас извести — приказ такой вышел через Настасью Федоровну от самого его сиятельства графа Алексея Андреевича...

— Графа... — простонала молодая девушка и замолкла.

— Да-с, графа... Что-нибудь вы ему да супротивное сделали... Приказ строгий... Не исполнить нельзя... Так помолитесь перед кончиною...

Она вдруг с необычайною ясностью поняла бесповоротность этого решения и то, что его несомненно сейчас, вот сейчас приведут в исполнение... жажда жизни проснулась в ней с особою силою.

— Пощадите... — нечеловеческим голосом



крикнула она и вскочила и села на кровати, схватив обеими руками руки стоявшего перед ней Петра Федоровича.

— Пощадить, отчего не пощадить, самому мне жаль вас, красавица... Пленила меня красота ваша даже до одури... как взглянули вы на меня ещё давеча... Приму на себя ответ и избавлю вас от смерти лютой, только...

Глаза его горели во мраке каким-то диким огнем, он наклонился к Бахметьевой совсем близко и прошептал несколько слов.

Молодая женщина и теперь гадливо вздрогнула, вспомнив эти слова.

— Прочь... хам!.. — с силой оттолкнула она его от себя.

— А-а... ты вот какова, — злобно прошипел он, — так молись Богу... да готовься в про-рубь... Видно, тебе туда и дорога.

Он тихо пошел к двери.

Она соскочила с кровати, бросилась к нему, упала перед ним на колени и охватила его ноги.

— Пощадите... пощадите! — рыдала она, ерзая по полу.

— Пощажу... или погублю... все в моей вла-

сти... Коли послушаешься — жить будешь, коли нет — капут! — обернулся он к ней.

Она лежала на полу и истерически рыдала.

Он поднял её с полу и на руках донес до кровати.

Екатерина Петровна купила жизнь дороною ценою.

С чувством невыразимого омерзения вспомнила она теперь эту ужасную ночь.

Было раннее утро, когда она с Семидаловым снова села в повозку и выехала из Рыбацкого.

— Домчу я тебя, моя краля ненаглядная, в Тамбов, к брату, там ты погостишь, паспорт тебе оборудую... А сам вернусь да попрошусь у графа на службу в Питер, я хотя ему и слуга, но не хам, как ты меня вечер обозвала, потому я из духовенства, а брат у меня в Тамбове повытчиком в суде служит — чиновник заправский... Поселю я тебя в Питере в отдаленности, никто тебя под чужим именем не разыщет...

Так мечтал Семидалов.

Екатерина Петровна молчала и едва ли по-

нимала то, что он ей говорил.

Она и теперь смутно припомнила всё сказанное этим её любовником поневоле, любовником-палачом, как она мысленно называла его и тогда, и теперь.

Далее несутся её воспоминания.

Они приехали в Тамбов, проехали город и остановились у маленького домика в три окна за красной церковью; особенно осталась в памяти Бахметьевой эта красная церковь, да ещё застава с орлами, которой оканчивалась улица, на которой стоял домик.

Все совершилось как по-писанному, что предполагал Петр Федорович. Брат и его семья, состоявшая из жены и восьмерых детей мал мала меньше, приняли очень радушно Семидалова и его спутницу и согласились на его просьбу, подкрепленную опять же шелестом ассигнаций.

На другой же день брат Петра Федоровича принес откуда-то вид на жительство девицы из дворян Зои Никитишны Белоглазовой, по году рождения подходившей к Екатерине Петровне.

Петр Федорович сам вручил ей его.

— Эта, что в виде значится, умерла года с два тому назад, значит, все в порядке, — заметил он.

В тот же вечер он уехал обратно в Грузино, наказав — это слышала Екатерина Петровна — беречь её и присматривать за ней...

— Помните, это моя невеста, а я наградою не оставляю...

— Слушаем, братец, уж будьте покойны, — отвечали муж и жена.

Петр Федорович производил на неё какое-то подавляющее влияние страха и ужаса. При нем она не могла мыслить и рассуждать. Когда он уехал, то тяжесть спала с её души, и в её мозгу как будто рассеялся стустившийся там туман...

— Из любовницы графа Аракчеева, попасть в любовницы его лакея... О, зачем я лучше не согласилась умереть! — начала тотчас думать она. — Ехать к нему в Петербург... нет, нужно бежать, хоть на верную гибель, но бежать...

На другой же день, чуть свет, пока хозяева спали и не успели учредить над ней надзора, она убежала.

Мы знаем, что её нашел полузамерзшую староста Тит и доставил в Москву к своей старой барыне Ираиде Степановне Погореловой.

Все эти воспоминания в какой-нибудь час пережила Екатерина Петровна Бахметьева, но силою своего характера стряхнула с себя их нравственную тяжесть, и даже вышла в тот же день к ужину прежней Зоей Никитишной Хвостовой.

## VII

### Подруга детства

Прошло несколько дней.

Впечатление роковой встречи несколько изгладилось.

Екатерина Петровна окончательно пришла в себя, к великой радости её мужа, удвоившего свою нежность с тех пор, как у него появилось отрадное предположение о причинах болезни его жены.

Он не переставал верить в эти причины, несмотря на то, что последняя несколько раз разуверяла его — ему так хотелось верить.

Жизнь Хвостовых вошла в свою обычную

колею, и несчастная женщина не ожидала, что ей в очень недалеком будущем готовится новый удар.

Был первый час дня. Петра Валерьяновича не было дома, он куда-то уехал по делам. Ольга Николаевна сводила счета в кабинете, а Екатерина Петровна сидела в угловой гостиной за пальцами. Она вышивала мужу туфли и, надо сознаться, что вышивала не очень прилежно, так как работа была начата чуть ли не с первой недели после их брака.

В передней раздался звонок.

«Должно быть Петя!» — подумалось ей, и она спокойно продолжала работать.

В двери гостиной, подойдя неслышной походкой, появился лакей.

— Графиня Наталья Федоровна Аракчеева! — доложил он.

— Что-о-о! — не своим голосом вскрикнула Екатерина Петровна. — Что ты сказал?

— Графиня Наталья Федоровна Аракчеева! — бесстрастно повторил лакей, с удивлением глядя на вытаращенные, казалось, готовые выскочить из орбит глаза молодой барыни, на покрывшую её лицо мертвенную блед-

НОСТЬ.

Она пересилила свое волнение, заметив, что лакей смотрит на неё с недоумением.

— Так доложи Ольге Николаевне, — сказала она и встала, чтобы уйти из комнаты.

— Их сиятельство не приказали беспокоить их превосходительство, а приказали доложить вам, так и изволили сказать: доложи молодой барыне.

Екатерина Петровна остановилась и чтобы не упасть, оперлась рукой на преддиванный стол.

— Где она?

— В зале...

Отступление было отрезано... Не принять было нельзя, доложить Ольге Николаевне, но она всегда просит её, Зою, принимать приезжающих гостей вместе... Сослаться на нездоровье, но Наталья Федоровна может приехать и в другой раз, и в третий... верно, ей необходимо её видеть... Лучше принять её одной, без свидетелей, без старухи Хвостовой, и без того подозревавшей, что она, Зоя, знает графиню Аракчееву.

Все это мгновенно промелькнуло в уме мо-

лодой женщины вместе с той сценой, когда ей сделалось дурно во время чтения письма Василия Васильевича Хрущева, где он упоминал о графине Наталье Федоровне.

«Быть может, не узнает... столько лет...» — мелькнула в её голове последняя надежда.

— Проси, — с дрожью в голосе сказала она лакею, а сама села в кресло у преддиванного стола, спиной к окнам.

Лакей удалился.

Прошла, быть может, одна минута, показавшаяся Екатерине Петровне целою вечностью. Все далекое прошлое, связанное с именем вот сейчас, сейчас имеющей войти в комнату графини, — проносилось в уме молодой женщины.

В дверях гостиной появилась графиня Аракчеева. Екатерина Петровна поднялась и через силу пошла навстречу вошедшей.

— *Madam la colonelle Chvostow?*[8]

— *Our, comtesse!*[9]

Екатерина Петровна приветливым жестом показала графине на кресло.

— *Prenez place, comtesse!*[10]

Наталья Федоровна медленно подошла к



креслу и села. Несколько минут она молчала, пристально вглядываясь в сидевшую против неё молодую женщину.

— Простите... Вы не узнаете меня? — спросила она, после долгой паузы.

— Вас, графиня? — дрогнувшим голосом произнесла Екатерина Петровна. — Я не понимаю.

— Положим, мы не видались столько лет, но так долго были связаны дружбой, которая не забывается, дружбой детства, — продолжала графиня.

Она с первого взгляда, как и Николай Павлович Зарудин, узнала Бахметьеву и это так поразило её, что она позабыла ту тяжелую миссию, с которой она приехала к Хвостовым.

Екатерина Петровна, со своей стороны, напрягала все свои усилия, чтобы побороть охватившее её внутреннее волнение при встрече со своей бывшей подругой, и при этих словах Натальи Федоровны, видимо, забывшей все зло, сделанное ей Бахметьевой и сохранившей в своей памяти лишь светлые черты их отношений в те прошлые далекие годы.

— Вы ошибаетесь, графиня, вы принимаете меня, видимо, за другую, я первый раз имею честь вас видеть, — с трудом, сдавленным голосом произнесла молодая женщина.

— Меня... в первый раз... Но это мистификация. Ведь вы урожденная Бахметьева... Екатерина Петровна.

Смертная бледность покрыла лицо Екатерины Петровны. С минуту она молчала, опустив глаза.

— Вы ошибаетесь, графиня. Я урожденная Белоглазова, меня... зовут... Зоя Никитишна.

— Белоглазова... Зоя Никитишна... — машинально повторила Наталья Федоровна. — В таком случае, простите... я вам верю... более, нежели себе, своим глазам. Он прав, он мог ошибиться, — добавила она про себя.

— Кто он? Зарудин? — вдруг вскрикнула Екатерина Петровна.

Графиня вскинула на неё быстрый, вопросительно недоумевающий взгляд и встала.

— Вы мистифицируете меня. Вы — Катя Бахметьева!

Она узнала голос своей подруги, который с годами несколько изменился, но в момент

невольного возгласа в нем явились знакомые ноты.

Екатерины Петровна сидела, как окаменелая: вырвавшийся у неё вопрос о Николае Петровиче Зарудине, вырвавшийся против её воли, при помутившихся от необычайного волнения мыслях, ударил её как обухом по голове.

Ещё мгновение — мысли прояснились, и она с ужасом поняла, что далее отпираться невозможно, что этим нелепым вопросом она выдала себя с головой, что им она уничтожила закравшееся было, как она видела, в голову Натальи Федоровны, хотя и небольшое, но все же сомнение в том, что перед ней сидит её подруга детства — Катя Бахметьева.

Молодая женщина вдруг сорвалась с кресла и упала к ногам Аракчеевой.

Это было так неожиданно быстро, что последняя не успела удержать её.

— Талечка, милая, дорогая Талечка! Прости меня, не выдавай меня! — простонала Екатерина Петровна, силясь обнять ноги Аракчеевой.

Та быстро наклонилась к ней.

— Встань, Катя, встань! Что с тобой. За что прощать? В чем не выдавать?

— Я расскажу тебе все, как на духу, — несколько успокоившись, встала Екатерина Петровна. — Я сама так несчастлива от этого невольного самозванства.

— Самозванства?.. — с удивлением посмотрела на неё графиня.

— Садись... вот сюда, в уголок.

Они сели на маленький диванчик, стоявший в глубине гостиной.

— Слушай!

Екатерина Петровна прерывающимся шепотом стала передавать Наталье Федоровне грустную повесть её злоключений с того момента, когда для всех она сделалась самоубийцей. Она не упустила ни малейших ужасных подробностей и окончила рассказом, как она сделалась женой полковника Хвостова.

Графиня слушала с непрерывным вниманием, и эта искренняя исповедь подруги произвела на неё тяжелое впечатление. В её чудных глазах, с любовным состраданием глядевших на Екатерину Петровну, то и дело блеснули крупные слезы. К концу рассказа они смо-

чили все её ещё красивое лицо.

— Ты меня не выдашь. Ты не отомстишь мне этим за твою; разбитую жизнь... Хотя я и стою этого, но я и так достаточно наказана, — окинула графиню молодая женщина умоляющим взглядом.

— И ты можешь думать, что я на это способна? — вопросом ответила Наталья Федоровна. — У меня нет в душе против тебя ни малейшего зла. Ты, на самом деле, несчастна... и мне искренне жаль тебя. Но, быть может, Бог даст, все это никогда не обнаружится. У меня же твоя тайна, как в могиле.

В голосе Аракчеевой звучала такая правдивость, что Екатерина Петровна совершенно успокоилась.

— Я бы хотела обнять тебя и поцеловать, но... ты... слишком чиста... а... я...

— Кто из нас чище — судить будет Бог, — тоном искреннего убеждения произнесла Наталья Федоровна и заключила в свои объятия молодую женщину.

— Ты ангел... святая! — восторженно шептала Екатерина Петровна.

— Полно... полно... я так рада, что тебя

встретила.

Обе женщины плакали.

В передней раздался звонок. Он заставил их обеих опомниться.

Они наскоро вытерли слезы и сели друг против друга в кресла около преддиванного стола.

Наталья Федоровна передала в коротких словах Екатерине Петровне причину её приезда в дом Хвостовой.

— Это ужасно... несчастная! — воскликнула Екатерина Петровна.

— Кто несчастная? — спросил, поймав на лету восклицание жены, вошедший в гостиную Петр Валерьянович.

Екатерина Петровна смутилась, но тотчас же совладала с собой и представила его графине.

Он вежливо поклонился и сел.

— О чем ты плакала... и кто несчастен? — обратился он к жене.

— Я привезла вам тяжелые вести, которые я передавала вашей супруге, — отвечала за неё Наталья Федоровна и подробно передала Хвостову свою встречу с его сестрой на почто-

вой станции, рассказ зрительши, состояние больной, находящейся теперь в доме фон Зеemanов.

— Это ужасно! Вот негодяй. Он мне ответит за сестру! — воскликнул Петр Валерианович.

— Я приказала доложить о себе Зое Никитишне, чтобы подготовить к этому страшному известию вашу матушку.

— Да... да... я уж не знаю, как быть. Придется все-таки сказать ей теперь же.

Он вышел и через несколько минут вернулся в гостиную под руку с Ольгой Николаевной.

После взаимных представлений, Ольга Николаевна села на диван.

— Петя сказал мне... это страшный удар для меня, но я привыкла к ударам судьбы. Благодарю вас, графиня, за вашу заботу о несчастной. Она, впрочем, пожалала то, что посеяла.

Старуха, видимо, хотела казаться суровой и бессердечной, но по страдальческому выражению её лица видно было, что она переживала в это время в душе.

— Я пришлю за ней карету, — продолжала

она. — Ты съездишь, Петя.

— Конечно.

— Это неудобно. Она все равно никого не узнает, а ко мне она привыкла. Я привезу её к вам сама сегодня же, — заметила графиня.

— Вы так добры. Заочно я с вами давно знакома по письмам моего несчастного племянника Хрущева, благодарю вас и за него, и за дочь, — сказала Хвостова, подавая руку Наталье Федоровне.

Графиня вспыхнула.

— За что же — долг всякого христианина, — ответила та, пожимая руку старухи.

— Мало что-то христиан у нас осталось, — с горечью заметила Ольга Николаевна.

Наталья Федоровна поднялась с места и стала прощаться.



## VIII

### На груди матери

— Ну, что, тетя Таля, видели вы молодую Хвостову? — был первый вопрос, заданный Лидией Павловной фон Зеeman Наталье Федоровне, по возвращении последней домой.

— Видела! — коротко отвечала та.

— Николай Павлович, конечно, ошибся?

— Ошибся, — ответила графиня Аракчеева и отвернулась от Лидочки, чтобы скрыть покрасневшее от этой вынужденной лжи лицо.

— Надо, однако, собрать больную, да нельзя ли велеть заложить карету? — тотчас зашепила она.

— Конечно, можно, я распоряджусь? — сказала Лидия Павловна и дернула за сонетку.

Наталья Федоровна из гостиной, в которой происходил этот разговор, прошла в свои комнаты, где Арина почти неотлучно сторожила Марью Валерьяновну.

Несчастливая женщина была все в том же положении, только казалась, если это было

возможно, ещё более исхудавшей.

Так же держала она у своей груди тряпочную куклу, принимая её за своего ребенка, те же заунывные звуки по целым часам оглашали комнату, в которой она сидела, бессмысленно устремив глаза в одну точку.

Эти глаза, впрочем, как будто потускнели и порой казались почти мертвыми.

— Поедьте к мамаше! — подошла к ней графиня Аракчеева.

— К мамаше, — бессознательно повторила больная, но все же беспрекословно положив свою драгоценную ношу на диван, позволила одеть себя.

Вошедшая горничная доложила графине, что карета подана.

— Хорошо, сейчас едем, — заметила Наталья Федоровна, между тем, как Арина надевала на голову Марья Валерьяновны капор.

— Готово! — сказала Арина, взяв под руку больную.

— Вы не возьмете с собой Арины? — спросила вошедшая в комнату Лидочка.

— Зачем это?

— Мало ли что может с больной случиться

дорогою... а вы одни.

— Бог милостив, ничего не случится, — заметила Наталья Федоровна уже в передней.

Марью Валерьяновну усадили в карету, графиня села рядом и лакей, вскочив на запятки, крикнул кучеру:

— Пошел!

Карета покатила.

Известие о несчастном положении сестры и дочери как громом поразило Петра Валерьяновича и Ольгу Николаевну.

Первый был вне себя и грозил стереть Зыбина, погубившего его сестру, с лица земли. Петр Валерьянович любил Мери, как называл он сестру, но поступок её с матерью был, по его мнению, таков, что он, по приезде в Москву, не решился сказать за неё даже слова защиты, хотя часто думал о ней, но полагал, что она счастлива с любимым человеком, которого его мать пристрастно описывает мрачными красками.

Эта мысль отчасти примиряла его с разлукой с любимой сестрой, несчастье которой его страшно поразило.

«Быть может, как женщина, графиня пре-

увеличивает!» — мелькнула в его уме слабая надежда, когда он, нервно шагая по гостиной, подждал Наталью Федоровну, обещавшую тотчас же привезти сестру.

Ольга Николаевна, несмотря на деланно резкий тон, с каким она приняла известие об участии оскорбившей её дочери, была внутренне сильно потрясена рассказом графини Аракчеевой. Её не было в гостиной — она удалилась в свою спальню и там перед ликом Того, Кто дал нам святой пример с верой и упованием переносить земные страдания, коленопреклоненная искала сил перенести и этот удар не балующей её счастливыми днями судьбы.

Перед ликом Того, Кто сам был всепрощение, она, конечно, простила все прошлое своей несчастной дочери и, казалось, любовь к ней в её материнском сердце загорелась ещё сильнее, чем прежде. Ольга Николаевна молила Бога спасти её, если это не идет в разрез Его божественной воле.

Суть этой молитвы была, впрочем, такова, что Ольга Николаевна всецело отдавалась на волю всеблагого Провидения.

— Да будет воля Твоя! — шептали её губы и слова эти были произносимы с редкой верою и со смирением.

Она так забылась в молитве, что ожидаемый приезд дочери не томил её трепетным ожиданием.

В передней раздался звонок.

С помощью выбежавшей прислуги Наталья Федоровна Аракчеева — это приехала она — ввела Марью Валерьяновну в переднюю, раздела и, поддерживая под руку, привела в залу, где их встретили Хвостов и его жена.

Родной дом не произвел, видимо, ни малейшего впечатления на больную: она глядела так же безучастно.

Петр Валерьянович при виде своей несчастной сестры положительно остолбенел — так неузнаваемо изменилась она.

Все прошли в гостиную, где и усадили больную в одно из кресел.

Не узнавая никого из окружающих, она запела свою заунывную песенку.

Хвостов пришел в себя.

— Мери, Мери! — воскликнул он, подходя

к сестре сбоку.

Она услышала зов и повернула голову в сторону Хвостова. В этих глазах не было ни проблеска сознания — она не узнала брата.

Петр Валерьянович отвернулся, чтобы скрыть крупные слезы, брызнувшие из его глаз. Он вынул носовой платок и стал усиленно сморкаться, незаметно для других вытирая слезы.

Екатерина Петровна при виде этой тяжелой сцены вдруг почти упала в кресло и горько заплакала.

На глазах Натальи Федоровны тоже блеснули две крупные слезинки.

Ольга Николаевна, которой доложили о приезде её сиятельства с «барышней», как выразилась горничная, медленным шагом, точно желая отдалить роковой момент свиданья с несчастной дочерью, вошла в гостиную.

Увидав сидевшую в кресле, качавшую сверток и напевавшую свою заунывную песенку Марью Валерьяновну, Ольга Николаевна остановилась в дверях и пошатнулась.

Она упала бы, если бы её сын не подоспел к ней и не поддержал её.

— Несчастливая, до чего довел её этот ворон!.. — глухо произнесла старуха Хвостова, и на лице её отразились нечеловеческие душевные страдания.

Она, однако, совладала с собой и даже, отстранив рукой помощь сына, подошла к дочери.

— Мери, Мери! Ты не узнаешь свою мать, свою маму.

Больная вдруг насторожилась при звуке этого голоса, перестала петь и подняла свои опущенные до этого глаза на мать.

С минуту она молча вглядывалась — в её глазах, казалось, мелькало пробуждающееся сознание.

Вдруг она вскочила с кресла, выронив сверток, который покатился под ноги все продолжавшей плакать молодой Хвостовой.

— Мамочка, дорогая мамочка! — вскрикнула Марья Валерьяновна и бросилась на шею Ольге Николаевне, принявшей её в свои объятия.

«Слава Богу... она пришла в себя!» — почти одновременно мелькнула одна и та же мысль у Хвостова, у графини Аракчеевой, и даже у

переставшей плакать Екатерины Петровны.

Но в этот момент, среди воцарившейся в гостиной тишины, раздался какой-то странный хрипящий, протяжный вздох.

Это был последний вздох Марьи Валерьяновны.

На груди несчастной матери лежал бездыханный труп не менее несчастной дочери.

Ольга Николаевна сразу не поняла роковой смысл совершившегося и продолжала ещё несколько минут держать в объятиях свою мертвую дочь, но вдруг заметила на своем плече кровавое пятно...

— Мери, Мери... Что с тобой... кровь... — растерянно заговорила она.

Петр Валерьянович догадался первый.

— Оставьте её, мама, оставьте... Она теперь счастливее нас...

Он осторожно высвободил труп сестры из рук своей матери и понес его на руках к стоявшей кушетке.

— Умерла!.. — дико вскрикнула Ольга Николаевна и, как сноп, без чувств повалилась на пол.

Хвостов, уложив умершую на кушетку, с



помощью сбежавшейся на крик прислуги унес бесчувственную мать в её комнату, за ним последовали Наталья Федоровна и Екатерина Петровна.

Гостиная опустела.

На кушетке лежала мертвая Марья Валерьяновна, с широко раскрытыми глазами и с каким-то застывшим, радостным выражением просветленного лица.

Графиня Аракчеева пробыла около, через довольно долгое время, пришедшей в себя Ольги Николаевны до вечера и почти успокоила несчастную мать той искренней верой во Всеблагое Провидение, которую Наталья Федоровна всю жизнь носила в своем сердце и которую умела так искусно и властно переливать в сердца других.

Покойницу, между тем, обмыли, одели и положили на стол в той самой зале, где не более десяти лет тому назад восторженно любовались её красотой её мать и влюбленный в неё кузен Хрущев перед поездкой на загородный летний бал — бал, решивший её участь.

Наталья Федоровна приехала к фон Зеемам совершенно потрясенная пережитыми

ею событиями дня.

Она застала у них Зарудина и Кудрина и рассказала со всеми подробностями все происшедшее у Хвостовых.

Часто прерывала она рассказ, чтобы вытереть невольно лившиеся из её глаз слезы.

Лидия Павловна ещё до возвращения графини от Хвостовых сообщила мужу, Зарудину и Кудрину, что тетя Таля виделась с молодой Хвостовой и сказала, что это не Бахметьева.

— Я говорил, что он ошибся... — заметил Андрей Павлович.

— Фантазер... — сказал фон Зеeman.

Зарудин промолчал.

Вечером он уллучил минуту, когда остался с глазу на глаз с Натальей Федоровной и спросил её:

— Это не она?

— Она не должна быть ею! — коротко отвечала Аракчеева.

Он понял все и не стал расспрашивать.

## IX

### Вдовец

Похороны Марьи Валерьяновны Зыбиной состоялись на четвертый день после такой неожиданной, несмотря на плохое состояние её здоровья и такой своеобразной её смерти.

Прах её был опущен в фамильный склеп Хвостовых на кладбище Ново-Девичьего монастыря.

Отсрочка на один день произошла оттого, что необходимо было уладить некоторые формальности, ввиду отсутствия у покойной вида на жительство и внезапного отъезда её мужа, Евгения Николаевича Зыбина, за границу.

Известие об этом отъезде принес дворецкий Ольги Николаевны Хвостовой, старый грамотный слуга, которому генеральшей поручались некоторые несложные дела.

Петр Валерьянович сам хотел ехать к этому извергу, палачу и убийце его сестры, но Ольга Николаевна и Екатерина Петровна вос-

противились этому и убедили его отложить объяснение с этим «негодяем», как выразилась старуха Хвостова, до более благоприятного времени.

— Ты его этим не исправишь, а только устроишь скандал, и скандал совершенно несвоевременный, у ещё неостывшего праха покойной, — заметила, между прочим, Ольга Николаевна.

— Я убью его! — запальчиво произнес Петр Валерьянович.

— Что же ты этим сделаешь? Ему благодеяние, себе погибель!

— Как, ему благодеяние?

— Несомненно. Насильственная смерть его зачтется ему перед справедливым и нелицеприятным Судьею и облегчит его участь там. Иначе же он предстанет перед Ним под всею тяжестью содеянных им злодеяний.

— Это ещё когда будет, а до тех пор он натворит ещё много зла, надо пресечь ему эту возможность, надо вырвать эту худую, траву из поля.

— Кто тебя ставил над ним судьею и даже исполнителем этого суда? Если Господь Бог в

своей неизреченной благодати допускает на земле зло и его носителей, то, значит, это входит в высшие цели Провидения, бдящего над миром, и не человеку — этой ничтожной песчинке среди необъятного мироздания — противиться этой воле святого Промысла и самовольно решать участь своего брата — человека, самоуправно осуждать его, не будучи даже уверенным, что суд этот не преступление самого совершенного ближним преступления.

— Вы договорились до абсурда, мамочка. Вы отрицаете право суда. Вы говорите против земного правосудия!.. — воскликнул Хвостов и вскинул на мать удивленные глаза.

— Ничуть, — спокойно ответила Ольга Николаевна, — я говорю не против права государства исторгнуть из своей среды вредного сочлена, и даже совершенно уничтожить его, я говорю о самоуправстве между равными членами этого общества, каковым самоуправством, несомненно, является убийство из мести, дуэль и тому подобные, самим государством признаваемые за преступные действия. Но если ты хочешь, то и суд земной, как учреждение человеческое, конечно, необходим,

но зачастую далеко не непогрешим. Ты сам томился два года в заключении по необходимости, но не по справедливости.

— По какой это необходимости? — спросил Хвостов.

— Несомненно, что граф Аракчеев для пользы затеянного им, по его мнению, великого дела, нашел нужным устранить тебя и устранил, без всякой даже мысли, справедливо ли это, или несправедливо. Это было необходимо, а потому это и сделано. Не говорю не всегда ли, а скажу не часто ли в основу земных судебных приговоров кладется именно этот закон о необходимости.

Петр Валерьянович несколько времени молчал, как бы обдумывая все сказанное ему его матерью.

— Пожалуй, вы правы, проповедуя непротивление злу.

— Для тебя это ново, а между тем, это старо, как мир... — заметила старуха.

— А между тем, вы наказываете своих крепостных.

— По необходимости, а не по справедливости. Не думаешь ли ты, что я совершаю этим

хорошее, богоугодное дело. Один Бог без греха...

На этом разговор окончился, но Хвостов, упрощенный кроме того и женой, остался в Москве, а в имение Зыбина с уведомлением о смерти его жены был послан дворецкий.

Он, как мы уже сказали, не застал в имении Евгения Николаевича.

На последнего, как и ожидала графиня Наталья Федоровна Аракчеева, её имя произвело гораздо большее впечатление, нежели привезенный Петром Петровичем Власовым трупик его дочери и факт бегства его жены к своей матери.

Имя Аракчеева, действительно, имело ещё значение громового удара для людей с нечистой совестью — у Евгения Николаевича разом выскочил его продолжительный хмелевой угар, он так любезно принял стационарного зрителя и прикинулся таким огорченным мужем и отцом, что старик совершенно размяк, даже прослезился и по возвращении домой сказал жене:

— Уж не знаю, матушка, что и подумать, барин такой нежный, ласковый, так по дочке

и жене убивается, что ума я не приложу, не она ли сама всему этому причина: известно, баба, кошечкой прикидывается, а сама зверь зверем...

Софья Сергеевна накинулась на мужа.

— Ишь, рассудил, как по писанному... Баба да баба, а вы-то, мужики, какие, подумаешь, ангелы... Зверье дикое, только и всего. Да что говорить, поднес тебе стаканчик, ты и запел в его сторону, одного поля ягода, — пьяницы, свой своему поневоле брат... Ишь, что загнул, она в этом причина... Идол, право, идол... Тьфу... прости, Господи, мое согрешение...

Старушка сплюнула и вышла из комнаты, сильно хлопнув дверью.

— Ну, пошла, поехала... телега скрипучая... — послал ей вдогонку супруг.

Дня три-четыре Софья Сергеевна, действительно, не могла успокоиться и все ворчала на мужа за необдуманые слова.

Евгений Николаевич Зыбин, между тем, поспешил похоронить свою дочь и, забрав от старосты своего именица кой-какие деньжонки, помчался в Москву, чтобы издали следить за своей женой.



В Москве он не остановился в своем доме, который отдавал внаймы, а пристал на постоялом дворе, на Тверской-Ямской, откуда и совершал таинственные путешествия на Тверскую к генерал-губернаторскому дому и на Сивцев Вражек, где вел не менее таинственные переговоры с дворниками дома, где жила графиня Аракчеева, — он узнал её адрес от Петра Петровича Власова — и дома Хвостовой.

Из этих источников он узнал о смерти своей жены, но, не дождавшись похорон, уехал в Париж за сыном.

Поездка эта была предпринята Зыбиным далеко не из чадолюбия — он, предпринимая её, остался верен себе, и взять к себе сына решился чисто из материальных расчетов.

Денежные обстоятельства Евгения Николаевича в описываемое нами время были из очень тонких. Помощь богатой тещи ускользнула от него окончательно со смертью его жены, а потому он вспомнил о нескольких десятках тысяч франков, помещенных во французском банке на воспитание сына, и решил взять их для поправления своих дел, а сына

отдать в один из московских пансионков.

Месяца через два Евгений Николаевич привез своего девятилетнего сына Женю в Москву и, снова остановившись на том же постоялом дворе, отправился на поиски пансионка.

В то время частных пансионков в Москве была тьма. Не была не только улицы, но даже и переулочка, где бы не было вывески: «Пансион для благородных детей мужского пола», или «Пансион благородных девиц».

Гимназия в Москве была одна и далеко не была в том виде, как теперь, и потому дворянство предпочитало отдавать своих детей в так называемые «благородные пансионки», хотя в сущности в них принимались всякие дети, лишь бы платили деньги.

В то время в пансион без «благородных детей» на вывеске никто бы детей и не отдавал.

Евгений Николаевич остановил свой выбор на пансионе Шлецера, и в один прекрасный день извозчикья коляска, в которой сидел Зыбин со своим сыном, остановилась на Мясницкой, у подъезда дома Лобанова-Ростовского.

У подъезда стоял швейцар, плешивый, в нанковом сюртуке. Он и проводил посетителей по лестнице наверх, затем через комнату, в которой находились шкафы с книгами и физическими инструментами, и ввел их в гостиную.

Дом Лобанова был отделан великолепно: паркетные полы, лепные карнизы и подделанные под мрамор панели, пилястры и амбразуры окон.

Через минуту в гостиную вошел один из содержателей пансиона. Это был доктор Кистер.

Он был мужчина толстый, с солидным брюшком; голова седая и плешивая, черты лица правильные, крупные и с выражением кислоты, принимаемой за глубокую ученость. На лице его сияла приветливая и вкрадчивая улыбка, которую он всегда принимал, когда привозили к нему отдавать детей. Походка его была торопливая, движения озабоченные.

— Вы господин Шлецер? — спросил его Зыбин. — Я доктор Кистер. Шлецер уже оставил пансион. Пансион мой, я директор!

После чего Кистер просил садиться.

Судьба Жени Зыбина была устроена в каких-нибудь полчаса. Евгений Николаевич договорился с директором, отдал вперед на год деньги и на обзаведение и, поцеловав сына, оставил его в пансионе.

Мальчик, привыкший к чужим людям, не выразил особой печали при расставании с отцом, как не выразил в Париже радости при свидании.

Зыбин был рад, что отделался от сына. Он спешил вырваться из Москвы, где боялся мести Хвостова, о намерениях которого прочить его узнал стороной, и в тот же день выехал на почтовых в Вильну.

Наталья Федоровна Аракчеева загостилась в Москве у фон Зееманов, встретила новый 1831 год и в конце марта этого года собралась было в деревню, но легкое нездоровье помешало осуществлению её плана, и она задержалась в Москве ещё на месяц, а затем в Москву долетели слухи о появлении в Петербурге и его окрестностях холеры, и Антон Антонович с Лидочкой положительно не отпустили от себя графиню.

Приближались летние месяцы 1831 года,

принадлежащие к тяжким эпохам новейшей русской истории. Шла ожесточенная борьба и на окраинах, а внутри России свирепствовала холера, сопровождаемая народными волнениями и бунтом военных поселян.

К описанию этих событий мы и перейдем.

## Х

### **В военных поселениях**

**К**ривавые события, совершившиеся в июле месяце 1831 года на берегах реки Волхова, сами по себе и по своим последствиям чрезвычайно интересны и поучительны.

Бесчеловечно замученные мятежными поселянами офицеры, а затем, в свою очередь, жестоко наказанные убийцы — были искупительными жертвами с одной стороны народного заблуждения, а с другой — тех порядков в военных поселениях, которые наступили со времени удаления от дел их творца — графа Алексея Андреевича Аракчеева.

В описываемое нами время военные поселения, начинаясь в шести верстах от Новгорода, тянулись по берегам Волхова на далекое

пространство.

Занимая уезды Новгородский и Старорусский, они разделялись на четырнадцать округов; в каждый округ входили поселения одного полка, который делился на три батальона, а эти последние дробились на роты, капральства и взводы.

В 1831 году два действующие батальона из каждого поселенного полка ушли в поход против восставших поляков, как в царстве Польском, так и в западных русских губерниях, и в поселениях осталось по одному батальону от полка, резервные роты и строевые резервные же батальоны.

Таким образом, по Волхову вытягивались поселения полков: императора австрийского Франца I — между большой московской дорогой и Волховом, далее короля прусского, затем — полки имени графа Аракчеева, наследного принца прусского и другие.

Полки разделялись полями и лугами, принадлежавшими каждому округу; в самом округе каждая рота жила отдельно; имела свою ротную площадь, гауптвахту, общее гумно и риги; офицеры жили тут же, в особых до-

миках.

Все хозяйственные работы производились не иначе, как под надзором и по распоряжениям офицеров. Для руководства им издана была масса правил и уставов: о расчистке полей, рубке лесов, содержании в чистоте изб и прочем. Эти правила имели для офицеров и для военных поселян одинаковую силу с рекрутским уставом.

В лице поселенных офицеров сосредоточивалась власть и помещиков, и военных командиров. Палки, шпицрутены, розги, кулачная расправа — все это было в полном ходу.

Нельзя быть, впрочем, излишне строгим к лицам, прибегавшим к этим мерам: они были детьми своего времени, они были исполнителями той общей системы, которая была принята тогда относительно солдата — безразлично, как строевого, так и поселенного.

Заря нравственного возрождения русского солдата и признание, как в солдате, так и в крестьянине человеческой личности с правами на милосердие и справедливость к ней — была в то время ещё очень-очень далека...

Внушение страха было задачей начальни-

ков от высших до низших, и на этом страхе покоилась дисциплина войск.

Зима 1830–1831 года была очень холодная.

26 декабря, около Новгорода, показывались на небе необыкновенные северные сияния, продолжавшиеся часа на три. Поселяне выходили из своих домов и, удивляясь небесному явлению, говорили между собой:

— Это не к добру; настали последние времена!

Некоторые вспоминали при этом комету, бывшую в 1811 году.

Весною 1831 года для содержания караулов в Новгороде и для приготовления к смотру начальника штаба, генерала Клейнмихеля, — все резервные батальоны выступили из округов; по недостатку в них офицеров, были командированы от поселенных батальонов ротные командиры, которые, по этому случаю, находились в Новгороде, а по окончании очереди, возвращались в свои роты к управлению хозяйственной частью; во время же их отсутствия, обязанность по этому предмету лежала на фельдфебелях.

По наступлении лета 1831 года, резервные



батальоны выступили в лагерь, находившийся при «Княжьем дворе».

В Новгороде тогда была чрезвычайная тишина. По базарам изредка показывались служивые для покупок.

С весны этого же года появилась со всеми ужасами эпидемия, неизвестная до того времени в России — холера: множество народа сделалось её жертвою.

Наконец, она достигла до Петербурга и дала здесь повод к народному волнению.

О причинах холеры, в особенности после вызванных ею волнений, пошли в народе самые нелепые толки.

Высланный из столицы простой народ, проходя мимо военных поселений, распространял слухи, что холеры, как болезни, не существует, но что поймано множество злодеев, отравляющих съестные припасы и даже целые реки.

Поселяне с любопытством слушали эти рассказы, по врожденному простому народу легковерию принимали их за истину и тем более увлекались этими бреднями, что болезнь появилась уже тогда в Новгороде и в

округах поселения.

Бригадный командир, генерал-майор Томашевский, предписал по всем округам: постановить секретным образом журнал о предосторожностях против холеры.

Батальонный командир, подполковник Бутович секретно же уведомил об этом ротных командиров, которые и собрались в квартире Бутовича.

Принятые собравшимися меры состояли, главным образом, в том, чтобы удерживать поселян от отпусков из рот, для чего была поставлена на границах округа стража, учредить карантин и во всем наблюдать чистоту.

Во время рассуждений об этом, в комнату вошел аптекарь Гопольд и, слыша разговоры, заметил Бутовичу, что он только что возвратился из Новгорода, где слышал о высочайшем повелении об уничтожении карантин во всех городах.

Это известие очень удивило присутствующих.

Тем не менее, журнал был составлен и отправлен по начальству.

Вскоре поселяне, узнав, что все ротные командиры собирались на квартире полковника, и не зная причины этого собрания, стали переходить от одного предположения к другому и, наконец, выдумали, что господа офицеры собирались для составления подписки об отравлении поселян ядом.

Эти толки послужили к возбуждению между ними недоверия к начальству.

К этим толкам присоединились ещё другие, что-де карантин и больницы не прекращают, а плодят холеру, и что, будто бы, воду и огородные овощи отравляют посыпанием яда неблагонамеренные люди, «господа», как толковал народ, подкупленные поляками, стремящимися из чувства неприязни к России отравить русский народ под предлогом холеры.

Некоторые уверяли, что, будто, холера ходит в глухую полночь по улицам в виде страшной женщины, одетой в саван, которая если к чьему дому подходила, то там на следующий день непременно кто-нибудь умирал из семейства.

По этому поводу на многих домах при-

креплялись над входными дверями таблички с надписью: «*Дома нет*», или же с псалмом: «*Живый в помощи Бога небесного*».

Носилась также молва, будто холера показывается на реках в виде темного облачка, особенно по утрам и вечерам, и если кто, не догадавшись, черпал с этим облачком воду, то все употреблявшие её непременно умирали холерой.

В это время из лагеря, при Князьем дворе, отделен был отряд и составленные из него маршевые батальоны отправлены к Санкт-Петербургу, но, не доходя станции Чудово, были возвращены обратно в лагерь, куда они и направились поспешно проселочными дорогами.

Вскоре по прибытии их туда, в городе Старой Руссе и округах 2-й и 3-й гренадерских дивизий сделался неслыханный мятеж. От старорусского мятежа заразились почти все округа возмутительным духом.

В России давно не было таких бедственных происшествий; неистовый народ ожесточился до такой степени, что, забыв верность и присягу, данную государю, дерзнул варвар-

ским образом убивать своих начальников, предавал их тиранскому мучению, и, наконец, намеревался истребить всех офицеров, находившихся в поселениях, не щадя при этом их семейств.

Сама природа изменилась в то время и явила картину прогневанных небес.

Везде горели леса, трава на лугах, а местами выгорали целые поля, засеянные хлебом. Густые облака дыма носились в воздухе и затмевали солнце, выжженная земля громадными пустырями виднелась во все стороны.

По вечерам воздух сгущался до того, что с улицы в окна дым проникал в комнаты.

По ночам воздух наполнялся непроницаемым туманом, от которого утренняя роса была причиною большого падежа скота.

Рожь поспевала в первых числах июля.

В предшествовавшую зиму иней на деревьях нарастал в виде щетины на вершок, молодые деревья инеем пригибало к земле или ломало, или раздирало сучья; река Волхов обмелела необычайно.

Народ, под влиянием всех этих обстоятельств, также был в унынии: многие поселя-

не уже умирали холерою; другие, предубежденные против этой болезни, полагали, что умершие — жертвы отравы.

Некоторые поселяне по ночам стерегли колодцы.

Впрочем, о старорусском мятеже во 2-й роте императора австрийского Франца I поселенного полка не было говорено ещё явным образом, по крайней мере, поручик Василий Васильевич Хрущев, командуя этою ротою, ни от кого не слышал об этом происшествии.

Но скоро ему воочию пришлось увидеть этот русский, беспощадный, бессмысленный бунт.

# XI

## И смех, и грех

**Н**ачало серьезных народных волнений в Новгородской губернии произошло в Старой Руссе, хотя и в самом Новгороде не обошлось без некоторых инцидентов.

Последние имели подчас трагикомический, а то и совершенно комический характер, так лаконично красноречиво определяемый народной поговоркой: «И смех, и грех».

Под влиянием упомянутых нами циркулировавших в народе слухов, что холера не больше, как одна лишь выдумка, смертоносность же происходит единственно оттого, что «господа», будучи подкупаемы поляками, отравляют озера, реки и колодцы и даже грибы и ягоды в лесах, новгородцы, под предводительством купца С-ва, составили общество для преследования и уничтожения мнимых отравителей.

Один проезжий из Петербурга надворный советник, переехав волховский мост, вышел из коляски, чтобы тут же в обжорном ряду,

где на столиках продавались горожанками разные припасы, купить себе что-нибудь из съестного на дорогу.

Обойдя несколько торговых, набивавшихся ему со своими пирогами с рыбой, печенкой, бараниной и прочим, он купил что-то у одной из них.

Это возбудило в прочих торговках зависть, и они закричали в один голос, что этот господин, ходя между их столиками и прилавками, посыпал на них какой-то порошок. По всей вероятности, он нюхал табак.

Услышав этот крик, рядские сбежались и, не говоря ни слова, начали немилосердно бить проезжего, и, наконец, всей ватагой, человек до сорока, привели прямо к губернатору, для поступления с ним как со злодеем-отравителем.

Губернатор, хотя был весьма вспыльчивого нрава, но на этот раз умел сдержаться.

Не подав ни малейшего вида негодования на столь наглое и противозаконное буйство, он довольно кротко сказал горожанам:

— Оставьте этого господина у меня. Я прикажу произвести над ним строжайшее след-



ствие, а вы ступайте себе по своим местам, и на будущее время, если кто покажется вам подозрительным, то ведите его прямо ко мне, но отнюдь не самоуправствуйте и не причиняйте ему никакой обиды.

— Слушаем, ваше превосходительство, — отвечали горожане, и, совершенно довольные губернатором, разошлись тихо и спокойно по своим домам. После этого никакого буйства со стороны их не происходило.

Что же касается надворного советника, то губернатор, обласкав и успокоив его, отпустил в ночь благополучно следовать в дальнейший путь.

Другой случай был следующий: один бедный старичок, отставной приказный, шел из Антониева монастыря берегом реки Волхова и на дороге, понюхав табачку из бумажки, бросил её с остальной пылью в воду. Увидав это, бывший на барках приказчик и рабочие закричали:

— Смотрите-ка, ребята, ведь это он реку-то отравляет.

Несколько человек тотчас же соскочили на берег и избили невинного старика до та-

кой степени, что он едва мог дотащиться до квартиры и на другой день умер.

В Старой Руссе волнения приняли ещё более серьезный характер.

Летом 1831 года поселяне двинулись полчищем человек до трехсот на этот город. Они были вооружены косами, вилами и кто чем попало.

Здесь, под смертельными угрозами, они принудили архимандрита, настоятеля монастыря, выйти с крестным ходом на городскую площадь и привести всех их к присяге, чтобы действовать всем им заодно и друг другу не изменять, за что архимандрит впоследствии был лишен монастыря и предан уголовному суду.

Затем злодеи разгромили городскую аптеку, заставив аптекаря пробовать лекарства из всех склянок и банок, в удостоверение, что он не отравляет ими воду. Это стоило ему жизни.

Наконец, засекли до смерти полицеймейстера, майора Манжоса, и труп его привязали к хвосту лошади, которая таскала его по мостовым улиц до тех пор, пока не остался только безобразный костяк.

Особенно немилосердно относились поселяне к аптекарям и докторам. Назначенный на должность оператора новгородской врачебной управы — врач Белопольский — был застигнут поселянами на дороге к Новгороду.

Они окружили его и стали расспрашивать, кто он такой?

— Я оператор Белопольский! — отвечал он им, думая озадачить их этим громким звани-ем.

— А, так ты польский император? Эге, ребята! Вот какой зверь нам попался. Это не простой какой-нибудь полячишка — бродяга, а, видишь, вздумал уже приехать в Россию и губить людей сам их нехристь-император! Нечего же на него смотреть, давайте веревку. Повесить проклятого!

И действительно, привели было Белопольского к воротцам, какие обыкновенно быва-ют при въезде в селения, накинули уже на шею веревку, и только что хотели вздернуть его на перекладину воротищ, как на счастье доктора налетел исправник, разогнал толпу и спас жизнь мнимому императору.

Волнения поселян усиливались ещё тем,

что когда в поселениях стали многие умирать холерой, то, чтобы не было ни малейшей задержки в похоронах умирающих, военные начальники распорядились заблаговременно заготовить могилы, гробы и известь для засыпки гробов. Это распоряжение сильно возмутило умы поселян и уверило их в мнимом отравлении.

— Ну, братцы, нас уже заживо хоронят! — говорили они.

В числе собственно медицинских мер предписывалось, чтобы в каждом селении, при въездах в них, постоянно курились навозные кучи, чтобы жители воздерживались есть кислое, соленое и незрелые плоды; наконец, чтобы в каждом селении у старост было в готовности вино, настоенное стручковым перцем для растирания заболевающих и употребления внутрь.

Все это привести в исполнение возложено было на попечителей и смотрителей, избранных из дворян.

Последние стали действовать весьма ревностно, и даже иные чересчур энергично.

Предписав сельским жителям отнюдь не

употреблять в пищу ничего кислого, соленого, рыбы и сырых плодов, они, невзирая ни на какие просьбы крестьян и на горькие слезы баб, заставляли выливать квас в навоз, а капусту, редьку и другие овощи выкидывать за селение в овраги, так что крестьянам приходилось терпеть самый изнурительный пост.

Смотрителей это не трогало.

Один из них, какой-то не служащий дворянин, напав в селении своего участка на торговца, развозившего по деревням для продажи свежую рыбу, в порыве неудержимой ревности, приказал мужикам обложить воз торговца хворостом и соломой и сжечь среди селения со всею поклажею и упряжью, едва дозволив отпрячь лошадь.

Несчастный торговец обратился с жалобою к предводителю, но тот улыбнулся и сказал:

— На этом человеке во всей точности сбываются слова писания: «Имать ревность, но не по разуму».

Просителю же он объявил, что крайне жалеет о понесенных им убытках, но к удовлетворению ничего сделать не может, так как у

смотрителя нет никакого состояния и взывать с него нечего.

Торговцу, над возом которого было совершено такое оригинальное ауто-да-фе, ничего не оставалось, как отправиться восвояси верхом на оставшейся ему лошади, с пустыми руками.

Другой смотритель ни на что не обращал столько внимания, как на то, чтобы в каждом селении непременно была запасена перцовка.

При постоянных разъездах по участку, заезжая в каждом селении к старосте, он обыкновенно всякий раз требовал перцовку налицо для свидетельствования.

— А что, любезный, — скажет он бывало старосте, — перцовочка у тебя водится?

— Как же, ваше благородие, два штофика имеется, как изволили приказывать.

— То-то же... так и надобно. Принеси-ка мне посмотреть, да захвати стаканчик.

— Извольте, батюшка, посмотрите, вот вам обе посудинки. Не взыщи, кормилец, что стаканчик-то маловат.

— Ничего, братец, годится.

Поболтав оба штофа и посмотрев их на свет, смотритель всякий раз наливал стаканчик и выпивал его залпом, отчего захватывало у него дух и он несколько минут оставался с открытым ртом.

Наконец, проперхавшись, он говорил:

— Добре, добре, брат староста! Настоено как следует. Дай-ка кусочек хлебца с солью, а перцовку убери; но нет, так и быть, налей ещё стаканчик из другого, на дорожку. Ну, теперь убирай! Да смотри у меня, долей непременно, чтоб оба штофа всегда были целы, забую тебя, ракалья!

— Слушаю, сударь, будьте покойны; все будет исполнено.

Выпив второй и закусив, смотритель, посидев немного, с тяжелой головой и с жжением в глотке отправлялся в другое селение, где происходила та же история с перцовкой.

Система устроенных карантинных была тоже весьма своеобразна и могла едва ли достигать какой-нибудь полезной цели, кроме обременения жителей.

Зачастую при въезде в селения происходили такие сцены:

— Смотри, брат, на эту большую улицу не въезжай, а то непременно попадешь в карантин, — говорили встречные поселяне.

— Да разве тут неблагополучно?

— Нет, слава Богу, холеры пока здесь не слыхать, да так уж, стало быть, приказано, что кто поедет по этой улице, то и прощай! Сейчас подхватят тебя в избу и давай курить каким-то снадобьем, так что другой еле-еле жив останется!

— Где же проехать?

— А вот возьми левее, в другую улицу... Тут проедешь, как угодно, и никто не тронет.

Носился даже слух, что одного семинариста, который шел домой из старорусского училища, закурили в карантине до смерти. Он, по незнанию, пошел по неблагополучной половине дороги, так как последняя в некоторых местах в карантинном отношении делилась на две половины, по правой можно было пройти свободно, а шедших по левой забирали в карантин и окуривали.

Такие порядки и меры естественно не могли внушать к себе доверия и только волновали умы невежественных поселян, которых, к



тому же, смущали ещё разные злонамеренные проходимцы, не без некоторого участия польского влияния.

## XII

### Из-за бабы

**15** июля 1831 года Василий Васильевич Хрущев получил предписание батальонного командира распорядиться помещением на квартирах имеющую прибыть 7-ю фузельерную роту, которая плыла по Ильменю на катерах; было приказано разместить её по гумнам и не допускать сношения с поселянами.

Едва Хрущев успел обо всем распорядиться, как увидел роту, идущую с песнями по дороге. Командир роты, поручик Забелин, отведя людей в назначенные им гумна, зашел к Василию Васильевичу и, между разговорами, сообщил ему, что в Старой Руссе беспокойно, хотя не мог сообщить никаких подробностей волнения.

Забелин вскоре ушел на свою квартиру, а Хрущев, объехав свою роту и, не найдя ника-

ких беспорядков, возвратился на ротный двор для отдачи приказаний собранным на дворе десяточным унтер-офицерам.

Последние доложили ротному о согласии военных поселян, вместо сбора с них для пожарных лошадей по 9 пудов и 33 фунтов сена, косить всюю ротою сообща с берегов Витлинского ручья траву.

Василий Васильевич велел для этой цели снаряжать со следующего дня нужное число людей.

На другой день 16 июля в 8 часов утра он вышел для осмотра этой работы.

Шедший за ним унтер-офицер говорил поселянам тихо, но так, что Хрущев мог слышать:

— Ну, что же вы сами не говорите командиру?

Поселяне молчали.

Когда же Василий Васильевич прошел некоторое расстояние, то тот же унтер-офицер сказал:

— Люди не желают косить общим порядком, но хотят сдавать сено каждый от себя, по той причине, что они не имеют летошнего се-

на; свое же остается ещё не скошенным.

— Кто из вас не желает косить? Выходи вперед! — обратился к поселянам Василий Васильевич, выслушав унтер-офицера.

Все отвечали в голос:

— На этом покосе у нас лучшая трава! Если мы сдадим лучшее сено, то у нас у самих мало останется хорошего... В общих покосах, кидаемых по жребию, иному достанется в часть одна дурная трава...

— Зачем же вы согласились вчера, а сегодня на попятный? — заметил Хрущев и приказал продолжать работу.

Поселяне повиновались.

Это было часу в одиннадцатом утра.

Через несколько времени прибежал к Хрущеву кантонист и заявил, что у Витлинского поста пойманы унтер-офицер шоссейной команды и баба, у которых найден яд.

— Их поселяне подозревают в отравлении — заметил кантонист.

Василий Васильевич тотчас же выехал на большую дорогу и встретил здесь толпу поселян, которые вели солдата и женщину.

У первого были связаны руки за спину и

лицо избито до крови.

— Как вы смели отлучиться от своей работы? — обратился он к ним.

— Можно ли быть нам на работе, когда этот злодей сыплет яд в воду? Он, может быть, отравил ручей, из которого теперь нельзя пить воду. Да если бы мы его не поймали, то он всыпал бы яд в варившуюся на берегу кашницу; шутка ли, сколько бы поморил народу. Мы не отступим от него до тех пор, пока не откроет нам и других подобных злодеев.

Поселяне показывали на найденную при унтер-офицере купоросную кислоту и хлорную известь и были страшно возбуждены.

Хрущев, выслушав поселян, подошел к пойманному унтер-офицеру и спросил:

— Ты откуда и зачем попал сюда?..

— Ваше высокоблагородие, — взмолился унтер-офицер, — все это одна моя глупость... Баба мерзкая, давно живу я с ней, привык, сбежала от меня, захотел её пострадать, побег за нею, да с дурости, захватил с собой эти снадобья... А она, охальная, стала меня же страдать, что пойдет в Нижний земский суд

жаловаться на побои... Не стерпел я, повалил её на землю и хотел ударить, а она «караул» крикнула... На крик-то и набежали люди, да и захватили нас, а у меня нашли снадобья... Их роздал по шоссейным казармам нам доктор для окурки от худого воздуха и от холеры... Ослобоните, ваше высокоблагородие, отпустите душу на покаяние...

— Голова не приказал выдавать их начальникам, пока они не воротятся из новгородского Нижнего земского суда! — крикнуло несколько поселян.

— Какой голова? — спросил Василий Васильевич.

— Иван Иванов! — послышался ответ.

Унтер-офицер 7-й фузелерной роты объяснил, что застал обоих обвиняемых в таком положении: шоссейный унтер-офицер, повалив женщину на землю, давил ей коленом грудь и хотел влить ей яд в рот; но она, ударив рукою по склянке, вышибла её из рук, после чего свидетель нашел пузырек этот в траве.

— У них много ещё этого яда в сундуках! — крикнула баба.

— И в Новгороде не один раз ловили таких злодеев, но губернатор также ничего им не делал, а отпускал их на волю... — слышались голоса.

— Ведите их в ригу, там допросим! — крикнул поселянам один из унтер-офицеров.

Толпа повела пойманных большою дорогою в ригу.

— Ведите их на ротный двор! — приказал Хрущев, но поселяне, не слушая его, повернули к гумну, где стали снова допрашивать захваченных.

В это время подъехал резервного батальона майор Баллаш и хотел вместе с Василием Васильевичем разогнать толпу.

— Покамест ты цел, убирайся отсюда, а не то... — крикнули почти в один голос поселяне, и некоторые из них даже пытались схватить за узду его лошадь.

Однако, Баллаш вместе с Хрущевым благополучно возвратились на квартиру последнего, и Василий Васильевич вкратце написал рапорт батальонному командиру и с конным унтер-офицером отправил его в штаб.

— Лучше бы простой запиской уведомили,

а то по рапорту это происшествие сочтется за весьма важное, — заметил Баллаш.

В это время на гумне происходили следующие сцены: одна часть поселян была в риге, другая сидела при большой дороге и громко рассуждала о происшествии. К этим группам присоединились поселяне и из других рот.

Явившиеся на гумно поручики Чернцов и Забелин, увидав, что все вышли из повиновения, отправились к своим ротам.

Вскоре в квартиру Василия Васильевича прибыл батальонный командир, полковник Бутович, и, выслушав подробный доклад Хрущева, отправился вместе с ним к риге.

Когда они вошли в неё и подошли к толпе, воцарилась глубокая тишина, но перед этим поселяне, видимо, о чем-то сговаривались.

— Что вы тут бездельничаете и самовольничаете? — крикнул на них Бутович. — Как смели вы схватить шоссейного унтер-офицера и в чем вы его подозреваете?

— Если бы мы его не поймали, то никого бы и в живых не осталось, — слышались возгласы поселян. — Он нам признался, что у них по всем казармам роздан яд, по приказа-

нию начальства и докторов.

— Вот до чего дожили, что само начальство начало морить нас! — кричали другие.

— Вот и яд, стало быть, все подкуплены, — заявляли третьи.

— То, что вы называете ядом, употребляется, напротив, с пользою: это хлорная известь, которою окуриваются казармы и дома для очищения воздуха. Я сам делаю это, — заметил Бутович.

— Знаем, какая это окурка, она насквозь прожигает; а по-нашему, это — мышьяк, — отвечал один из поселян.

— Молчать, мерзавец! — напустился на него полковник. — Сегодня громко кричишь, но я тебя проучу, завтра пойдешь сквозь строй.

Не успел он договорить последних слов, как толпа вдруг стала подвигаться, как один человек.

— Сквозь строй, кого? За что? Пусть всех нас гонят сквозь строй!

Поселяне подвигались все ближе и ближе; глаза их сверкали, лица были бледны и искажены злобою, у многих у рта была пена.



Картина была полна холодного ужаса, углубленного наступившей мертвой тишиной.

Стоявшие сзади толкали передних на Бутовича и Хрущева, и последний, опасаясь за батальонного командира, толкнул ближайших к нему и закричал:

— Осади, осади, что вы осмеливаетесь делать?!

Толпа также тихо продолжала наступать. Вдруг раздался крик:

— Вот сама холера приехала!

Хрущев оглянулся и увидел штаб-лекаря Богоявленского, вызванного Бутовичем для разъяснения поселянам свойств найденных при унтер-офицере снадобий. Доктора ввели под руки в середину толпы.

Последняя кричала:

— Ура, ура... сюда... сюда его!

— Говори, где у тебя яд? — сыпались вопросы и поселяне с поднятыми руками, вооруженными шкворными[11] и вилами, окружили Богоявленского.

Василий Васильевич с Бутовичем остались в стороне и направились было к выходу, когда к первому подскочил один из бунтовщи-

ков и схватил за руки.

— Куда? Не уйдешь...

Но один из унтер-офицеров роты Хрущева толкнул его так, что тот упал.

— Уйдите, ваше благородие, отсюда! Видите, как народ озлился, — сказал унтер-офицер и вывел Василия Васильевича из риги.

Полковник Бутович, между тем, выбежал с другой стороны, маленькие кантонисты бежали за ним и бросали в него грязью.

Вскоре из риги выскочил и доктор Богоявленский и побежал по пашне, едва держась на ногах, весь избитый и оборванный, то и дело падая и торопясь опять подняться. Наконец, выбившись совершенно из сил, он упал у полевой канавки и уж не мог встать.

Два поселянина подбежали к нему, схватили под руки и повели опять в ригу. Туда принесли пустой сундук и скамейку, посадили на неё доктора и стали допрашивать, страдая смертью, если он не сознается в отравлении поселян ядом.

— Нам уже известно, — говорили поселяне, — что все начальники недавно сделали подписку отравить нас, то говори нам, кто

подписался?

На сундук поставили чернильницу и положили лоскуток бумаги и требовали, чтобы доктор написал имена «подписавшихся на холеру». Доктор сперва отвечал, что не знает ни о какой подписке, что холера распространилась по всей Европе и, идя полосой, оставляет за собою заразительный воздух, для очищения которого хлорная известь самое лучшее средство.

Ему не дали кончить и стали снова бить.

— Что его слушать! Давайте веревку, повесим его! — крикнуло несколько голосов.

Богоявленский, испугавшись, стал писать имена всех начальников и сам подтвердил, под угрозой неминуемой смерти, что была «подписка». Поселяне обрадовались этому явлению, и не спрашивая уже более ни о чем, закричали:

— Более ничего не нужно! Вот доказательство, что нам отравляют!

Совершенного избитого, почти мертвого Богоявленского положили к стороне. По счастливой случайности, в составленный им список не был внесен Василий Васильевич

Хрущев.

## XIII

### Рига-гроб

**Н**есмотря на нанесенные оскорбления и явную опасность, Василий Васильевич Хрущев остался верным долгу службы и подошел к разъяренной толпе поселян.

— Ребята, неужели вы мне не доверяете? До сих пор я всегда был вами доволен и теперь уверен, что меня слушаете! Скажите мне, что вы вздумали делать?

— Пусть распустят резервный батальон из риг! — закричали ему. — Зачем их там поставили? Небось, думают, что солдаты будут с нами драться? Да мы их кольями закидаем, да и как они осмелятся! Когда уже на то пойдет, то мы в штабе кирпича не оставим!

— Послушайте, — возразил Хрущев, — то, что вы намерены делать, есть уже возмущение, нарушение закона и присяги! Рано или поздно, вы вспомните меня, что я вам говорил правду; по крайней мере, вы можете сколько-нибудь загладить ваши поступки,

уговорив товарищей ваших от дальнейших бесчинств... Да и в чем претензии ваши? Вы хотите, чтобы содержался малый карантин для сбережения вашего же здоровья?..

Слова, однако, были напрасны.

— Мы видим из речей ваших, — перебили его поселяне, — что вы ещё ничего не знаете и имеете простую душу; посмотрите, как нас морят; в магазине, верно, весь хлеб отравлен; нет места, где бы не было положено яду. Страшно подойти к колодцам; куда ни пойдешь, везде думай о смерти — и от кого? От начальников, ведь нам все открыл Богоявленный.

Другие при этом кричали:

— Ступай, ступай с Богом!.. Счастлив, что ты не подписался, а то бы и вашему благородию худо было; мы знаем, кого ищем!

Василий Васильевич продолжал их усовещивать, но, наконец, сказал:

— Если вы забыли долг ваш и верите каким-то злодеям более, нежели мне, то поверьте, что за вину вашу получите достойное наказание! Помните, что я, как начальник ваш, не желаю ни вам, ни себе чего-нибудь

вредного.

Он подошел к полковнику Бутовичу, уже сидевшему в своем кабриолете и тихо говорившему с приехавшим из штаба верхом майором Султановым.

Хрущев рассказал ему о своей неудачной попытке уговорить поселян.

— Мне кажется остается одно средство — ехать в Новгород к генерал-лейтенанту Эйлеру или к губернатору, на словах донести о происшествии и просить распоряжения, — заметил Султанов.

— Верно, верно, поезжайте, пожалуйста, — обрадовался этой мысли Бутович.

Султанов тотчас же отправился в путь задворками.

Бутович тоже ударил по лошади и шибко поехал к другой риге, в которой была расположена 7-я фузелерная рота.

Имея надежду на эту роту, полковник хотел с её помощью восстановить порядок.

Командир роты, поручик Забелин, выстроил её в полной амуниции, и Бутович, ласково поздоровавшись с людьми, сказал:

— Ребята! Я твердо уверен, что вы сохрани-

те честь свою! Вы — примерная рота.

Гробовое, зловещее молчание было ему от-  
ветом.

— Вам известно, — продолжал он, — что  
поселяне, эти грубые и необузданные мужи-  
ки, наделали глупостей и беспорядков... Я  
вполне уверен, что вы далеки от того, чтобы  
забыть присягу, вами данную... Надо образу-  
мить бунтовщиков, если же они продолжают  
беспорядки, то для удержания их от буйства,  
позволяю вам сделать несколько холостых  
выстрелов и, сколько возможно, стараться не  
допускать их до дерзостей.

— Это мы не можем сделать, стреляют  
только в неприятеля! — отвечали из фронта.

За этими словами послышался общий ро-  
пот.

— По крайней мере проводите меня в  
штаб, — заговорил Бутович, видя настроение  
солдат, — где вы будете держать караул и по-  
лучать от меня винную и мясную порции...

— Нам не нужна ваша порция, а отпустите  
из риги по квартирам, а то здесь ещё нас  
отравят!..

— Какой он нам начальник, коли подго-

варивает в нас стрелять! — крикнуло несколько стоявших вблизи поселян, видимо, наблюдавших за Бутовичем.

Они побежали к своим и рассказали, что полковник сулит солдатам по сто рублей, чтобы в них стреляли.

— А, коли так! Пойдем же все туда и возьмем его!

С этими словами поселяне, пешие и бывшие на лошадях верхом, бросились к 7-й роте.

Бутович стоял рядом с поручиком Забелиным перед ротою, все ещё бывшею во фронте.

— Здравия желаю вашему высокоблагородию! — подошли к нему несколько поселян, а один из них, подойдя ещё ближе, прибавил:

— Желаете ли умереть с покаянием?

Злодей ударил полковника по голове, сорвал эполеты и крикнул:

— Берите его! Он нас бы всех уморил и не дал бы покаяния — ведь от него у нас и холера.

Поручик Забелин выхватил у одного из солдат ружье и обратился к роте:

— Чего же вы смотрите, вперед, за мной, колите их, мужиков!



Рота не шевельнулась, а молодого офицера постигла печальная участь.

Ружье у него тотчас вырвали, самого свалили с ног и начали бить ногами. Он лишился чувств.

Злодеи думали, что он мертв, и оставили его. Он, опамятовавшись, пополз к роте, которая, вместо того, чтобы защитить его, отступила назад.

Один из поселян подскочил к несчастному и за ноги перетащил через канаву, где уже лежал совершенно избитый Бутович. Связав вожжами от его же лошади, запряженной в кабриолет, они повели их с криком и гамом большой дорогой.

Впереди вели лошадь с кабриолетом, а за ним связанных офицеров. Облака пыли, поднятой толпой, отчасти скрывали подробности этой ужасной картины.

Хрущев положительно потерялся и, рассчитывая, что из командуемой им роты найдутся благоразумные поселяне, обратился к некоторым из них уже не тоном приказа, а просьбы, чтобы они, собравшись, противодействовали убийствам, но на все убеждения

они отвечали:

— Что мы сделаем против целого батальона, да и резервный батальон им поможет, тогда пропали мы и наши семьи, да и вашему благородию лучше скрыться, а то пропадете даром, вишь, как народ озлился...

Василий Васильевич, видя свое бессилие усмирить бунтовщиков, пошел к себе на квартиру.

Между тем, толпа, сопровождавшая двух жертв долга и службы, придя на ротную площадь, остановилась и начала снова бить Бутовича и Забелина чем попало, и, совершенно бесчувственных, их потащили в ригу, где положили рядом с умершим Богоявленским.

На площадь со всех сторон скакали верхами поселяне, вооруженные копьями с насаженными на них штыками и другим оружием.

За бежавшими поселянами 4-й роты приискал их ротный командир, поручик Панов.

Его обступили поселяне и приняли в кольцо.

Вырвавшись из рук злодеев, он побежал от них пашнею, но его тотчас же поймали, пова-

лили и начали снова бить кольями.

Один из поселян, зайдя к нему с головы, сказал:

— Ты сам из нашего происхождения, а также вздумал травить нас!

Он ударил его шкворнем по голове и добавил:

— Сохи и бороны не смазаны известью!

Панов лишился чувств.

Его потащили в ригу к остальным мученикам. Народ, упившись кровью, положительно осатанел.

— Когда уже на то пошло, так лучше всем отвечать! Мы убили нашего командира, пусть и прочие роты ведут сюда своих начальников! — кричали поселяне 4-й роты.

Поселяне бросились во все стороны искать своих начальников.

К Василию Васильевичу прибежали несколько унтер-офицеров его роты, кстати сказать, очень любившие его за мягкость доброту и ласковость, и заговорили все разом:

— Спасайтесь, прочие роты кричат и непременно требуют вашей выдачи, спрячьтесь куда-нибудь, а мы скажем, что вы уехали

в Новгород.

Хрущев было воспротивился этому предложению, но поселяне насильно увлекли его и заперли в сарае через пять домов от его квартиры, в доме под № 12, у поселянина Ивана Онисимова.

Пустившиеся на поиски поселяне вскоре вернулись и привезли штабс-капитана Савурского, пойманного в 3-й роте майора Султанова и ветеринара, на которого они имели подозрение, будто он морит скот.

Первого ударили об мостовую, били кольями — и уже мертвого стащили в ригу.

Султанова, избитого, почти бесчувственного, посадили с веревкой на шею верхом на лошадь и большою дорогою препроводили во 2-ю поселенскую роту.

— Сворачивай в ригу, пусть с прочими лежит там спокойно!

К майору подскочил один из поселян и одним ударом шкворня по голове уложил мертвым. Его тоже стащили в ригу. Туда же живого притащили ветеринара.

— У этого бездельника мы отыскали полный шкаф яду, от него у нас и была такая за-

раза на скот.

Его повалили возле убитых, затем начали допрашивать и бить чем ни попало по груди, по лицу, по животу, пока не забили до смерти.

Извозчики шедшего в то время по большой дороге обоза, бросив лошадей, прибежали и начали кричать:

— Молодцы, ребята, бейте всех наповал, в Петербурге умели с ними управиться православные!

На площадь приехал узнавший о беспорядках инженер-полковник Панаев. Сделав вид, что он ничего не знает, он обратился к поселянам.

— Что вы, братцы, тут делаете?

— Выгоняем холеру.

— А где ваши начальники?

— Вон там лежат! — указали ему на ригу.

— Как лежат?

— Да так, как положили, так и лежат.

— Я пойду посмотреть.

— Ступай да смотри, оттуда трудно выйти.

В сопровождении нескольких унтер-офицеров, Панаев вошел в эту ригу-гроб.

Глазам его представилась страшная картина.

Полковник Бутович лежал, прислонясь к стене, в сюртуке и белой жилетке, два ребра были выворочены. У его ног лежал убитый штабс-лекарь Богоявленский. Далее поручик Панов. Последний лежал ничком в луже крови и хрипел. Один Забелин в забытьи карабкался по стене и, будучи в силах ещё держаться на ногах, ничего не видя вокруг себя, весь в ранах, поправляя волосы, не переставал бранить поселян, которые насмехались над ним, подставляли ему зеркало, предлагая посмотреть на себя.

Бутович был в сознании и, увидя вошедшего Панаева, обратился к нему слабым голосом:

— Вот как здесь нас мучают, заступитесь, Николай Иванович!

— Ведь я сколько раз говорил вам, что распоряжения ваши доведут вас до беды.

— Ах, Николай Иванович, что будет, когда начальство узнает обо всех этих беспорядках.

Панаев молчал.

Затем несчастный попросил пить. Ему

принесли воды. Он напился и сказал Панаеву:  
— Передайте мое благословение жене и детям.

Он лишился чувств.

Тут же, в риге, какой-то кантонист кидал ногою сорванные с Бутовича эполеты.

Панаев прикрикнул на кантониста и приказал пристегнуть эполеты к сюртуку умирающего полковника.

— Надо бы послать за священником, исповедывать и причастить умирающих, — сказал он унтер-офицерам.

— А ты что тут пришел? Не заступиться ли за них хочешь? Мы и тебя тут же уложим! — закричали на него поселяне.

Но унтер-офицеры кое-как уняли злодеев и вывели Панаева из риги.

— Этак, пожалуй, будет уговаривать освободить их, и тогда всем нам обида будет... — слышались толки. — Надо их добить.

Злодеи бросились на умирающих и стали добивать несчастных железом по головам.

— Бейте до смерти, я один за все буду отвечать! — кричал поселянин Макаров.

Несчастные были окончательно добиты.

## XIV

### Смелым бог владеет

Присутствие духа инженер-полковника Н. И. Панаева, который настолько повли-ял на поселян, что они избрали его своим начальником, спасло жизнь многим из офицеров и удержало бунтовщиков-поселян от разорения зданий и грабежа.

Уговаривая поселян, он обещал им, что если они выберут от себя хожалых, то он даст им билет к самому государю императору, и тогда они могут рассказать лично его величеству все обстоятельства и принести жалобы.

Поселяне усомнились, будут ли они допущены пред лицо государя и просили Панаева ехать с ними, но он отказался, сославшись на семейные обстоятельства.

На площадь, между тем, привели ещё двух офицеров: одного заведывающего полковыми мастерскими, а другого из немцев, но их уже не убили, а отдали под арест к Панаеву, который успел убедить поселян, что все офицеры, которых они подозревают, будут примерно



наказаны самим государем, а если они убьют их, то сами за это поплатятся.

Когда приведенные офицеры были водворены на гауптвахте, поселяне объявили Панаеву, что теперь остается взять командира 3-й роты Соколова, который укрепился в роте.

У Николая Ивановича блеснула мысль, что он может в этой роте найти точку опоры и, соединившись с Соколовым, начать усмирять бунт.

— Мы, ребята, слушаемся государя, и нас Соколов не тронет, давайте-ка я поеду к нему, объясню все подробно и с ним возвращусь к вам.

Поселяне согласились, и Панаев приказал подать свои дрожки, сел и поехал в 3-ю роту, радуясь, что нашелся человек, который умел сохранить команду.

Он скакал во весь дух, так как поселяне, через минуту после его отъезда, одумались и погнались за ним.

Уже 3-я рота была в виду, и Николай Иванович разглядел толпу в ротных воротах. Он думал, что это Соколов идет на усмирение, но подъехав ближе, увидал, что человек два-

дцать верхом ведут, или лучше сказать тащат Соколова за веревку, привязанную за шею, а сзади идет и вся рота толпою.

Толпа поселян 2-й роты, между тем, нагнала здесь Панаева и соединилась с третьей ротой.

— Ведите разбойника на судище во 2-ю роту, там мы с ним расправимся! — кричали они.

Толпа повалила во вторую роту.

Панаев успел только убедить поселян снять веревку с шеи офицера, так как тот задохался.

По прибытии во 2-ю роту, Николай Иванович снова обратился к бунтовщикам с речью, убеждая их не убивать Соколова, а арестовать или же отправить с теми, которые поедут с жалобой в Петербург.

Поселяне разделились на две партии, одна кричала, чтобы его посадили за железную решетку, другая требовала, чтобы его вели в ригу и там с ним покончили.

Раз двенадцать несчастный Соколов был перетаскиваем поперек шоссе и обе партии, как стоявшая за арест, так и приговаривав-

шая его к смерти, били его, отнимая одна у другой. Наконец, партия ареста одолела, и бесчувственного Соколова утащили на гауптвахту.

В то время, когда шла эта борьба, Панаев увидел унтер-офицера с несколькими нашивками на рукаве, лежавшего ничком на крыльце и горько плакавшего.

— О чем ты плачешь? — спросил его Николай Иванович.

— Что делают! — рыдая, отвечал тот. — Убивают не командира, а отца.

— Чего же плакать, этим не поможешь, лучше иди и уговори их отдать его ко мне под арест.

Унтер-офицер побежал.

Не прошло и двух минут, как, пробившись с несколькими поселянами на помощь к Соколову, Панаев увидал того же унтер-офицера с колом в руке, бывшего командира.

— Что ты делаешь, не сам ли ты мне сейчас говорил, что он был вам не командир, а отец?

— Уж видно, что теперь пора такая, ваше высокоблагородие, видите, что весь мир бьет,

что же я буду стоять так? — ответил унтер-офицер.

Вот образец суждения большей части людей в таких случаях — уговаривать их можно только штыком или пушкой.

Вскоре после того, как Соколов был водворен на гауптвахте, Панаев увидал, что резервный батальон приближается в сомкнутой колонне и строится около гауптвахты. Впереди шел майор Баллаш с несколькими солдатами, имевшими ружья на перевесе.

Поселяне перепугались, что их всех перестреляют, а Николай Иванович, полагая, что майор осматривает позиции, успокоил поселян, заявив им, что пойдет к батальону и прикажет не стрелять.

— Ну, слава Богу, что вы пришли! — сказал он, подойдя к Баллашу.

— Что делать, я не виноват ни в чем, ведут меня убивать! — отвечал майор.

Панаев приказал отвести Баллаша на гауптвахту, что и было бесприкословно исполнено поселянами без сопротивления батальона.

Затем приступили к выбору депутатов, ко-

торые должны были отправиться в Петербург. На прогоны им Николай Иванович выдал 4000 рублей, найденных в кармане у штабс-капитана Панова и принесенных Панаеву одним из поселян.

Между тем, как Николай Иванович с истинным героизмом ходил по площади, от поселян к резерву и обратно, уговаривая их восстановить спокойствие и тишину, некоторые из злодеев, отойдя к стороне, стали сговариваться к концу дня положить и Панаева.

Подойдя к нему, мятежники стали ругать его за то, что он уговаривает оставлять в живых начальников, причем, один из поселян ударил его по затылку.

Николай Иванович не потерялся.

— Пойдите, ребята! — сказал он и снял фуражку. — Посмотрите, я уже сед и послужил довольно царю моему: каждый волос мой принадлежит ему; хотя вас много и вы можете делать мне дерзости, но вспомните, что вы делаете? Знайте, что государь меня лично знает; я вместе с ним рос и воспитывался — неужели из вас сыщется кто-нибудь, кто решится пролить невинную кровь, за которую

вы будете отвечать и в этой, и в будущей жизни? Бог хранил меня от пуль и ядер врагов отечества; слава Богу, у нас ещё существуют законы — на них лежит право обвинять и оправдывать. Опомнитесь, ребята, и послушайте меня старика — я могу ещё вам быть полезен!

Речь эта произвела впечатление.

— Хорошо, когда так, будь ты наш начальник — тебя мы готовы слушать! — слышались возгласы, и поселяне стали унимать друг друга.

Начинало темнеть.

В это время из Новгорода ехал полковой священник Лавр Смелков.

Ещё дорогою слыша о происшествии, он тихо подвигался вперед; назад воротиться было нельзя, а потому он и решился ехать прямо к собравшимся и ожидавшим его поселянам.

— Откуда, батюшка, едешь? — встретили они его вопросом.

— По собственной надобности пробыв в Новгороде, опоздал и спешу исполнить нужные требы.

— Ну, это небольшая нужда, — стали гово-

рить поселяне, — вылезай-ка из телеги-то, нам нужно с тобой поговорить и посоветоваться. Посмотри, сколько тут покойников, скажи нам, следует ли их хоронить по-христиански?

— Никак и ты, батюшка, подписался на холеру и заодно с господами вздумал морить нас? Покажи-ка нам, что ты везешь из города, не яд ли? — закричали другие.

Они обступили телегу и стали шарить в ней. Лошадь, испугавшись толпы с дрекольями, бросилась в сторону, опрокинула телегу, и отец Лавр упал и ушиб себе руку.

Его подняли и привели к Панаеву.

Последний предложил отцу Лавру взять образ и благословить народ. На гауптвахте нашли ветхий лик пророка Ильи, восходящего на небо, подали священнику, и он, прочитав молитву, благословил народ.

Николай Иванович потребовал, чтобы они дали ему присягу, что остаются верными государю и что более буйств делать не будут. Поселяне же потребовали, чтобы и он сам дал обещание, что все как было расскажет государю.

Он обещал и, перекрестившись, приложился к образу, а за ним стали прикладываться и все поселяне.

После этого все утихло. Поселяне закричали:

— Шабаш! Не будем больше шуметь, ребята — по домам.

Панаев стал отдавать приказания резервному батальону идти в штаб, но поселяне воспротивились этому.

— Пусть, с Богом, идут на квартиры, им и так надоело стоять по ригам.

Николай Иванович подчинился этому желанию, распустил батальон, и поселяне стали расходиться по домам.

В ригу к покойникам и к гауптвахте, где содержалось довольно число лиц, мятежники приставили, не доверяя резерву, караул от себя, вооруженный, за неимением ружей, дрекольями, — и этим окончился кровавый день 16 июля 1831 года.

К вечеру того же дня к запертому в сарае Хрущеву явилось несколько поселян.

— Ступайте теперь домой! — сказали они. — Слава Богу, что остались живы; тут Бог



знает, что происходило; теперь не опасайтесь, никто вас не тронет, а то здесь вам будет хуже: подумают, что вы спрятались оттого, что виноваты.

В ту же ночь выбранные депутаты по двое от каждой роты с пойманным унтер-офицером и женщиной с запискою, выуженной у Богоявленского, на почтовых лошадях отправились в Петербург с жалобою на начальников императору.

Так окончился первый день буйства поселян императора австрийского Франца I поселенного полка.

На другой день, рано утром, поселяне один по одному стали собираться на площадь; столпились в кружок и стали толковать сначала тихо, а когда набралось их много, то начали шуметь и спустя некоторое время привели солдатку Сыропятову и поселянина Дмитрия Комкова. Обоих связали, избили и втолкнули на гауптвахту.

Пришедший к Хрущеву поселянин рассказал, что Сыропятову долго искали и нашли спрятанною под койкой.

— А взяли её за то, что она часто ходила к

вам на кухню, то думают, что была подкуплена вами кидать яд в колодцы; Комков же взят за то же, да сверх того, он замечен в чародействе.

— Да и про вас что-то худо говорят! — продолжал поселянин и затем рассказал, как он находился ночью на часах при убитых в риге; все они были черны, как уголь, и в риге от их тел уже сделался дурной запах; кто-то из них ночью очнулся и стал приподниматься, но его тут же доби́ли.

Рассказчик не знал, впрочем, кто именно очнулся: Савурский или Богоявленский?

— Но теперь все они лежат, уже окостеневши, в запекшейся крови, так что никого нельзя узнать.

Рассказ этот привел Василия Васильевича в содрогание. Накануне рокового дня Савурский был на именинах батальонного командира, так весело распевал, аккомпанируя на фортепьянах, — и на другой день его не стало.

Заверив Хрущева, что его никто не тронет, поселянин ушел.

Василий Васильевич сел у открытого окна и стал прислушиваться к громкому говору по-

селян.

Почти все унтер-офицеры и многие поселяне его роты кричали некоторым злодеям, восставшим против него:

— Что вы, и сегодня хотите затевать такую же кутерьму? Что вам сделал наш командир? Ведь глаза у вас, как у быков, налились кровью.

— Видно, вы заодно с его благородием крупу делите, да погодите, ужо соберутся прочие роты, то насильно вытащим его! Что он за святой, поглядывает в окошко, небось, замечает за нами; вот дураки-то, кабы угомонили их всех, так дело-то вернее было; а то посмотрите, беда будет — всем достанется! — слышался ответ некоторых поселян.

Но другие их уняли и даже пристыдили.

— Ему гораздо безопаснее находиться на гауптвахте, нежели на квартире! — заговорили они тогда.

С этим многие поселяне стали соглашаться. Тогда Василий Васильевич решился, не дожидаясь, чтобы его взяли силою, выйти к ним сам.

## Второй и третий день злодейств

— **О** чем вы так спорили? Если вы считаете меня виновным, то объясните: я ведь тут налицо — и прежде нежели кто-либо решится сделать мне дерзость, пусть скажет, что я сделал дурного против кого-либо из вас? — обратился Василий Васильевич Хрущев к собравшимся на площади поселянам.

Все молчали, но затем некоторые заговорили.

— Мы вас ни в чем не виним и знаем, что вы имеете простую душу, но хотим обеспокоить вопросом: какая у вас была подписка на холеру? Нам священника Лавра жена открыла, что Бутович приезжал к ним ночью, вошел через окно, и, вынув саблю, принуждал его подписаться на холеру и в Ильин день отравить всех вином; да вот в 1-й поселенской роте нашли в колодце записку Савурского, сколько в него положено яду; да и писарь Штоц признался, что и весь провиант в магазине отравлен, — то мы просим вас, если вы

что знаете, открыть нам о таком умысле и сказать: в каких колодцах брошен яд? Будьте уверены, что пальцем вас никто не тронет.

— Пойдите, — перебил их Хрущев, — дайте мне вам сказать: если вы полагаете, что у меня в квартире есть яд, то позволяю вам осмотреть её, — а если не найдете?

— Мы были вами всегда довольны! — закричали поселяне.

Василий Васильевич продолжал:

— Итак, если вы имеете ко мне какое-либо доверие, то клянусь вам, что ничего, ни о какой отраве никогда я не слышал, да и с какой стати была бы подписка отравить вас? Не было бы подчиненных, не было бы нужды и в начальниках.

Из толпы на это кто-то заметил:

— Мы видим, что вам ничего не известно, нам и Богоявленский сказал, что вас опасались, так как по добродушию, вы все открыли бы...

Остальные поселяне заговорили разом:

— Смотрите, остерегайтесь от других рот, не выходите; мы вас не выпустим из дому; ведь много добрых, много и злых, за вами

примечают.

Василий Васильевич пошел домой и, увидав одного поселянина, пользовавшегося большим уважением и, во время бытности в крестьянстве бывшего головой, подошел к нему и сказал:

— Послушай, старик, ты человек умный и можешь рассудить, как можно отравлять всех! Поди ты и растолкуй им, они тебе более поверят!..

— Что тут говорить! — отвечал поселянин. — Для дураков яд да холера, а нам надобно вас, господ, остепенить малость...

День 17 июля во 2-й роте обошелся без убийств и особенных происшествий, но поселяне этой роты большою толпою отправились за Волхов в соседний округ короля прусского и прежде всего возмутили резервную роту этого полка, а затем и весь полк.

В этом округе повторилась та же трагедия: арест ротных командиров и батальонного, но к этому присоединился грабеж офицерских квартир и пьянство.

Буйные толпы поселян, поселянок и кантонистов набежали на штаб. Мятежники были

и пешие, и верхами, вооруженные топорами, шкворнями, кольями и разными сельскими орудиями, шли в рубахах, с платками и тряпичными на шеях, с завязанным ртом из глупой предосторожности против мнимой отравы, летающей, будто бы, в воздухе с пылью.

Все они рассыпались по штабу для розысков выдуманной отравы.

Мятеж главным образом разыгрался в штабе.

Когда злодеи арестовали ротных командиров, то мать одного и жены обоих, не страшась опасности, не отставали от них до самой гауптвахты.

Несчастные рыдали и ползали перед поселянами на коленях, умоляя их освободить невинных. На вопли женщин поселяне отвечали одно:

— Мы не тронем ваших мужьев, ничего им не сделаем, мы взяли их только на сохранение.

Они говорили одно, но делали другое.

К вечеру приведен был на гауптвахту батальонный командир, майор Яцковский. Он был оборван, без шапки, сюртука и шпаги и

измучен до изнеможения. Его преследовали и взяли у крайней будки графа Аракчеева полка. В то же время на гауптвахту приведен был из аптеки аптекарский ученик Руф Федоров.

Поселяне потребовали от Яцковского, чтобы он подписался под показанием, составленным по принуждению, и со слов поселян, одним из писарей, в котором было сказано:

*«яко бы начальники действительно подкуплены и согласны были отравлять их».*

Майор Яцковский упорно отказывался, но поддался, наконец, на мольбы арестованного капитана Дасаева, который просил «успокоить и их, и себя, подписав бумагу».

Поверя обещаниям поселян прекратить буйство и надеясь выиграть время к спасению себя и других, майор подписался, как мог, едва владея дрожащею рукою.

Злодеи только того и ждали. Они надеялись в этой подписке иметь себе оправдание перед государем императором в задуманных ими злодеяниях.

Офицеры обманулись в надеждах полу-



читать пощаду от мятежников, мятежники же не избегли справедливой кары.

Немедленно после подписи майор, а за ним и другие были выведены на площадь.

Была уже полночь на 18 июля.

На плацпараде в ночной темноте то поднимался какой-то буйный вопль и оглушительный крик, то наступала такая мертвая тишина, как будто бы плац делался совершенно пуст.

Утром выяснилось, что неистовые крики были смертельным приговором мятежников: криками встречали каждого, одного за другим, выводимых на плац, как на казнь, арестованных лиц; наступавшая затем тишина была страшными минутами душегубства — ожесточенные злодеи умолкали.

Исполнителем кровавого злодейства был хозяин четвертой роты из старослужащих — Горшков.

Он взял на себя обязанность палача и саблей зарубил майора Яцковского, капитана Дазаева, штабс-капитана Денисова.

Запыхавшись, наконец, от зверской работы, злодей бросил саблю.

Тела убитых плавали в крови до утра, и уже часу в десятом их отнесли за штаб.

Четыре большие кровавые лужи долгое время оставались на виду у всех, как бы уличая убийц и их соучастников.

После этой казни невинных, на площадь привели инженер-капитана Костерева.

Его ввели в середину толпы. Руки его крепко держали назад. Он увидел на земле трупы офицеров.

Из толпы ему закричали:

— Выбирай себе место и ложись!

Не потеряв присутствия духа, капитан Костерев спросил:

— За что вы хотите меня убить?

Поселяне молчали.

— Дайте мне хоть помолиться!

Руки его освободили.

Капитан перекрестился, прочитал тихо молитву и затем снова обратился к поселянам:

— Да скажите же мне, за что вы меня убиваете?

Толпа вместо ответа расступилась, и он свободно вышел. Поселяне тут же обратились к нему с просьбами быть их начальником.

— Какой я вам командир, когда вы только что хотели убить меня? — отозвался Костерев.

Поселяне продолжали настаивать принять над ними начальство и вместе с их выборными отправиться в Царское Село, «к царю на лицо».

Костерев согласился на предложение и пошел было в квартиру, чтобы собраться в дорогу, но поселяне из какого-то опасения не отпустили его от себя и в эту же ночь непосредственно за совершением убийств, отстраня капитана, отправили восемь человек выборных из хозяев в Царское Село, для донесения государю императору о происшедшем и для оправдания в своих поступках.

При этом поселяне самовольно выдали своим депутатам 400 рублей из казенного ящика.

Выборным поручено было представить мнимую опасность от подкупа начальства на отравление всех поселян ядом, и что-де эта крайность вынудила их отважиться на слушание и насилие против начальства. В подтверждение нелепицы взяли несколько пу-

зырьков из аптеки с острыми врачебными веществами и вынужденную подписку майора Яцковского.

18 июля в поселенном австрийского императора Франца I полку происходило то же, что было и накануне.

Собираясь на площади, поселяне кричали, отыскивая везде яд и советовались, каким образом поступить с оставшимися офицерами.

4-я поселенная рота толпою пришла в штаб; здесь отыскали и поймали майора Кутузова, лекаря Гутникова, аудитора Симкова, аптекаря Ропольда и полицеймейстера Парфенова, и посадили их на полковую гауптвахту.

Захватили писаря Штоца, надели на него петлю и привязали к хвосту лошади. Испугавшаяся лошадь притащила его по земле значительное расстояние, но благодаря своей ловкости и присутствию духа, писарь спасся от смерти, причем ему помогли некоторые из поселян, находившихся в штабе.

Так прошел третий день буйств.

Он заключен был тем, что взяли с гауптвахты полуживого капитана Соколова и пове-

ли под большим конвоем в ригу к покойникам.

Положив его возле мертвых, несчастному стали угрожать, что если он не признается в подписке в отравлении ядом, то его тут же умертвят.

Соколов твердо отвечал допросчикам, что никакой подписи на отраву не было и клялся им в своей невинности.

Поселяне сказали ему «вставай» и повели через площадь обратно на гауптвахту, говоря, что на другой день таким же образом будут допрашивать и других арестованных.

Между тем, в округе поселенного гренадерского полка короля прусского офицерские жены были в страхе и отчаянии. В слезах о страданиях родных и в мучительном беспокойстве за жизнь их, они собирались у священника полка, отца Воинова.

Слезы и молитва были их пищею и некоторою отрадою.

Мщение высказывалось и в поселянках: одна из них, пожилая и, по-видимому, степенная, подошла к уstraшенным и отчаявшимся женщинам, знакомым ей, и, вместо утеше-

ния, сказала:

— Когда наших мужей били, вы тогда чай пили.

Насколько и женщины поселянки были озлоблены доказывает, что школьный учитель 3-й поселенной роты, унтер-офицер Гаврилов, вытерпел истязание от женщин.

Поселянки схватили его и жестоко высекли розгами из мести за взыскания с их детей кантонистов, за школьные неисправности.

Когда его стыдили и говорили, как он мог поддаться женщинам, то он говорил, что на стороне врагов его перевес был слишком великим, что на него напали тридцать женщин, а он был один.

Тела убитых в ночь офицеров отнесены были поутру, как уже мы сказали, за штаб, где складывались дрова, брошены там и зарыты в неглубоких ямах.

На плацу, между тем, поселяне истязали захваченных вновь и содержавшихся под караулом.

В числе жертв, забитых до смерти, были подпоручик Федулов и фурштатный офицер Грешников.

На этом убийства и истязания кончились.

Из оставшихся в живых на гауптвахте отнесли на квартиру на руках подпоручика Винокурова, совершенно в беспамятстве, безнадёжного, и отвели штабс-капитана Дмитриева, и без того слабого здоровьем, изможденно-го троекратным истязанием под розгами, и аудитора Губанова, изувеченного и хромого.

Все трое впоследствии выздоровели, только первый страдал головою, которая была страшно избита, а последний остался на всю жизнь хромой и с трудом ходил на костылях.

## XVI

### Приезд графа Орлова

**19** июля, кроме офицеров, передопросили снова всех арестованных.

Допрос сопровождался жестоким наказанием розгами: несчастные, однако, твердо стояли на своем, что ничего не знают.

Тогда, кроме Соколова и солдатки Сыропятовой, всех повели в ригу.

Здесь стояли двое зимних дровней, запряженных пожарными лошадьми.

Войдя в ригу, поселяне стали опять спрашивать арестованных, причем, не стесняясь, при трупах, осыпали несчастных бранью.

Сами не смея дотронуться до своих жертв, поселяне заставляли приведенных выносить тела из риги.

Это была потрясающая душу сцена! Окочевшие члены — в том самом положении, как были при последних минутах — волочились по земле.

Полковник Бутович имел вид покойнее прочих.

— Ну, что же вы пришли, стоять что ли? — кричали на арестованных злодеи и подвигали к ним обезображенные трупы, с которых вся почти одежда была разграблена.

Поместив четыре трупа на одни дровни, а три на другие, убийцы поволокли свои жертвы на кладбище летним путем на дровнях, спустившиеся члены волочились по земле.

Отведя арестованных на гауптвахту, поселяне взяли отца Лавра и повели его насильно на кладбище.

Не входя в церковь, поселяне кое-как побросали трупы в две приготовленные моги-



лы: в одну — четыре, в другую — три.

Один старик стал их в яме поправлять.

Сверху, между тем, кричали:

— Клади их по чинам, старшего под низ!..

Отец Лавр, облачась, начал службу, после окончания которой могилы были засыпаны.

К Василию Васильевичу Хрущеву вскоре после похорон пришел старик-поселянин, тот самый, который укладывал в могилах покойников.

— Здравствуйте, ваше благородие, похоронили мы сейчас покойничков, уж и страсти же были! — сказал он, остановясь у притолки двери.

Он рассказал подробности похорон и в конце концов заметил.

— А ведь отец-то Лавр сознался, что точно была подписка.

Он пристально посмотрел в лицо Хрущева. Тот, однако, не смутился.

— Какая подписка?

— Да не бойтесь, спрашивали об вас, кричали отцу Лавру: «Не подписался ли капитан, мы его сейчас разорвем», но он сказал, что твоего благородия фамилии подписано не бы-

ло, но кроме вас — все виноваты...

Хрущев переменялся в лице.

— Не бойсь, тебя не за что обидеть! — успокоил его заметивший смущение старик и ушел.

Волнения стихли повсюду, и поселяне с напряженным нетерпением стали ожидать возвращения из Петербурга своих депутатов.

В сердцах многих, видимо, зашевелилось сознание своей неправоты и угрызение совести за содеянные преступления.

Последнее было ещё усугублено суеверием, многие рассказывали, что покойный Бутович разъезжает по ночам по поселениям в своем кабриолете.

Некоторые даже клятвенно уверяли, что видели его своими глазами.

После взрыва наступила тишина, после преступления — раскаяние.

Из Петербурга, между тем, до поселян стали доходить далеко не ободряющие их вести.

Депутаты поселян были приняты государем Николаем Павловичем в Ижоре.

— Кровожадные злодеи! — сказал им государь. — ещё не успели умыть рук ваших от

невинной крови и дерзаете предстать ко мне. Знаю все ваши дерзкие замыслы. Кого вы убили? Начальников, Богом и мною поставленных!..

Из числа депутатов был Осип Козьмин, бывший прежде головою над Вышенскою волостью. Государь сказал ему:

— И ты здесь, тот самый, которого брат мой удостаивал посещением?

— Мы вашим императорским величеством всегда весьма довольны, но начальство изменою хотело погубить всех отравою.

Депутаты подали записки Богоявленского и Яцковского. Государь прочел.

— Если я сейчас велю из вас, извергов, тянуть жилы, что тогда вы будете говорить? То же самое и записки ваши! — с гневом воскликнул государь.

Депутаты молчали. Они были поражены таким приемом и поняли, что дело их — преступление.

— Если есть в вас капля человеколюбия, — продолжал государь, — то раскайтесь в ваших поступках, я приеду и, быть может, помирюсь с вами, а между тем отслужите пани-

хиду по убиенным и отговейте неделю, тогда я увижу...

Отголоски этого царского приема какими-то неведомыми путями достигли до военных поселений ранее возвращения депутатов, и томительное беспокойство служило причиною все ещё продолжавшихся бурных выходов, но уже носивших лишь характер угроз, не приводимых в действие.

Среди поселян, по-прежнему собиравшихся толпами, слышались возгласы:

— Надо бы было всех добить!

От приходивших к Василию Васильевичу преданных ему поселян последний узнал, что они ожидают только своих депутатов, и чуть что, хотят затевать вторичный бунт, и тогда всем остальным «господам» беда будет.

— Что же они говорят обо мне? — спросил Хрущев. — Вероятно, тоже хотят убить?

— По правде сказать, и об этом разговор был, кричат, словом, чтобы и корня не было! Мы уж их уговаривали: за что нашего командира убивать? Тут и другие сказали: ведь, дескать, чуть что, и он от нас не уйдет, как гость сидит, — приди и бери!

Поселяне ушли.

Василий Васильевич вскоре сам вышел на площадь.

— Здравствуйте!

Несколько голосов ответили на приветствие, потом все разом стали говорить, что что-то долго не едут их депутаты из Петербурга.

— Говорят, против нас идет оттуда антилерия, дело-то не так будет ладно, придется всем положить животы!

— Кто это сказал вам? Не беспокойтесь, не может этого быть, — начал их успокаивать Хрущев. — Государь, наверно, пощадит своих подданных, притом же теперь все здесь успокоились, а раскаяние не только государь, но и Бог прощает.

— Вот и видно, что он ничего не знает, — стали говорить между собою поселяне. — А что, чай и вашему благородию не хорошо смотреть на такой штурм? — обратились они к нему.

— Да, признаюсь, — отвечал он, — вот уже четвертый день, как я не имею покоя, да и вы теряете время, а теперь бы только работать да

работать! Посмотрите, рожь-то вся пересохла, уж и зерна светятся, да сенокос без косцов...

— Да, да, — заметили многие из поселян, почесывая затылки, — прогневили Господа, дело пришло такое, что и воля стала не своя.

Прошел ещё день в томительном ожидании депутатов.

Наконец, 21 числа в 9 часов утра они прибыли из Санкт-Петербурга на двух тройках. Из их осунувшихся и печальных лиц было видно, как их принял государь, хотя на распросы Хрущева и других они уклончиво отвечали, что-де «государь их не похвалил».

На другой день прибыл и граф Орлов. Николай Иванович Панаев выехал к нему навстречу.

Граф приказал построить каре и, войдя в середину, поздоровавшись, сказал:

— Государь император послал меня вместо себя, и я, его императорского величества именем, уведомляю вас, что, невзирая на противозаконные дела, которые хотя весьма прогневили его, но, по своей милости, государь имеет терпение ожидать от вас полного раскаяния и смирения.

— Виноваты! — в голос отвечали поселяне и упали на колени. Граф Орлов начал читать им высочайший приказ, а по прочтении уверещивал их, объясняя значение эпидемии.

Все молчали. Вдруг послышался крик.

— Смерть нам пришла, ваше превосходительство.

Один из поселян громко воскликнул:

— Положим, что холера существует, но зачем начальство раздало яд?

Генерал Орлов стал объяснять ему действие лекарств. Поселянин стал спорить.

Выйдя из терпения, Орлов ударил себя по бедру и сказал:

— Молчи, или я тебя через крышу перекину!

Поселянин замолчал, и вновь воцарилась мертвая тишина. Граф Орлов приказал отправить арестованных офицеров в Новгород, и сам отправился туда.

Через несколько дней была отслужена по убитым панихида.

Находившийся вблизи округа новгородского Софийского собора епископ Тимофей прибыл с духовенством и монашеством.

Служба совершена была на площади 2-й поселенной роты, под поселенным батальоном.

По окончании панихиды епископ обратился к поселянам с речью:

— Может быть, в этот час, — говорил между прочим архиерей, — души убиенных дреколием вашим вопиют к небу. Безумные! Что в то время о сем не размыслили? Может ли быть покойна ваша совесть, исполненная воспоминаниями беспутства дел ваших? Вы отныне будете подобны листу, от малого дыхания ветра трепещущему, — и чего недоставало к благополучию вашему? Неужели наскучило вам в тишине мирской трудиться и собственными руками приобретать себе благосостояние? Какое через это утешение бывает! Сам Господь сказал: в поте лица твоего снеси хлеб твой! А вы возлюбили пуще праздность! вспомните попечения и труды, изливаемые на вас покойным и сим государями, как равно и начальниками. А что доселе было у вас? Шинки, разврат; занимались пьянством, ленивством! Может ли терпеть сие Господь наш? Я, как архиерей, Богом поставленный,



говорю вам: что при таких постыдных поступках не будет над вами благословения; ни в сей, ни в будущей жизни!

Поселяне были смущены и начали разведывать в Новгороде о своей участи и все более и более убеждались в своем безрассудстве.

Видя в Новгороде многих обвиненных ими в отраве офицеров, уже выздоровевших и ходивших всюду свободно, поселяне говорили между собой:

— Вот тебе и яд, попали впросак! Видно, не начальники, а сами мы себя отравили своим глупым разумом!

В это время всеобщего замешательства умов пронеслась весть, что в военные поселения едет сам государь император Николай Павлович.

## XVII

### Пред лицом царя

Император Николай Павлович прибыл в военные поселения 26 июля 1831 года, в воскресенье, в десятом часу утра.

Появление императора перед развернутым фронтом поселенного батальона в манеже было торжественно. Царственный взгляд Николая Павловича, при росте, сложении и самой поступи, сильно подействовал на поселян. Священник Гавриил Богословский стоял с крестом и святою водою возле церкви, находившейся в манеже.

Государь прибыл в коляске, в сопровождении графа Орлова. Вслед за ним в экипажах ехала свита. Николай Иванович подал ему рапорт, в котором, по установившемуся обычаю, убитые офицеры, до исключения из списков, показаны были в командировке.

— Это в дальнейшей? — заметил Николай Павлович.

— Точно так, ваше величество!

Государь вышел из коляски, обнял и поце-

ловал Панаева.

— Спасибо, старый сослуживец, что ты здесь не потерял разум, я этого никогда не забуду...

Обернувшись затем к стоявшим с хлебом и солью на коленях поселянам, сказал:

— Не беру вашего хлеба, идите и молитесь Богу!

Началось молебствие, после которого государь обратился к поселянам, все продолжавшим стоять на коленях.

— Встаньте.

Все встали.

Император стоял посередине с генералом Орловым и Бенкендорфом.

— Как смели вы восстать против меня?

— Рады живот свой положить за ваше императорское величество! — слышались возгласы.

— Вы убили своих начальников, Богом и мною над вами поставленных, то все равно, что вы подняли руку на меня. Удары, которые вы им наносили, — государь указал на свою грудь, — вы нанесли мне. Я поставил их начальниками над вами, а меня поставил Бог. Я

отвечаю за вас Богу, а они отвечают мне! Хорошо вы чувствовали благодарность за попечения и милости покойного брата моего. Но, по крайней мере, имеете ли вы в совести вашей полное раскаяние в совершенном вами преступлении?

— Виноваты, ваше императорское величество! — отвечали поселяне трепещущими голосами.

— Если бы я и хотел простить вас, но простит ли вас закон, простит ли Бог?

Государь вздохнул и на минуту приостановился, а затем продолжал:

— Понимаете ли вы, что вы безвинно замучили ваших начальников?

— Виноваты перед Богом и великим государем! — отвечали поселяне.

— Раскаиваетесь ли в ваших поступках?

— Дай Бог вашему императорскому величеству много лет здравствовать.

— Будете ли стараться заслуживать за ваши преступления?

— Рады стараться, ваше императорское величество! — дружно отозвались поселяне.

— Будете ли молиться за убитых?

— Будем, ваше императорское величество!

— Одно только ослепление ваше, — продолжал государь, — убеждает меня забыть столь важное преступление, которое заслуживало бы того, чтобы стереть таких злодеев с лица земли. Имеющие георгиевские кресты — выходите вперед.

— Вас ли я вижу? И вы живы все? — спросил вышедших государь после некоторого молчания.

— Слава Богу, ваше величество, Бог помиловал! — отвечал один из георгиевских кавалеров.

— Молчи, не срами Бога! Вы, кавалеры, должны были все лечь тут и не допустить истреблять ваших начальников. Что вы тут делали? Не вы ли первые обязаны были подать пример собою в порядке и исполнении военной дисциплины и удерживать от буйства этих мерзавцев? Если что-нибудь хотя подобное случится вперед, то Боже вас сохрани: вы первые будете мне отвечать собственной жизнью вашею.

Затем Николай Павлович принял хлеб, поднесенный поселянами, и отломил кусок

кренделя.

— Ну, вот я ем ваш хлеб и соль, конечно, я могу вас простить, но как Бог вас простит?

Громкое «ура!» было ответом.

— А ты с ними не шути и при первом слушании выведи и тут же расстреляй на месте! — громко обратился государь к Панаеву.

Поблагодарив после этого офицеров, государь сел в коляску и, объехав все округа кроме Старорусского, в тот же день поехал обратно в Новгород, где был в церкви святого Николая Качанова.

В ночь на 27-е июля государь отправился обратно в Петербург, получив уведомление, что государыня почувствовала приближение родов.

Действительно, прибыв в Царское Село, Николай Павлович был обрадован рождением сына Николая Николаевича, нареченного в честь новгородского угодника блаженного Николая Качанова.

По этому случаю в Новгороде несколько времени носилась в народе молва, что новорожденный наименован великим князем новгородским.

Высочайшее посещение довершило сознание виновности в поселениях, искоренило ложные убеждения и преступную надежду безнаказанности, обуздало и смирило буйных.

Об отраве не стало и помину; поселяне забыли думать о своем вымышленном яде, а в страхе помышляли только о решении своей участи; возвратили в комитет награбленные вещи; в округе императора австрийского полка говели и исповедывались.

Оставшиеся в штабе семейства офицеров совершенно успокоились, для них миновала беззащитная, тяжелая зависимость и опасность, угрожавшая каждую минуту, особенно в первые дни нападения на их собственность и жизнь.

Несчастные, как будто из плена, возвратились в отечество, под защиту законной власти и правительства. Десять дней томились они в полной неволе, десять дней было для них прервано сообщение с окрестностями и городом.

В эти дни они чувствовали себя отторгнутыми от общества людей, живя, как будто, на

необитаемом острове с диким зверями.

Теперь спокойствие округа было упрочено. Комитет твердо вступил в управление, возобновив свои законные действия.

В церквах, при каждом служении, продолжались приличные обстоятельства вразумления и увещания до самого окончания суда и исполнения высочайше утвержденных приговоров виновным.

Генерал Скобелев, славный отец ещё более славного сына, в бытность свою в то время в округах, при сборе поселян в экзерциргаузе, тоже не упускал ни одного случая делать резкие и вразумительные увещания.

Вскоре открылась в Новгороде общая комиссия для преследования преступлений во всех округах, а для дополнения деланы были известные розыски и допросы, в каждом округе отдельно. Каждый, позванный к ответу, чтобы оправдать себя, делал показания на других, а те, в свою очередь, ссылались или слагали вину ещё на других. Друг друга оговаривали, друг друга уличали; к этому примешивались и личные соседские неудовольствия; круг доказчиков и уличенных расши-



рялся быстро и ничто, по-видимому, не могло укрыться от следователей. Трудность открытия истины облегчали сами ответчики, с жаром опутывая друг друга.

Как при начале беспорядков буйные зачинщики старались всех вовлечь в бесчинные и незаконные действия, так и при следствии первые уличенные старались оговаривать, как можно более, чтобы всем заодно отвечать и никто бы не мог избежать ответственности и суда.

Необъятный, изумительный труд преодолела комиссия при разборе и различении верных показаний от ябеды, и приведении в порядок и ясность этой страшной путаницы, этого ужасающего хаоса.

Из всего было ясно, что первый шаг своеволия и посягательства на свободу начальников прикрывался лукаво придуманным предлогом своей безопасности. Но этот шаг открыл путь и дал волю буйству и чувству мщения, которое увлекло их к злодеяниям и удовольствовалося только кровью! Картина грустная и ужасная!

Но среди мрачных явлений и недобрых

дел, несколько отрадно проявление не совсем угасших чувств и совести, веры и сознания долга. Дерзость и бесчеловечие не имели границ, но отрицание долга повиновения не дерзало явно обнаруживаться. Напротив, проявлялось сознание необходимости подчинения и остались нерушимыми благоговейный страх и вера в святость церкви и верховной власти.

Действия комиссии окончились распределением виновных на разряды. Убийцы наказаны кнутом и сосланы в Сибирь на каторжную работу. Прочие виновные, по степени преступлений, подвергнуты наказаниям по определению военного суда.

Наказания производились частью в Новгороде, частью в штабе округов на местах преступлений, при сборе всех поселян и их семейств.

Удары кнута и бичевание шпицрутенами с воплем и стоном бичуемых раздавались по штабу, но крик кантонистов и визг женщин под розгами заглушал и прикрывал все.

Поселянкам казалось, как они уверяли впоследствии, что грехи их из-под ударов вы-

летали из тела и поднимались в виде брызжущего пара.

Затем, по распределению виновных в Сибирь на поселение и в арестантские роты, оставшиеся в округе свободными от суда и наказания хозяева из старослужащих, выслужившие воинский срок, уволены в отставку, а не дослужившие срока распределены на службу по полкам армии.

В первых четырех округах новгородского военного поселения осталась одна треть хозяев — коренных жителей.

Вскоре последовало совершенное преобразование округов, высочайше утвержденное в 1832 году, по которому поселяне переименованы в пахотные солдаты, дети их кантонисты — малолетками, школы закрыты. Хозяевам прекращена выдача пайков, и на них возложена рекрутская повинность и поземельный оброк; им разрешено строить избы на собственный счет, по особенно изданным планам, но, по желанию их, на местах прежнего их жительства.

Так совершился последний переворот в существовании военного поселения, и в этом-то

виде округ сей доживал последний возраст недолговечной сорокалетней жизни новгородского военного поселения до перехода в удельное ведомство, оставя потомству много глубоких назидательных уроков и наказов: религиозных, политических, экономических, нравственных и житейских — в пользу правительства и быта народного.

Погибла безвозвратно и навсегда «заветная царственная мечта» благословенного венценосца, погибли все усилия ума и энергия графа Алексея Андреевича Аракчеева, которые он приложил для осуществления этой мечты своего государя и благодетеля.

Сперва из грузинского уединения, потом из Тихвина и Новгорода, и, наконец, снова из Грузина с горечью в сердце видел он разрушение своих многолетних трудов, трудов, для которых не жалел он ни сил, ни жертв.

Этот удар едва ли не был один из тех, который окончательно сломил крепкую натуру «железного графа» и вскоре свел его в могилу, обиженного и оклеветанного современниками, и, увы, до сих пор по заслугам не оцененного потомством.

Первые, а по следам их и вторые, нашли даже в нем причину вспыхнувшего бунта, несмотря на то, что имя Аракчеева не было даже произнесено злодеями, что подтверждают все оставшиеся записки очевидцев кровавых дней 1831 года.

## XVIII

### После бури

**Н**а берегах Волхова снова воцарилась тишина.

Спасенный положительно чудом, не только от смерти, но даже от серьезных оскорблений находившийся у самого кратера народного безумия, Василий Васильевич Хрущев только тогда, когда опасность окончательно миновала и его жизнь и служба вошла в обычную колею, ясно и определенно понял, что в течение десяти дней его жизнь каждую минуту висела на волоске.

Впрочем, он и теперь не очень радовался, что остался жив.

Что на самом деле представляла для него эта жизнь, что сулила ему его будущность?

Конечной целью его существования было искупление им вины перед государем и отечеством за кратковременное заблуждение, окончившееся бытностью его в числе заговорщиков на Сенатской площади 14 декабря 1825 года.

Несмотря на пройденную им солдатскую лямку, нося которую он верой и правдой служил своему государю, ему все ещё казалось, что вина его далеко им не искуплена.

Производство его в офицеры и перевод на службу в военное поселение совсем не обрадовали Василия Васильевича. Он понимал, что он обязан этим графине Аракчеевой, и эта монаршая милость, им незаслуженная, тяжёлым гнетом ещё больших укоров совести легла на его душу.

Быть истязуемым и убитым поселянами, мученической смертью завершить свою службу было бы, казалось ему, гораздо легче и отраднее, чем влачить его никому не нужную безотрадную жизнь, без даже мгновения радости, без проблеска надежды когда-либо успокоить угрызение совести за свое преступление, когда-либо изгнать из сердца любви-

мый образ отвергнувшей его девушки, все продолжавшей наполнять и терзать это бедное сердце.

Это безразличие перед жизнью и смертью, это скорей стремление к последней и пренебрежение опасностью, быть может, и служили главной причиной его чудесного спасения — своего рода несчастием, заключавшимся в возможности достигнуть того, чего желалась.

Словом, Василий Васильевич продолжал жить и... быть по-прежнему несчастным.

Судьба, видимо, разделяла его мнение, что он недостаточно наказан — она готовила ему удар, горший и мучительнейший, нежели смерть от руки разъяренных бунтовщиков.

Она готовила ему известие о смерти любимого им существа — Марьи Валерьяновны Зыбиной, урожденной Хвостовой, этой безвременной смерти, сопровождавшейся годами муки и несчастий.

Он получил его от графини Натальи Федоровной Аракчеевой, которую посетил в её имении близ Тихвина, куда она возвратилась из Москвы в половине августа 1831 года.

При свидании перед своим отъездом в первопрестольную столицу, она угадала сердцем, что Хрущев желал бы получить сведения о том, что делается у Хвостовых, куда, по его словам, ему самому тяжело было ехать, а потому она не решилась при вторичном его к ней визите скрыть от него известные ей роковые новости.

С присущими Наталье Федоровне деликатностью и тактом она передала ему грустную повесть злоключений безвременно погибшей молодой женщины, так дорого поплатившейся за свое увлечение, за необдуманый шаг своей молодости.

Он выслушал её, казалось, совершенно спокойно, ей даже показалось, что чересчур равнодушно, и она приписала это всеисцеляющему времени, хотя, судя по себе, не признавала за долгими годами целительного средства от несчастной любви.

— Какой удар для тетушки и для Пьера! — заметил Василий Васильевич, не выразив даже своего личного ощущения, точно он никогда не знал несчастную женщину.

Графиня даже бросила на него удивлен-



ный взгляд и с горечью подумала: «Он забыл её!»

На этот раз Наталья Федоровна ошиблась.

Это кажущееся равнодушие Хрущева было сильнее, нежели в страшных криках отчаяния выраженная печаль.

Василий Васильевич вдруг ощутил какую-то пустоту в уме и сердце, и эта пустота мешала ему не только выразить свое страдание, но даже, казалось, чувствовать его. Так нанесенный смертельный удар причиняет порой менее боли, нежели легкая царапина.

В таком состоянии нравственного отупения уехал Василий Васильевич из имени графини Аракчеевой.

Ещё ранее он решил после визита к Наталье Федоровне заехать в Грузино к графу Алексею Андреевичу, просившего его запискою заехать к нему для личного рассказа о пережитых им днях во время бунта.

Граф Аракчеев в начале возмущения находился в Грузии, но, узнав о происходивших волнениях, поспешил уехать в Тихвин.

Губернатор А. И. Депфер, узнав о приезде графа, послал к нему полицеймейстера с

просьбою о выезде из города, так как присутствие его сиятельства могло быть опасным для жителей, без того уже боявшихся нападения со стороны поселян.

Видимо, этот сановник, под влиянием ходивших тогда толков в лагере графских врагов, считал его чуть ли не первым виновником бунта.

Алексей Андреевич страшно рассердился и тотчас отправил эстафету в Петербург.

Ответ не замедлил. Ему было разрешено оставаться в Новгороде, а губернатору поставили на вид его опрометчивость и бестактность.

В Новгороде, впрочем, граф оставался недолго и ни к кому не ездил кроме доктора Азиатова, у которого по вечерам играл в свою любимую игру — бостон по грошу.

Хотя граф и был уверен в своей безопасности и в Тихвине, и в Новгороде, но тем не менее опасался за свою шкатулку, которую в Тихвине отдавал на сохранение жившей там своей куме — генеральше Анне Григорьевне фон Фрикен, а в Новгороде доктору Ивану Ивановичу Азиатову.

Последний спрятал её под кровать и очень обрадовался, когда Алексей Андреевич, несколько дней спустя, взял её обратно.

Шкатулка эти причинила Ивану Ивановичу несколько бессонных ночей.

— Не хорошо быть богатым, но ещё хуже хранить чужое, быть может, миллионное богатство, — говаривал он впоследствии, рассказывая об этом.

В один из вечеров, проведенных графом у Азиатова, он, выходя от него, задел воротником шинели за какой-то почти незаметный гвоздь в дверях, рассердился и сказал:

— Вот какие у тебя неисправности; эту шинель снял со своих плеч покойный государь на поле сражения в 1812 году и подарил мне, и эту драгоценность пришлось мне разорвать у тебя. Прощай, никогда более к тебе не приеду.

И действительно, не был, но перед своим отъездом позвал Ивана Ивановича и его жену на прощальный обед, был весел и любезен и просил доктора, в случае надобности, приехать в Грузино.

По усмирении бунта в Старой Руссе возвра-

тился в Новгород генерал Эйлер, в сопровождении резервного батальона карабинерного полка для начальствования над войсками.

— Благодарите вашего генерала за оказанную мне честь, но с моей стороны было бы неппростительно отрывать нашего генерала от столь важных государственных дел! — отвечал граф и ушел в свой кабинет.

Адъютанту пришлось передать этот саркастический ответ графа генералу Эйлеру.

Вскоре граф возвратился в Грузино.

Это возвращение было за несколько дней до приезда с Кавказа Михаила Андреевича Шумского, прибывшего, если не забыл читатель, туда 15 августа 1831 года.

Василий Васильевич Хрущев прибыл в Грузино в самый разгар неприятностей между графом Аракчеевым и его мнимым сыном. Это, впрочем, не помешало Алексею Андреевичу любезно и гостеприимно принять приезжего и с интересом и вниманием выслушать рассказ ближайшего очевидца так недавно усмиренного кровавого возмущения.

— Вот ты цел и невредим вышел, а тоже, чай, им поблажки не давал... народ понимает

и уважает справедливых начальников, без строгости нет службы... Несправедливость, лицеприятие... этого народ не перенесет... Покойники-то, верно, не тем будь помянуты, — заметил граф.

Хрущев стал горячо возражать.

— Если спасся я, то только положительно чудом... — закончил он.

— Толкуй, брат... нет дыма без огня, недаром пословица молвится... Не ты один жив, а и другие, — отвечал Алексей Андреевич.

Обласкав и пожелав успехов по службе, граф Аракчеев отпустил Василия Васильевича.

Последний отправился домой.

Только оставшись наедине с самим собою, он понял, что затаенной даже от самого себя главнейшей целью его жизни, кроме искупления вины, была надежда, несбыточная и безумная, но все же надежда на свидание с Марьей Валерьяновной, и что теперь, когда эта надежда совершенно исчезла, образовавшаяся в его сердце и уме пустота сделала ему жизнь каким-то тяжелым, невыносимым бременем.

«Я не увижу её никогда... никогда!» — повторял он сам себе, как бы не веря во всю очевидность этой роковой истины.

«А там... за гробом...» — появилось в уме его соображение.

«Да, да, за гробом... я увижусь с нею... за гробом...» — ответил он сам себе.

Эта мысль неотвязно носилась в его уме. Его вдруг потянуло в Москву.

Ему показалось, что выплакавшись на могилах матери и Марьи Валерьяновны — этих двух любимых им существ, ему станет легче переносить эту пытку, которая называется жизнью.

Он подал рапорт об отпуске и тотчас же по получении его укатил в Москву.

Въехав в город, он приказал ямщику везти его прямо в Новодевичий монастырь и, остановившись у ворот обители, расплатился с возницею, и быстро прошел на дорогие могилы.

Ему подробно описала их местоположение графиня Наталья Федоровна Аракчеева.

\* \* \*

В тот же день к вечеру по Москве разнес-

лась весть о самоубийстве на могиле Марьи Валерьяновны Зыбиной её кузена — декабриста Хрущева.

Его нашли монашенки, лежавшим ничком, с зияющей в правом виске огнестрельной раной. Около трупа лежал пистолет — орудие самоубийства.

Ольга Николаевна Хвостова не узнала о трагической смерти своего племянника — она в это время лежала на смертном одре. Кончина в её объятиях любимой, хотя и оскорбившей её дочери, окончательно расшатала даже её железный организм, и она стала хиреть и слабеть и, наконец, слегла в постель, с которой ей не было суждено уже вставать.

Петр Валерьянович выхлопотал разрешение предать самоубийцу Хрущева церковному погребению, и он был похоронен в семейном склепе Хвостовых, у которого он покончил свои расчеты с жизнью, около той, которая была причиной, хотя и бессознательной, его разбитой жизни и преждевременной смерти.

Не прошло и недели, как в это же место вечного успокоения отвезли и Ольгу Никола-

евну Хвостову, тихо скончавшуюся на руках сына и его жены.

Жизнь других наших московских героев, за описанное нами время, не представляла ничего выходящего из обыденной рамки. Они жили в том же тесном кружке и делились теми же им одним понятными и дорогими интересами. Самоубийство Хрущева, конечно, достигло до дома фон Зееманов, и вся «петербургская колония», как шутя называл Андрей Павлович Кудрин себя, супругов фон Зееманов и Зарудина, искренно пожалела молодого человека.

Что произошло за это время между графом Алексеем Андреевичем Аракчеевым и Шумским уже известно нашим читателям.



## ХІХ

### На кладбище

Прошел год.

Было 15 августа 1832 года — Успеньев день.

Главная церковь Ново-Девичьего монастыря была полна молящимися. Среди них у левого клироса коленопреклоненная почти всю обедню молилась Екатерина Петровна Хвостова.

Она сильно изменилась и похудела, что особенно отеснялось глубоким трауром её одежды, но выражение её лица было спокойнее и светлее прежнего.

Видимо, она душевно успокоилась, хотя пережила и переживала много горя.

Смерть старухи Хвостовой сильно поразила её, Екатерина Петровна не думала даже, что так горячо была привязана к покойной.

Но это горе было только преддверием другого — сильнейшего. Не прошло и двух месяцев после смерти Ольги Николаевны, как Петра Валерьяновича поразил первый удар апо-

плексии, за которым вскоре последовал второй, и несчастный, ещё сравнительно молодой мужчина оказался на всю жизнь прикованным к креслу на колесах.

Екатерина Петровна удвоила к мужу свою нежность, но страдания и беспомощное положение боготворимого ею мужа глубоко терзали её душу, тем более, что ей казалось, что Бог наказывает его за неё, за то, что он соединил свою судьбу с такой великой, как она, грешницей — женщины, вообще, зачастую страдают отсутствием логики, а в несчастии в особенности.

Кроме забот о муже, Екатерина Петровна посвятила всю свою жизнь молитве и благотворительности, и в этих подвигах веры и добрых дел, предписанных Евангелием, нашла, наконец, успокоение душе и сердцу.

Она совершенно успокоилась относительно возможности разоблачения самозванства, так как графиня Аракчеева, посетив её несколько раз, дала ей весьма прозрачно понять, что ей не следует опасаться Зарудина, не говоря уже о ней самой.

— Это мой многолетний лучший друг, и

право, мы оба довольны, что судьба послала нам в удел лишь духовную близость — такие отношения прочнее и отраднее! — заметила графиня.

По воскресеньям Екатерина Петровна неукоснительно бывала в своей приходской церкви — святых Афанасия и Кирилла, а по большим праздникам ездила к обеду в Ново-девичий монастырь и после службы приходила к могильному склепу Хвостовых, где служила панихиды об успокоении душ усопших рабов Божиих Ольги, Марии, Ираиды и Василия.

Потому-то в Успенъев день мы и застаем её в церкви Ново-Девичьего монастыря.

Служба кончилась.

Народ густыми нарядными массами повалил из храма, мешаясь с черной одеждою монашенок.

Екатерина Петровна вышла почти последняя и медленно, с опущенными долу глазами, прошла на кладбище, куда следом за ней направился священник с диаконом, несколько монашенок и кое-кто из богомольцев.

Она не заметила, что почти рядом с ней

вышел мужчина брюнет, все время и за обедней следивший за ней каким-то жадным взглядом, и даже опередил её.

Он остановился на паперти, пропустил её мимо себя, внимательно оглядев с головы до ног и медленно пошел по кладбищу в ту же сторону, куда отправилась Бахметьева и духовенство.

Он, однако, не подошел к склепу Хвостовых, а скрылся за один из стоявших поблизости высоких надгробных памятников и стал оттуда снова неотводно следить за Екатериной Петровной.

Началась панихида. Опустевший от мирских пришельцев монастырь, — так как народ уже вышел за ворота, — огласился заунывным служением, особенно гулко раздавшимся среди наступившей тишины.

Каильный дым синими облаками несся ввысь в прозрачном воздухе августовского светлого дня.

Яркое солнце играло на ризах священнослужителей и на серебре каильницы.

Погода была превосходная и в самой природе царила такая тишина, что ни один ли-

сточек не шевелился на немногочисленных деревьях монастырского кладбища.

Служба кончилась, духовенство и монашеники удалились, ушли и несколько богомольцев.

У склепа осталась одна коленапреклоненная Екатерина Петровна, забывшаяся в горячей молитве за усопших и за своего полуживого мужа.

Следивший за ней брюнет вышел из-за памятника и тихо приблизился к склепу.

Екатерина Петровна очнулась от шума шагов, встала с колен, обернулась и очутилась лицом к лицу с незнакомым ей мужчиной.

— Катя!?! — проговорил брюнет.

Бахметьева вздрогнула и бросила удивленно-вопросительный взгляд на незнакомца.

— Ты не узнаешь меня, я стал брюнетом, да и много лет не видались мы с тобой, Катюша — назову уж я тебя, как звала покойная твоя мать...

У Екатерины Петровны подкосились ноги — она узнала голос. Перед ней стоял её кузен Талицкий.

— Сергей!.. — могла только произнести она

и пошатнулась.

— А-а-а... узнала!.. — заметил он, успев подержать её, и бережно усадил на стоявшую у склепа скамейку.

Она сидела, бессильно опустив на грудь свою голову.

— Только я теперь не Сергей, а Евгений, и не Дмитриевич, а Николаевич, и не Талицкий, а Зыбин, — медленно начал он, — как ты не Екатерина Петровна Бахметьева, а Зоя Никитишна Хвостова, урожденная Белоглазова. Славно ты, Катюшка, устроилась...

Она молчала, казалось, не только не понимая, но даже не слыша его. Он, между тем, развязно сел с ней рядом на скамейку.

— Мы с тобой теперь не только по далекому прошлому, но и по-настоящему родственники — в этом склепе полеживает и моя супружница Марья Валерьяновна, урожденная Хвостова... Царство ей небесное... — с гадкой усмешкой продолжал Зыбин-Талицкий.

Екатерина Петровна вздрогнула, как-то гадливо отодвинулась от своего непрошеного соседа, но не проронила ни слова и не подняла головы.

— Что же ты молчишь, как рыба, или не рада встрече, после такой долгой разлуки... Ведь, говорит же французская пословица, что всегда возвращаются к своей первой любви... Хорошо же ты возвращаешься... Молчишь, точно встретила с выходцем с того света... Я, вот, так рад, что встретился с тобой, кузи-нушка, давно я тебя уже выследил, да выби-рал удобное место и время... Надоело мне, чай, так же, как и тебе, носить столько лет чужую кожу — отрадно поговорить по душе с близким человеком, которого нечего боять-ся...

Екатерина Петровна, между тем, только казалась неслушающей и непонимающей — она слышала все и все поняла, поняла к своему ужасу.

Сперва её ум поразила вся путаница со-бытий. Если бы она прочла все это в ка-кой-нибудь книжке, то признала бы за её ав-тором положительную неправдоподобность вымысла, а между тем, жизнь порой является автором таких сложных драм, до которых уму человеческому и не додуматься.

В этом она теперь убедилась воочию.

Пропавший без вести её кузен и первый любовник — Талицкий оказывается жив и невредим, но перекрашен и носит другие имя, отчество и фамилию, и даже был женат на покойной сестре её мужа Хвостова, за которым она замужем, но не как Екатерина Петровна Бахметьева, а как Зоя Никитишна Белоглазова — то есть она такая же самозванка, как и он — Талицкий.

Все это мгновенно промелькнуло в её голове, в которой затем возник роковой вопрос: что же теперь будет?

«Чего он потребует от меня? Денег или любви?..»

При этой мысли она и вздрогнула, гадливо отстранившись от сидевшего рядом с нею её бывшего любовника.

«А быть может, и того и другого вместе? Он, кажется, нравственно не изменился, а она знала его, знала, к несчастью, очень хорошо».

Она поняла, поняла совершенно ясно, что она всецело в его власти, что он может погубить её, раскрыв все её мужу, явившись к нему прежним Талицким и смыв с себя эту так изменившую его краску.



«Что побудило его на самозванство? Вероятно, преступление... Но какое? Надо узнать... Если он проговорится, тогда шансы в борьбе у нас будут равны... Тогда я перестану бояться его и откуплюсь даже сравнительно малою суммой, а не то пригрожу».

В присутствии первого учителя в ней проснулась его ученица.

«А быть может, и теперь... сейчас... можно дать ему надлежащий отпор». — мелькнуло в её уме.

Она собрала все свои силы и подняла голову.

— Мы с вами, Сергей Дмитриевич, так долго не видались, что, видимо, стали совершенно разными людьми, так что я даже не вижу причин радоваться этой встрече... — сказала она с дрожью в голосе.

— Вот как! — расхохотался он. — Вы за эти годы стали совершенно тонкой барыней из московского *beau monde*'а и, быть может, чем черт не шутит, верной женой, так что считаете за грех даже вспомнить те счастливые минуты, которые вы проводили в моих объятиях...

Он снова разразился наглым смехом.

— Я не считаю их теперь счастливыми, — поднялась она со скамьи.

Его подлый хохот возмутил её и придал ей энергии.

— Я считаю их омерзительными... Оставим этот разговор... Он неуместен вообще, а в особенности здесь, у могил нам обоим близких людей... Прощайте.

— Те... те... те... атанде... — схватил он её руку и силой заставил снова сесть. — Я не сентиментален и готов говорить о деле не только над могилою, но даже в могиле... Мне же до вас есть дело, иначе не думаете ли вы, чтобы я стал вас столько времени выслеживать для нежных воспоминаний о прошлых поцелуях...

— Что же вам надо? — спросила она уже снова упавшим голосом.

Она поняла, что отпор не удался, и снова бессильно опустила голову.

— Вот так-то лучше!.. А то фордыбачить вздумала, когда вся у меня вот здесь...

Он сжал кулак.

— Хочу раздавлю, хочу помилую! Мне надо

говорить с тобой, — он перешел снова на «ты», — наедине и долго...

— О чем?

— Тогда узнаешь...

— Если надо денег, я дам, с условием, чтобы вы меня оставили в покое...

— Денег теперь мне не надо. Безмозглые поляки выбрали меня казначеем одной из банд... Кое-что осталось... Послезавтра ты выедешь одна в Тихвин, скажешь своему мужу, что едешь на богомолье... но одна, слышишь... Я буду тебя ждать на первой станции от Москвы... Вот тебе моя воля... Не исполнишь... берегись... сыщу на дне морском...

Он встал и быстро пошел к кладбищу, по направлению к монастырским воротам. Екатерина Петровна сидела, как окаменелая.

## XX

### Под властью прошлого

Екатерина Петровна очнулась уже тогда, когда Сергея Дмитриевича простыл и след. Она оглянулась по сторонам.

На кладбище было пусто и тихо. Только яркое солнце по-прежнему весело играло на крестах монастырского храма и некоторых надгробных памятников, внося жизнь в это царство смерти и далеко не гармонируя ни с печальным видом ряда могил, ни с настроением одиноко сидевшей на скамье Хвостовой, в душе которой были тоже и смерть, и могила.

На первых порах несчастной женщине показалось, что она проснулась от тяжелого, страшного сна, но восстановив подробности всей прошедшей за какие-нибудь четверть часа у склепа сцены, она должна была оставить эту отрадную надежду.

Видневшиеся на желтом песке дорожек свежие следы удалившегося мужчины красноречиво говорили, что все ею так недавно

пережитое и перечувствованное было далеко не сном. Эти-то следы и вывели Екатерину Петровну из этого сладкого предположения.

Он был тут... Он... Талицкий... Её первый любовник... беспощадный, способный на все...

Она вспомнила его властный тон назначения ей свидания на завтра. Он даже не дождался ответа. Так бесповоротно, видимо, решил он, что она не посмеет его послушаться. И он прав, бесконечно прав.

Екатерина Петровна до боли закусилась губу, чтобы физическим страданием заглушить нравственное...

— Я его раба, я вся в его власти... и если не его лично, то во власти прошлого! — вырвался у неё почти громкий, отчаянный крик.

«Надо ехать... Это вне сомнения... Но зачем? Что ему надо от меня?» — стала она задавать сама себе вопросы.

«Денег?.. Нет! Он сам заявил, что теперь ему их не надо... Меня? Едва ли... Он так презрительно отозвался о воспоминаниях, о поцелуях... Что же ему надо?.. Какое дело имеет он до меня?..» — продолжала она пытаться себя,

но вопросы эти так и оставались вопросами.

«Надо ехать домой! К мужу», — вспомнила она и вздрогнула.

— Домой! К мужу! — повторила она, и чем-то совершенно чуждым прозвучали для неё эти слова.

Разве теперь у ней был дом и муж, разве теперь что-нибудь принадлежало ей, когда она сама уже более не принадлежала себе? Быть может, завтра этот человек, вещью которого она была двадцать лет тому назад, и увлечет её куда-нибудь далеко для этого неизвестного ей «дела». И она пойдет, потому что не посмеет не пойти... иначе он погубит её, погубит и мужа, не даст умереть ему спокойно, открыв многолетний позор брака на самозванке... Если она скроется от мужа, по воле её властелина. Талицкого, то это будет все-таки меньшее зло, причиненное несчастному Хвостову, нежели разоблачение истины.

Выбора нет, из двух зол надо выбирать меньшее. Так решила Екатерина Петровна, и вдруг ей стало невыносимо тяжело расстаться с этим больным, прикованным к креслу мужем, с её домом, со всеми домашними во-

обще, с этой жизнью, к которой она привыкла, и более чем в сорок лет начинать снова кидаться в неведомое будущее.

А между тем, этого избежать нельзя. Властный голос Талицкого прозвучал в её ушах. О, как ненавидела она этого человека; а он ещё смеет говорить, что возвращаются к первой любви! Да разве чувство к нему была любовь? Любила и любит она одного своего мужа, и его-то она сделала несчастнее всех, над ним-то она и повесила Дамоклов меч позора. Надо сделать все, чтобы этот меч не упал и не отравил и так оставшиеся на счету дни несчастного человека, пожертвовавшего для неё всем, чем может жертвовать мужчина. Хвостова примирилась с необходимостью и даже как-то успокоилась.

Несколько раз она вздохнула полной грудью, как бы освобождаясь от какой-то тяжести, встала и тихою, ровною походкою направилась к воротам монастыря, у которых её ожидала карета.

— Поезжай тише! — сказала она кучеру, садясь в экипаж.

Она хотела выиграть время и совершенно

оправиться до приезда домой. Кроме того, ей необходимо было обдумать предстоящий с Петром Валерьяновичем разговор о завтрашней поездке в Тихвин. Через полчаса карета въехала во двор дома Хвостовых.

В столовой ожидал её завтрак, и Петр Валерьянович, поджидая жену, велел придвинуть свое кресло к обеденному столу.

— Что это ты так долго замолилась? — встретил он вопросом вошедшую Екатерину Петровну.

— Матушка-игуменья зазвала к себе пить чай с просфорами, с пей и заговорила, и опоздала... — произнесла она ещё в карете подготовленный ответ. — Ты завтракал?

— Нет, дожидался тебя.

— Ну, я тебе сегодня плохая компаньонка... — сделала усилие улыбнуться она, — сыта по горло монастырскими яствами.

Она села к столу и стала накладывать мужу кушанья. Его кормила особо приставленная к нему женщина.

— Послушницы Зинаида и Сусанна собираются ехать в Тихвин, — начала Екатерина Петровна после некоторого молчания, — зо-



вут меня с собою помолиться.

— Ох, ты, богомолка моя неутомимая! — улыбнулся Петр Валерьянович. — Видно, в Москве церковей мало? Ведь сорок сороков, матушка.

— Я и не говорю, что мало. И в одной молиться можно. Только мне бы хотелось поклониться Тихвинской Божьей Матери. Она, Владычица, заступница и исцелительница болящих, может, и тебе поможет.

Она отвернулась, так как почувствовала, что лицо её от этой кощунственной лжи покрылось краскою стыда.

Петр Валерьянович грустно улыбнулся углом рта.

— Нет, уже видно мне не ходить и не стать опять человеком, не нуждающимся в посторонней помощи, а так мне за последнее время много лучше, я чувствую себя бодрее, свежее.

— Вот видишь ли, — оправившись и поборов в себе стыд, снова начала Хвостова, — видно, молюсь я не даром, доходят же мои молитвы до Господа. А в Тихвин меня просто как-то душой потянуло, как Зинаида и Сусан-

на мне о нем только заговорили. Чувствую я, что привезу тебе облегчение.

— Да я что ж, я ведь не против... — отвечал Петр Валерьянович. — Поезжай, если тебе это доставит удовольствие и рассеяние... Тоже со мной, с калекой, сидеть не большое веселье и радость...

— Вот ты опять за свое... Пора бы, кажется, тебе убедиться, что я без всякого самопринуждения и с большим удовольствием провожу дни около тебя, а между тем, у тебя все нет-нет, да и вырвется в этом сомнение... — взволновалась она и снова покраснела.

Эта краска теперь могла быть объяснена нанесенной обидой.

— Прости, дорогая моя, это я так, к слову... Я знаю тебя и уверен в твоей любви ко мне... Лучшей жены ни у кого нет, и я совершенно счастлив...

Ударами молота по голове казались ей эти нежные слова мужа.

Она поникла головой, и слезы неудержимо хлынули из её глаз. Петр Валерьянович сделал движение на своем кресле.

— Перестань, не плачь, прости меня... Бо-

же мой, что я наделал своим глупым языком.

В его голосе слышалось непритворное отчаяние. Она, между тем, успела оправиться, отерла слезы и даже через силу улыбнулась...

— Это мне надо просить у тебя прощенья, что я взволновала тебя моими глупыми слезами... — сказала она. — Не обращай внимания... Это просто разыгрались нервы...

Она встала, подошла к нему и обвила рукой его шею.

— Так как же, мне можно ехать в Тихвин?

— Поезжай, конечно, моя дорогая! Ведь ты ненадолго?

— О, нет... через неделю, много через полторы я буду назад... Кстати заеду к графине Наталье Федоровне Аракчеевой, у неё там поблизости имение... Она звала меня, её обидеть неловко, она так много сделала для покойной Марьи Валерьяновны...

— Да, да заезжай, непременно... Ты кого же возьмешь из прислуги?..

— Никого...

— Как никого? Не ехать же тебе одной...

— Ты забываешь, что я еду с Зинаидой и Сусанной на почтовых... Они мне прислу-

жат... Зачем же я ещё буду брать лишних людей... Я и из вещей с собой возьму один саквояж...

— Как знаешь... — согласился Петр Валерьянович. Она наклонилась и крепко поцеловала его.

Быстрое и удачное окончание дела в отношении успокоения мужа вселило в сердце Екатерины Петровны надежду, что и все остальное окончится благополучно.

«Я на самом деле, покончив с ним, — она даже мысленно не хотела в доме мужа назвать Талицкого по имени, — проеду в Тихвин и возвращусь через полторы, две недели... Значит, я почти не солгала ему...» — успокаивала себя Хвостова.

День ей показался томительно долог.

Наконец наступила ночь, но не принесла с собой сна для напряженных донельзя нерв несчастной женщины.

Все тот же вопрос: «Что будет завтра?» — свинцом давил её мозг.

«Быть может, он отказался от денег только для того, чтобы увеличить куш? — мелькнуло в её голове. — О, я отдам ему десять, двадцать,

даже тридцать тысяч и более, чтобы заткнуть ему горло...»

Она распорядилась самовластно всем состоянием мужа, от которого имела полную уверенность, а потому могла откупиться от негодая, не доводя об этом огромном расходе до сведения Петра Валерьяновича.

И зачем им вдвоем с мужем это громадное состояние, которым они обладают? Он богат, она постоянно при нем... Самое дорогое для них — это спокойствие. Теперь надо его купить — следовательно, нечего спрашивать о цене!..

Лишь под утро она забылась тревожным сном.

На другой день Екатерина Петровна приказала положить в саквояж лишь самое необходимое для дороги.

После утреннего чаю она простилась с мужем.

— Приезжай скорее... Ведь это наша первая разлука! — заметил он.

— Конечно же буду спешить, — отвечала она, целуя его.

— Возьми побольше денег, мало ли что

случится дорогою...

— Я взяла достаточно.

— Карета подана! — доложил лакей.

— Кланяйся графине! — крикнул ей вдогонку Петр Валерьянович.

— Прощай!

Екатерина Петровна приказала кучеру ехать в Новодевичий монастырь, от ворот которого и отпустила его домой, а сама, пробыв несколько минут на кладбище монастыря, вышла, наняла извозчика на почтовую станцию, откуда через час уже катила на почтовых по петербургскому шоссе.

При приближении момента свидания с ненавистным теперь для неё Талицким, силы её, казалось, крепили, хотя сердце порой замирало, как бы предчувствуя что-то недоброе...

— Ведь не снесет же он мне голову! — успокаивала она себя.

Почтовая коляска, запряженная тройкой сытых лошадей, с ямщиком, подбодренным обещанием очень щедрой подачи, ехала быстро.

Через несколько часов ямщик лихо подкатил к станционному домику.

Екатерина Петровна вышла из экипажа и вошла по ступеням крыльца.

Дверь отворил перед ней кто-то изнутри.

Это был уже часа два ожидавший её Сергей Дмитриевич.

— Наконец... Я уж начал подумывать, что ты осмелилась меня послушаться... — встретил он её.

— Я здесь! — холодно отвечала она.

— Вижу... Надо рассчитать ямщика. Отсюда мы поедем в моем экипаже.

— Куда?

— В мое имение, в Новгородскую губернию.

— Зачем? Разве нельзя кончить «дело» здесь? — спросила Екатерина Петровна.

— Нет, здесь кончить нельзя... — со злобой усмешкой ответил он. — Где же тут говорить? Народ, сутолока. Да и что толковать... Поедем... Не хочешь... хуже будет...

Ей ничего не оставалось, как согласиться.

## XXI

### У лесной избушки

Сергей Дмитриевич Талицкий со своей «спутницей по неволе» приближался к цели своего путешествия.

Дорога шла по отлогому берегу Волхова. На землю уже спустились поздние августовские сумерки, сгущенные бродившими по небу тучами.

Наши путешественники ехали в открытой тележке, на паре обывательских лошадей.

Перемена экипажа произошла от того, что Сергей Дмитриевич на последней станции, ближайшей к его имению, остановился не в станционном доме, а в крестьянской избе, лежавшей близ станции деревеньки, и отпустил почтовых лошадей.

Хозяин избы встретил Зыбина как знакомого, с подобострастием хорошо оплаченного слуги.

Сергей Дмитриевич приказал ему запрячь лошадей в тележку, а сам уселся на скамью, движением руки пригласив Екатерину Пет-



ровну сделать то же.

Последняя молча повиновалась.

Путешествие, видимо, не только утомило её физически, но и совершенно разбило нравственно. В её лице появилось какое-то выражение подавленности, с примесью страха.

Сергей Дмитриевич всю дорогу был неразговорчив, угрюмо-задумчив и сидел, глядя куда-то в сторону, с глубокою складкой на нахмуренном лбу.

Продолжительный tete-a-tete с что-то, видимо, замышляющим и всесторонне обдумывающим человеком положительно стал сперва пугать Хвостову, и час за часом этот страх начал действовать все сильнее — ум был положительно парализован, сердце порой совершенно переставало биться.

Она сидела в экипаже, как приговоренная к смерти, автоматически выходила из него на станциях и так же автоматически в него садилась.

В такое состояние она, впрочем, пришла не сразу; в первое время она старалась побороть этот охватывающий все её существо страх, измышляла даже средства отделаться

от своего угрюмого попутчика, пробовала заговорить с ним о деле, но получала лишь одно лаконичное «после».

«После!.. После!.. — звучало в её ушах. — Когда же будет это „после“? Что это будет?»

По приезде на несколько станций у Екатерины Петровны мелькала мысль отказаться ехать далее, но мысль, что этот человек может погубить её в глазах мужа, и роковая уверенность, что он не побоится её угроз и не пойдёт на уступки, лишала её силы и все более подчиняла её железной воле молчаливого спутника.

Таким образом дошла она до той подавленности, в которой мы застали её почти у цели путешествия.

Вошедший в избу крестьянин объявил, что лошади готовы.

Сергей Дмитриевич встал и жестом пригласил Екатерину Петровну следовать за ним.

Она послушно пошла к двери.

Он вышел первый.

Он помог ей сесть в довольно высокую тележку и поместился сам рядом. Крестьянин вскочил на облучек.

— Эх... вы, соколики!.. — лихо, по-ямщицки, прикрикнул он на лошадей и последние крупной рысью покатали по деревенской улице и вскоре выехали за околицу.

— Родимые... не выдайте!.. — продолжал подхлестывать их кнутом крестьянин.

До имения Сергея Дмитриевича от этой деревеньки считалось менее десяти верст.

Оно было расположено на берегу реки Волхова, по крайней мере к дороге, шедшей по этому берегу, примыкал принадлежавший к имению лес, хотя усадьба была верстах в двух-трех, и за ней в живописных берегах несла свои сравнительно мелкие воды речка Тигода.

К концу пути лошади притомились и шли медленнее.

Окружающий мрак сгущался. Небо почти сплошь заволкло тучами. Вдали слышались раскаты приближающейся грозы.

— Пошел живей... недалеко!.. — крикнул Сергей Дмитриевич.

— Версты три почитай осталось... — обернулся возница.

— Толкуй больной с подлекарем... нам к

лесной избушке... — сказал Талицкий.

— Вот оно что... это близко...

Екатерина Петровна сидела в тележке ни жива, ни мертва. Окружающий её мрак, раскаты отдаленного грома, лесная избушка в перспективе — все это положительно отняло у неё способность мыслить и рассуждать, она как бы одеревенела, не ощущая даже тряски тележки, свернувшей куда-то в сторону с большой дороги и мчавшейся уже довольно долго по кочкам.

Она только вскоре различила в темноте какую-то темную массу.

Это и была избушка, стоявшая посреди выкорчеванной подлесной земли, с которой лес Сергей Дмитриевич уже давно продал на сруб.

— Стой! — крикнул он вознице. Лошади стали.

Талицкий соскочил с тележки и подал руку Екатерине Петровне.

Она, казалось, не заметила остановки и все продолжала так же неподвижно сидеть в тележке.

— Приехали! — резко сказал он.

— Приехали! — как-то почти бессознательно повторила она и начала тоже слезать с тележки.

Талицкий помог ей.

— Ступай с Богом... ты нам не нужен, — обратился он к вознице, сунув в протянутую им руку ассигнации.

— Благодарим покорно... счастливо оставаться... — произнес он скороговоркой и, не заставив себе повторить приказание, повернул лошадей, стегнул их и уехал.

Вскоре он скрылся в ночной мгле, и до оставшихся среди поля Сергея Дмитриевича и Екатерины Петровны доносились лишь шум и скрип колес удаляющейся телеги.

— Где мы... мне страшно... — дрожащим голосом произнесла Хвостова.

— Страшно... — злобно засмеялся Талицкий. — В надежном месте мы... вот где.

Он высек огня и зажег бывший с ним небольшой потайной фонарь.

Но ещё до этого блеснувшая на небе молния осветила стоявшую среди поля полуразвалившуюся избушку, с выбитыми окнами и неплотно притворенной покосившейся две-

рью, к которой вели три прогнившие ступени крыльца, от навеса и перил которого осталось лишь два столбика.

Сильный удар грома загрохотал на небе и рассыпался как бы отдаленной канонадой.

Занятый зажиганием фонаря, Талицкий не слышал за этим ударом слабого крика Екатерины Петровны, которая без чувств упала на землю.

Он заметил это уже после того, как зажег фонарь и долгим, как бы в раздумьи, взглядом, окинул лежавшую навзничь Екатерину Петровну, направив на её смертельно-бледное лицо слабый свет фонаря.

«Чего медлить? — мелькнуло в его голове. — Так ещё лучше, она не успеет очнуться, как очутится там, где ей и надлежит быть для моего благополучия...»

Читатель, без сомнения, догадался, что Сергей Дмитриевич под угрозой увез Екатерину Петровну из Москвы на самом деле не для нежных воспоминаний сладких поцелуев прошлого, а лишь для того, чтобы обеспечить себе привольное будущее: он ни на минуту не задумался уничтожить когда-то близкую ему

женщину, которая стояла преградой к получению его сыном Евгением, опекуном которого он будет состоять как отец, наследства после не нынче-завтра могущего умереть Петра Валерьяновича Хвостова, — Талицкий навел о состоянии его здоровья самые точные справки, — завещавшего все свое громадное состояние своей жене Зое Никитишне, в которой он, Сергей Дмитриевич, с первого взгляда узнал Катю Бахметьеву.

Это произошло после возвращения его из Вильны.

Участь её была решена им тогда же, тем более, что она, к тому же, знала его прошлое, знала его не Зыбиным, а Талицким — это была её вторая вина и вторая причина быть стертой с лица земли.

Он долго и всесторонне обдумывал план своего второго кровавого дела.

Теперь эта, попавшая в ловко расставленную ей западню, женщина лежала перед ним бесчувственная, беззащитная.

Это не тронуло закоренелого злодея — он нашел лишь, что это самый удобный момент для совершения задуманного дела.

Поставив фонарь на землю, он вынул из кармана заранее приготовленную толстую веревку, сделал из неё петлю и, наклонившись к лежавшей, приподнял ей голову, накинул веревку на шею и затянул.

Раздался сдавленный крик, затем хрип... и все смолкло.

В это время сверкнула страшная молния и осветила наклоненного убийцу и его несчастную, уже бездыханную жертву, широко раскрытыми, полными предсмертного ужаса, с остановившимся взглядом глазами глядевшую на своего палача.

Громовой удар снова раскатился по небу.

— Кончено!.. — проговорил Сергей Дмитриевич и, подняв труп, быстро пошел по направлению к большой дороге и берегу Волхова, освещая себе путь фонарем.

Начался дождь.

Кругом все было тихо. Он вышел на дорогу. Она была также совершенно пустынна. Ни одного звука, кроме шума дождя и громовых, но уже менее сильных ударов, не долетало до его уха.

Казалось, сама гроза удалялась от места



гнусного злодейства. Он спустился по берегу к самой воде.

Река бурливо несла свои мутные волны. Сергей Дмитриевич положил труп на землю, отыскал с помощью фонаря два увесистых булыжника, крепко привязал их к концам затянутой на шее несчастной петли и, напрягая все силы, раскачал и бросил труп в реку.

Раздался плеск воды. Блеснула молния, за которой, но уже через несколько секунд, последовал громовой удар, и все снова стихло.

Дождь стал усиливаться и обратился в ливень.

Поставленный на берег фонарь, неловко задетый Талицким ногою, скатился в воду и исчез.

Он остался среди полного мрака.

По памяти вышел он на большую дорогу и пошел по кочковатому полю к лесной избушке, где думал укрыться от все усиливавшегося ливня.

Нельзя сказать, чтобы он был покоен. Окружавший его мрак пугал его, он ускорил шаги и, наконец, побежал... Ему казалось по мере этого бега, что за ним кто-то гонится по

пятам...

Вдруг... Сергей Дмитриевич остановился на бегу.

При мгновенном блеске отдаленной молнии он различил преградившую ему путь белую фигуру.

Это был Евгений Николаевич Зыбин, убитый им в лесу под Вильной шестнадцать лет тому назад.

Он стоял голый и смотрел на него в упор своими мертвыми глазами...

Сергей Дмитриевич узнал его.

— А-а... приятель... ты как здесь... — забормотал Талицкий, не попадая зуб на зуб, и вдруг разразился каким-то диким хохотом...

Голый Зыбин стоял перед ним и все продолжал неотводно смотреть на него.

Сергей Дмитриевич в паническом ужасе попятился назад и почувствовал, что кто-то обхватил его сзади.

Он почему-то вдруг догадался, и эта догадка мгновенно перешла в уверенность, что это была она, только что убитая им Екатерина Петровна. Он почувствовал даже устремленные в его затылок два её мертвые глаза.

Сергей Дмитриевич ещё более похолодел от обвивших его мертвых рук, с которых капала вода.

— И ты здесь... ха, ха, ха... — среди однообразного шума продолжавшегося ливня раздался дикий хохот убийцы.

Он хотел вырваться из этих роковых объятий и бежать, но почувствовал, что ноги не повинуются ему — они точно приросли к земле.

Вокруг него запрыгали какие-то темные фигуры, окружая его все более и более плотным кольцом... В ушах его стали раздаваться дикие звуки, свист, гиканье и какой-то адский хохот...

— Не уйдешь... Попался... — слышались ему злобно-радостные возгласы уже многочисленной толпы окруживших его существ...

Из его груди, как бы гармонируя с этими раздававшимися в его ушах дикими звуками, вырвался снова не менее дикий хохот.

Стало светать...

Сергей Дмитриевич оказался стоявшим между двумя уцелевшими старыми березами, прислонившись к одной из них среди высо-

ких пней срубленных деревьев. Он в темноте взял в сторону от лесной избушки, оставив её в стороне.

В полуверсте виднелась его усадьба.

Но он не узнал местность и не пришел в себя. Он продолжал дико озираться по сторонам и хохотать.

## XXII

### Третий удар

Прошло уже около недели со дня отъезда Екатерины Петровны из Москвы.

Петр Валерьянович чувствовал себя сравнительно хорошо, хотя нельзя сказать, чтобы не скучал в разлуке с женою, первой со времени их супружества.

Он, впрочем, утешал себя мыслью, что Зонинька, как звал он жену, рассеется от однообразного домоседства с больным мужем и выездом только в приходскую церковь да в монастырь.

Приученная, старая, крепостная прислуга делала незаметным отсутствие Екатерины Петровны как хозяйки — раз заведенная хо-

зьяйственная машина шла без сучка и задоринки, никакие хозяйственные заботы не касались больного барина, боготворимого всеми дворовыми людьми, начиная с Устиньи и Никанора, специально ходившей за ним пожилой женщины и преданного старого камердинера и кончая последним казачком и девочкой для посылок.

Все шло в доме Хвостовых своим обыденным порядком. Петр Валерьянович с утра до вечера занимался чтением книг и газет, убивая этим казавшееся ему бесконечным время, и лишь в конце недели видимо заскучал, ожидая писем от жены.

Писем не приходило.

Беспокойство Хвостова возрастало с каждым днем, чему способствовала и распространившаяся за последнее время в доме атмосфера какой-то скрытой тревоги.

Причиною последней был пронесшийся среди прислуги дома Хвостовых слух о том, что лакей соседнего дома, возвращаясь со своими господами из их подмосковной деревни, встретил Зою Никитишну по петербургскому шоссе в почтовой коляске, в сопровождении

какого-то мужчины.

Лакей случайно сообщил об этом повару Хвостовых Андрею.

— Брешет... анафема... — вывел свое заключение старик-повар, рассказав в людской о своем разговоре с соседским лакеем. — Я ему чуть в буркалы его охальные не плюнул, чтобы не повадно ему было сплетать несуразные сплетки. «В Тихвин наша барыня уехала, на богомолье, а ты не весть что зря языком болтаешь, охальник, право, охальник...» — сказал я ему, а он мне в ответ: «И Богу молиться, чай, с милым дружкой сподручнее, чем с калекою мужем сидья сидеть...» Бросился я было к нему, чтобы оттаскать за волосы за такие речи, да увертлив, подлец, убег...

Все дворовые Хвостовых присоединились к негодованию повара на «охального сплетника», осмелившегося говорить об их «доброй барыне» непутевые речи.

Это было чуть ли не на второй день отъезда Екатерины Петровны.

Вскоре об этой, казавшейся совершенно нелепой, сплетне позабыли.

День шел за днем. От барыни не было ни одного письма. Сплетня снова всплыла наружу и уже многими была встречена с меньшим недоверием.

«Чем черт не шутит, мигом собралась, мигом уехала, да как в воду и канула... Дело-то, пожалуй, и впрямь нечисто...» — начались рассуждения.

Ходившие за барином Никанор и Устинья, конечно, не остались в неизвестности о циркулировавшем слухе, но не решились доложить о нем барину, хотя к концу недели, когда Петр Валерьянович с озабоченным нетерпением стал ожидать писем от жены, с соболезованием стали поглядывать на него, вполне уверенные, что соседский лакей не сохранил.

— Вот уж подлинно бес её, видимо, попутал... Эко-с грех какой, на богомолье отпросилась, а поди-ж ты куда хвостом вильнула... — раздраженно говорила Устинья.

— Грехи... мать... истинно грехи... На барина смотреть мне, слеза прошибает... Как сердечный убивается... И невдомек ему такой сюрприз...

Никанор был любитель иностранных слов.  
Прошло ещё два дня.

Тревожное состояние духа Хвостова достигло своего апогея. Вдруг, во время завтрака, раздался звонок. Петр Валерьянович в нетерпеливом ожидании доклада уставился на дверь, ведущую из передней в столовую.

В ней никого не появилось.

— Поди, узнай скорей, кто там? — с раздражением приказал он Устинье.

До его слуха долетело какое-то странное шушуканье в передней.

— Кто там? Никанор!.. Устинья!.. Люди!.. — крикнул больной. Никанор и Устинья появились с крайне смущенными лицами.

— Кто там?.. Письмо?..

— Никак нет, батюшка-барин, не письмо, — запинаясь начала Устинья, между тем как Никанор, отвернувшись в сторону, старался сморгнуть застилавшие его глаза слезы.

— Кто же?

— Из Ново-Девичьего... две послушницы... к барыне... — чуть слышно произнесла Устинья.

— Из Ново-Девичьего... послушницы... к



барыне... — машинально повторил больной. — Как зовут?

— Зинаида и Сусанна! — уже совершенно шепотом отвечала Устинья.

Петр Валерьянович скорее по движению губ говорившей, нежели по звуку голоса угадал эти роковые имена.

— Они вернулись! Где же они?.. Зовите...

— Но, батюшка барин... — начал было Никанор.

— Зовите! — крикнул что есть силы Хвостов и даже весь задрожал от охватившего его волнения.

Если бы не подоспевшая Устинья, он упал бы с кресла, сделав невероятное усилие встать.

Никанор удалился, и через несколько минут в столовую с глубокими поклонами вошли две молоденькие монашенки.

— Здравствуйте! Вы когда же вернулись? — спросил их Петр Валерьянович.

— Откуда, батюшка?

— Как откуда? Из Тихвина... Вы же ездили туда с Зоей... с моей женой?..

Голос больного прерывался. Послушницы

смугтились и молчали.

— Что же вы не отвечаете? — взвизгнул Хвостов.

— Не пойдем что-то, барин батюшка, ни в какой такой Тихвин мы не ездили и даже в уме ехать не держали, а Зою Никитишны с самого Успеньева дня и в глаза не видали, зашли вот к милостивице понаведаться и узнать, не занедужилось ли ей ненароком... И матушка игуменья её в Успеньев день после панихиды ждала чай кушать, так и не дождалась, а нынче и благословила нас пойти проведать Зою Никитишну...

Монахини не договорили, как в комнате раздался душу раздирающий крик, и на кресле, откинувшись на спинку, лежал бездыханный труп Петра Валерьяновича Хвостова.

В доме произошел страшный переполох.

Позванные доктора констатировали смерть от третьего апоплексического, осложненного нервным, удара.

На место доктора явились духовенство, гробовщики и полиция, опечатавшая весь дом покойного до возвращения пропавшей без вести его супруги.

Посланный нарочный в Тихвин вернулся уже после похорон, и без того отсроченных на несколько дней сверх положенного срока, и привез ответ, что ни в Тихвине, ни в имении графини Натальи Федоровны Аракчеевой, которая выехала по делам в Новгород, куда он также ездил к ней, Зои Никитишны нет и не было.

Прах Петра Валерьяновича похоронили с надлежащей торжественностью и опустили в могилу в фамильный склеп Хвостовых на кладбище Ново-Девичьего монастыря, у которого две недели тому назад была окончательно решена участь его несчастной жены.

Похоронами распоряжался губернаторский чиновник.

Власти энергично принялись за розыски пропавшей жены полковника Зои Никитишны Хвостовой, допросив всю прислугу, не скрывающую пущенного соседским лакеем слуха.

Последний, спрошенный также, подтвердил вполне ссылку на него повара Андрея.

Во все губернии и уезды империи были посланы запросы с приметами пропавшей.

Найденные капиталы, дом и все имения Петра Валерьяновича Хвостова были взяты во временную опеку.

В конце того же августа месяца, как уже знает читатель, крестьяне села Грузина вытащили неведомую утопленницу.

Это и была несчастная Екатерина Петровна Бахметьева, по официальным розыскам значащая под именем жены полковника Зои Никитишны Хвостовой, урожденной Белоглазовой.

Её, как, вероятно, помнит читатель, сразу узнали Петр Федорович Семидалов и граф Алексей Андреевич Аракчеев.

Весть о «неожиданном улове» грузинских рыболовов с быстротою молнии облетела окрестности, а при посредстве нарочного, посланного дать знать городским властям, быстро достигла Новгорода и находившейся там по делам графини Аракчеевой.

Это было в тот же день, когда у ней был посланный из Москвы, сообщивший ей о загадочном исчезновении Зои Никитишны Хвостовой и внезапной смерти её мужа, пораженного этим исчезновением.

Графиня Наталья Федоровна женским чутьем угадала связь между этими известиями из Москвы и из Грузина, и, почти уверенная в том, что вытащенная неводом грузинских рыбаков была не кто иная, как пропавшая без вести Хвостова, тотчас, не откладывая ни минуты, поскакала в Грузино.

Губернаторский чиновник, наряженный для производства следствия, в сопровождении исправника и доктора опередили графиню прибытием в Грузино на какой-нибудь час.

Они сидели в приемной графа уже после осмотра тела утопленницы, перенесенного с берега реки в один из светлых сараев, где шло приготовление к судебно-медицинскому вскрытию.

— Кто она — мы знаем... — говорил чиновник. — Остается лишь открыть злодея...

— Знаете? — с нескрываемым сомнением прогнул граф. — Кто же она?

Он даже с каким-то беспокойством посмотрел на чиновника.

— Полковница Зоя Никитишна Хвостова... — торжествующим тоном проговорил

чиновник, и, вынув из портфеля отношение канцелярии московского губернатора, стал вслух читать приметы пропавшей москвички.

Граф Аракчеев, ничего не понимая, удивленно слушал. Приметы описаны были довольно подробно и несомненно подходили к вытащенной неводом утопленнице.

Алексей Андреевич ровно ничего не понимал: он был глубоко убежден, что это труп Екатерины Петровны Бахметьевой, хотя не мог уяснить себе, как она, утопленная по распоряжению Настасьи Минкиной семнадцать лет тому назад в проруби Невы, близ села Рыбацкого, как, по крайней мере, рассказал ему со всеми подробностями Петр Федорович Семидалов — подневольный исполнитель злодейской воли покойной грузинской домоправительницы, могла очутиться на дне Волхова, по-видимому, недавно удавленная и брошенная в эту реку, а теперь ему читают подробные приметы, несомненно схожие с приметами утопленницы, и говорят, что она не кто иная, как пропавшая без вести полковница Зоя Никитишна Хвостова, рожденная Бело-

глазова.

Мозг графа отказывался понимать всю эту путаницу, хотя он не был расположен спорить с чиновником, тем более потому, что не намерен был признаться, что знает утопленницу.

Это могло повести к нежелательным для него разоблачениям прошлого.

«Пусть думают полицейские крючки, что нашли пропавшую полковницу... Я не буду разуберять их в этом, — пронеслось в голове графа. — А может, мы с Петром и вклепались, только нет... сходство поразительное».

— Быть так... значит, Хвостова... вам и книги в руки... — прогнусил граф после некоторого раздумья.

— Несомненно, ваше сиятельство, — поспешил подтвердить чиновник.

— Это какого же Хвостова жена?

— Петра Валерьяновича, но не жена, а вдова... он умер ударом, сраженный исчезновением супруги.

— А-а... это он, узнаю... фантазер... — как бы про себя прогнусил граф.

Вошедший в кабинет лакей доложил о

приезде графини Натальи Федоровны.

## XXIII

### Последний визит

— Кто? — удивленно-вопросительным взглядом окинул вошедшего с докладом лакея граф Алексей Андреевич Аракчеев.

— Графиня Наталья Федоровна, — повторил лакей, — просят ваше сиятельство принять их по безотлагательному делу.

Граф сразу понял, что он не ошибся, что утопленница была действительно Екатерина Петровна Бахметьева и прибытие его жены, её бывшей подруги, в Грузино, имело непосредственную связь с вытащенным из Волхова трупом.

— Проси в кабинет! — бросил он лакею и в глубокой задумчивости вышел из приемной.

Через несколько минут мимо губернаторского чиновника и исправника, в сопровождении доложившего о ней лакея, прошла через приемную графиня Наталья Федоровна.

Достигнув кабинета, лакей забежал вперед и почтительно отворил перед посетительни-



цей дверь последнего.

Наталья Федоровна вошла. Тот же лакей затворил дверь и удалился. Граф Алексей Андреевич ходил большими шагами по комнате.

При входе графини он быстро подошел к ней.

— Прошу садиться! — указал он ей на кресло, стоявшее сбоку письменного стола, и сам сел в стоявшее посредине.

— Вы, вероятно, по делу о вытащенном из Волхова трупе полковницы Хвостовой? — спросил граф, так как Наталья Федоровна молчала, видимо, стараясь всеми силами побороть волнение.

— Так это она, я в этом была уверена, но как её узнали?

Граф объяснил.

— Я думаю, впрочем, что это не она... — добавил он после сообщения о разосланных приметах.

— Вы узнали её? — спросила графиня.

— Кого, Хвостову? Я её не имею чести знать...

— Нет, Бахметьеву, помните Катю Бахметьеву?

тьеву?..

— Помню, — понутив голову, глухо произнес Алексей Андреевич. — Но ведь вы говорите, что эта несчастная — полковница Зоя Никитишна Хвостова.

— Это одно и то же лицо.

Граф вскочил и всей своей фигурой и выражением лица изобразил из себя вопросительный знак.

— Садитесь... я расскажу вам все по порядку... Граф сел.

Наталья Федоровна во всех подробностях передала ему услышанную ею от покойной Екатерины Петровны историю её приключений с того дня, когда она для всех считалась утонувшей.

— Все-таки не миновала своей участи и умерла загадочною насильственной смертью... Дай Бог, чтобы обнаружили злодея, сразившего разом две жизни... Её муж ведь умер ударом...

— Слышал!.. Он обманул меня, — как бы про себя произнес граф, — мерз...

Алексей Андреевич остановился.

— Кто?

Граф рассказал ей о рассказе Семидалова, представившего свою роль совершенно в ином свете, нежели было на самом деле, судя по рассказу покойной Бахметьевой.

— Кто же будет говорить на себя? — кротко заметила Наталья Федоровна.

— Однако... Это ложь, и к тому же никто не тянул его за язык... — сердито проворчал граф, начиная приходить в видимое раздражение.

— Я приехала просить вас, граф, угадав, что несчастная утопленница Катя Бахметьева, или официально Хвостова, чтобы её прежнее имя не было обнаружено... — торопливо, после некоторой паузы, заговорила графиня. — Или, быть может, я опоздала? — тревожно добавила она.

— Напротив, приехавшие крючки считают её именно за Хвостову, а я им в их деле не помощник... — заметил граф.

— А Петр Федоров?

— Петр Федоров от страха ни жив, ни мертв — тоже слова не скажет. Знает кошка, чье мясо съела... Ну, да я до него доберусь...

— В таком случае я спокойна и попрошу

вас, граф, ещё об одной услуге... — продолжала Наталья Федоровна.

— Я в вашем распоряжении, графиня! — с далеко несвойственной ему галантностью ответил граф и даже привстал.

— Нельзя ли устроить, чтобы тело несчастной доставили в Новгород, а оттуда в Москву, для предания земле в семейном склепе Хвостовых.

— Ничего нет легче — это устроится само собою, после исполнения всех судейских формальностей, я же со своей стороны окажу все мое содействие, хотя теперь, вы знаете, я в России — нуль...

Он горько усмехнулся.

— Мне остается только поблагодарить вас и уехать спокойно, уверенной, что все устроится как нельзя лучше...

Графиня встала.

Поднялся со своего места и Алексей Андреевич.

— Я буду дожидаться в Новгороде и провожу тело до Москвы... Я очень любила эту несчастную... — сказала она сквозь уже давно сдерживаемые слезы.

— Вы... святая... графиня... — дрогнувшим голосом сказал граф Аракчеев и отвернулся от жены, чтобы скрыть выступившие на его глазах слезы.

Графиня заметила душевное волнение своего мужа, но не дала ему этого понять и молча протянула руку.

— Прощайте.

Граф почтительно поцеловал эту руку.

Наталья Федоровна почувствовала, что на её руку капнуло что-то горячее. Это была слеза — редкая гостья на глазах железного графа.

Алексей Андреевич проводил графиню до двери кабинета. Вскоре донесшийся до него шум экипажных колес возвестил об её отъезде.

## XXIV

### Смерть графа Аракчеева

Прошло около двух лет.

Жизнь «грузинского отшельника» шла с тем же томительным однообразием, которое отразилось сильно на здоровье Алексея Андреевича, и он стал серьезно прихварывать.

Татьяна Борисовна была вскоре после ссылки в новгородский монастырь возвращена графом в Грузино и уже несколько лет жила при нем безотлучно.

С летами она утомилась, и мимолетный её роман с доктором, забывшим и думать о ней, послужил ей хорошим жизненным уроком.

Из посторонних в Грузине чаще других бывал генерал Федор Карлович фон Фрикен с женою Анной Григорьевной и детьми — крестниками графа Аракчеева.

Алексей Андреевич очень любил Федора Карловича, бывшего некогда командиром полка имени графа, и даже предлагал ему

выйти в отставку и поселиться с семьей в Грузине, обещая сделать его своим наследником, но генерал фон Фрикен уклонился от этого.

Наступил 1834 год.

13 апреля в пятницу, на шестой неделе великого поста, граф сильно занемог и немедленно послал в Петербург за доктором Миллером, который пользовал его прежде.

В то же время государь Николай Павлович, узнав о болезни графа, прислал к нему лейб-медика Якова Васильевича Виллье.

В понедельник на страстной неделе больному сделалось хуже, и во вторник он послал в Старую Руссу за генералом фон Фрикеном и за Алексеем Платоновичем Бровцыным, к которому был очень расположен по дружбе его с отцом — однокашником графа.

Алексей Платонович приехал в Грузино в среду в полдень. Граф выразил ему признательность, что скоро приехал. Якова Васильевича Виллье и доктора Миллера Бровцын застал уже при графе. Они сообщили ему о безнадежном состоянии больного.

Весть о болезни графа дошла и до Новгоро-

да.

В четверг приехал в Грузино новгородский губернский предводитель дворянства Н. И. Белявин, но о нем графу не докладывали, и он, узнав о тяжком состоянии болезни графа, в четверг же и уехал. В пятницу болезнь пошла ещё к худшему — сделалась сильная одышка. Началась продолжительная, но тихая агония.

Граф говорить не мог и сидел с неотводно устремленным взглядом на портрет покойного государя Александра Павловича, стоявшего у противоположной дивану стене.

Потухающий взгляд Алексея Андреевича принял какое-то восторженно-молитвенное выражение. Из глаз по временам капали крупные слезы. На присутствующих это состояние больного производило тяжелое впечатление. Так просидел он почти всю ночь и тихо скончался в субботу утром, в то самое время, когда за заутреней носили плащаницу вокруг грузинского собора.

Это было 21 апреля 1834 года.

Тело графа обмыли, одели, согласно его воле, в сорочку, подаренную ему императором Александром I, когда он был ещё наследни-



ком престола, и положили на стол в полной парадной форме.

Вечером, в субботу, прибыл запоздавший генерал Федор Карлович фон Фрикен. Новгородский уездный предводитель дворянства А. Д. Тырков находился в Грузине с пятницы вечера, но как посторонний к графу не входил.

В субботу же утром Тырков взял к себе все ключи, запечатал стол и бюро и опечатал их до приезда в Грузино в день светлого праздника для похорон графа генерал-адъютанта Петра Андреевича Клейнмихеля, который и принял все в свое распоряжение.

Тело графа было положено в роскошный гроб. В Грузино был вызван полк имени графа Аракчеева, прибывший на подводах, и батарея артиллерии. К гробу был приставлен почетный караул из офицеров, которых сменяли через каждые два часа днем и ночью; диакон читал псалтырь.

Погребение было совершено торжественно новгородским архиепископом, с участием архимандритов и множества духовенства и с отданием военных почестей. Тело было опущено

но в приготовленную заранее самим графом могилу в грузинском соборе, рядом с могилой Настасьи Минкиной.

Графа Аракчеева не стало.

Грузинское имение было отдано государем Николаем Павловичем новгородскому корпусу, вследствие духовного завещания графа, предоставившего в нем право и выразившего просьбу государю, после его смерти назначить его наследника по выбору и воле государя императора, если бы он при жизни себе не назначил такового. В силу этого-то духовного завещания, хранившегося в сенате, так как граф сам себе наследников не назначил, государю и благоугодно было передать все его имущество в новгородский кадетский корпус, присвоив ему герб и наименование новгородского графа Аракчеева кадетского корпуса. По этому же завещанию граф Алексей Андреевич определил капитал в 50 000 рублей с процентами тому, кто через 93 года напишет лучшую историю императора Александра I.

Добавим лишь несколько слов о судьбе приемного сына графа, Михаила Андреевича Шумского. После смерти Алексея Андреевича

он тайно бежал из монастыря и целый год прожил в Грузине у вотчинного головы Шишкина в качестве учителя его детей.

Со своею матерью и родственниками он виделся часто — они жили в деревне Пролета, верстах в двенадцати от того села, где жил голова.

Через год Михаила Андреевича разыскали и против воли снова возвратили в Юрьев монастырь, где его возвращению, впрочем, не очень обрадовались и, воспользовавшись первым удобным случаем, сжили с рук в Отенский монастырь.

Шумский и тут не удержался, начал пьянствовать и буяннить.

Его спровадили в Дымский монастырь и оттуда перевели в Соловецкий. Как и везде, сначала он повел себя примерно, нашел даже себе дело, занялся крепостной монастырской артиллерией, привел её в порядок и смотрел за ней. Его там полюбили, сделали даже письмоводителем, но он не мог оставить своей несчастной склонности к вину.

Его перевели в один из скитов монастыря, где он, под строгим надзором, наконец, испра-

вился совершенно. До конца жизни своей он получал триста рублей пенсии и в последние годы своей жизни все деньги раздавал братии, неимущим, а сам вел очень суровую, строгую жизнь.

Он умер в 1857 году.

Дело об убийстве жены полковника Зои Никитишны Хвостовой, рожденной Белоглазовой, после долгого хождения по разным судебным инстанциям было прекращено, за неразысканием виновных, или, выражаясь языком закона того времени, «предано воле Божьей» и до сих пор хранится в одном из новгородских архивов.

# Примечания

# 1

*Митенки* (фр. *mitaines*) — перчатки без пальцев.

[^^^]

## 2

*Котух* — хлев для мелкого скота, свинарник.

[^^^]

# 3

Самочувствие лучше, но очень незначительно.

[^^^]



# 4

Все кончено, государь, мужайтесь теперь, подавайте пример!

[^^^]

# 5

Теперь Александровская зала, перехода более не существует.

[^^^]

# 6

Мамаша, милая мамаша, ради Бога успокой-  
тесь.

[^^^]

*Салопик* — разг. уменьш. к салоп. *Salón* (фр. *salope*) — верхняя женская одежда, широкая длинная накидка с прорезами для рук или с небольшими рукавами; скреплялась лентами или шнурами.

[^^^]

# 8

Вы полковница Хвостова?

[^^^]

Да, графиня!

[^^^]

Садитесь, графиня!

[^^^]

Во времена конных экипажей «шкворнем» называли стержень или болт, через который к повозке крепилась поворотная ось передних колёс.

[^^^]